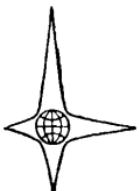


А
Р
У
Б
Е
Ж
Н
А
Ф
А
Н
Т
А
С
Т
И
Н
А

ГОСТИ
СТРАНЫ
ФАНТАЗИИ





ИЗДАТЕЛЬСТВО
«МИР»



ГОСТИ СТРАНЫ ФАНТАЗИИ

Сборник
научно-фантастических
произведений
писателей-нефантастов

Предисловие Ю. Кагарлицкого
Составление и редакция С. Майзельс

ИЗДАТЕЛЬСТВО «МИР»
МОСКОВА 1968

*Редакция научно-фантастической
и научно-популярной литературы*

ПРЕДИСЛОВИЕ

Загляните в оглавление этой книги. Вы найдете в нем имена Джека Лондона и Эдварда Моргана Форстера, О. Генри и Андре Моруа, Джерома К. Джерома и Артура Лундквиста, Примо Леви, Джона Бойтона Пристли, Дино Буццати, Карела Михала, Трумена Капоте и Хосе Марии Санчеса-Сильвы. Этим писателям нечасто приходится собираться вместе. Но этот случай особый. Они встретились в пределах страны Фантазии.

А впрочем, где она, эта страна?

Отважным исследователям удавалось туда проникнуть, но им нелегко было обозначить ее границы и дать полное описание. Одна область оказывалась непохожей на другую, климат — переменчивым, аaborигены — людьми со странностями. На вопрос путешественника относительно обитателей соседней деревни они, глядя на него удивленными глазами, отвечали, что никаких деревень больше нет, а за околицей начинаются космические дали. И все же, как ни трудно было рассказывать об этой стране, мало у кого возникало сомнение в том, что она существует. Ведь очень многие в ней побывали, оставили о себе воспоминания, а кое-кто обжился там настолько, что чувствовал себя не хуже, чем дома.

Объяснить это нетрудно. Разнообразие климата и ландшафта, отличающие эту страну, позволяют чуть ли не каждому найти себе область по вкусу. Те, с кем мы встречаемся в этом сборнике, так же непохожи друг на друга в качестве фантастов, как и в своем нефантастическом творчестве. Конечно, каждый предстает здесь в необычном виде, но нам нетрудно вспомнить, что того же человека мы видели раньше — только в другом платье. Порою перед нами зеркальное изображение, но и тогда нетрудно понять, кто стоит перед зерка-

лом. Даже в волшебной стране перевоплотиться в другое существо непросто. А может быть, некоторые и не стремятся к такому перевоплощению? Они приходят в страну Фантазии не для того, чтобы отрешиться от себя, их цель иная. Они пытаются в этой стране полнее выявить самих себя, найти еще одну грань своего таланта.

За последние десятилетия тяга в эту страну настолько усилилась, что стоит задуматься: не существует ли здесь и еще какой-то общей для всех причины?

Да. Существует. Имя ее — Двадцатый Век.

Фантастика сопровождает все великие повороты в истории человечества. Фантастикой было проникнуто Возрождение. Ей отдало большую дань рационалистическое Просвещение. Представление о фантастическом было в эти две эпохи различным, но ни одну из них невозможно представить себе без фантастических вещей, оставленных нам,— без «Гаргантюа и Пантагрюэля», «Путешествий Гулливера», «Микромегаса».

Фантастика всегда принимала деятельное участие в преобразовании реального мира. И, разумеется,— в его объяснении. «Путешествие в Лилипутию» неплохо помогло современникам Свифта постичь характер придворных интриг, механизм управления государством и смысл партийных междоусобиц, а «Путешествие в Лапуту» — разобраться в том, чему будут служить достижения науки, если ими воспользуются привилегированные классы: летающий остров служит для запугивания населения и выколачивания налогов, что же касается его обитателей, «верхних слоев общества» (на этот раз в буквальном смысле слова), то дураки-то они дураки, а свой интерес помнят!

Но вот что удивительно: фантастика была, а фантастов не было! Ни Рабле, ни Свифт, ни Вольтер не были писателями-фантастами. Назвать их таковыми можно разве лишь затем, чтобы подчеркнуть, какой огромный вклад внесли они в развитие мировой фантастики. Все эти писатели принадлежали литературе в целом. Если они писали фантастику, то потому, что литература проходила такой этап, когда необходима была фантастика. Фантастика не выделилась еще

в отдельную отрасль литературы, которая может переживать периоды расцвета и упадка, но она существует все время, несмотря на то, велика в ней общественная нужда или мала.

Тенденция к обособлению фантастики выявила достаточно полно лишь в девятнадцатом веке. Огромный толчок этому процессу дало творчество Жюля Верна. Отныне у фантастики свой круг авторов, свой круг читателей, свои излюбленные темы. Фантастика стала отдельным направлением в литературе. Но не таилась ли в этом известная опасность? Не могла ли фантастика оказаться изолированной от основного потока литературы?

Могла, разумеется, и такое бывало не раз. Но зато в тех случаях, когда процесс художественного освоения мира требовал обращения к фантастике, она оказывалась тут как тут с собственными методами, своей непрерывавшейся традицией. Именно в эти периоды фантастика особенно обогащалась — ей надо было подняться на уровень задачи. В эти же периоды усиливалась тяга в фантастику писателей, специально в ней не работавших.

Таким периодом оказался двадцатый век, в целом очень благоприятный для этого вида творчества.

В чем тут причина? В нескольких словах трудно сказать. Скорее всего, перед нами не одна, а целый комплекс причин, которые, переплетаясь, образуя все новые сочетания, приводят то к подъему, то к упадку фантастики. Видимо, в нашем веке существует несколько постоянно действующих факторов, которые в известных ситуациях дают вдруг мощный толчок развитию фантастики.

Научно-технический прогресс сыграл здесь немалую роль. Будущее наступает на нас с огромной скоростью. Выявлять тенденции развития становится все более необходимым для того, чтобы определять сегодняшнее наше поведение, и вместе с тем все более трудным: наш век требует невиданных прежде масштабов мысли и интенсивности мышления. Мир открывается перед нами в необычайной широте и изменчивости. Попытка исследовать даже самый узкий участок будущего открывает простор неисчислимым вариантам решения. Мы сейчас живем в «умственном» веке, но требования, кото-

рые он предъявляет к разуму, иные, чем прежде. Двадцатый век далек от былой рациональности. Вместо того чтобы классифицировать, он постигает процессы, вместо того чтобы создавать инвентарный список застывшего мироздания, он стремится понять сложный реальный мир, где границы явлений нечетки, где все переходит одно в другое и ничто не способно удовлетворить человека, привыкшего к устойчивости, законченности и порядку. К тому же наш век не просто век перемен — это век потрясений. Редко какое здание мысли здесь разбирают по кирпичику. Чаще оно рушится сразу, причем иной раз такая участь постигает постройки, которые не успели еще подвести под крышу. Трудно представить себе обстоятельства более подходящие для того, чтобы разрушать стереотипы мышления, отбрасывать предрассудки, делать мышление человека вероятностным, а не догматическим. Это ли не замечательная питательная почва для современной фантастики?

Мало кто почувствовал это так полно и так рано, как Герберт Уэллс.

Двадцатый век вступил в противоречие с хронологией. Он запоздал начаться. Лишь первая мировая война и Великая Октябрьская революция отсекли прошлый век от нынешнего. Но в фантастике двадцатый век начался уже в 1895 году — с появления «Машины времени» Уэллса. За ней на протяжении нескольких лет последовала группа романов, определивших не только проблематику, но и огромное число приемов, образов и сюжетов, характерных для фантастики нашего века, — «Остров доктора Моро», «Человек-невидимка», «Война миров», «Когда спящий проснется», «Первые люди на Луне», «Пища богов».

Зависимость современной фантастики от Уэллса принимает иногда очень наглядные формы. Вскоре после второй мировой войны американская фирма «Парамаунт» выпустила обошедший экраны многих стран фильм «Война миров». Действие этого фильма происходило в пятидесятые годы нашего века, и, разумеется, вся техника, в том числе и марсианская, подверглась заметной модернизации. Вместо знаменитых марсианских треножников появились своего рода

«летеющие тарелки», которые плывут невысоко над землей (вероятно, при помощи антигравитации). Над ними — металлические змеи с плоскими головами. Это приспособления для наблюдения и выброса боевого луча, своего рода дезинтеграторы, заменившие уэллсовские «генераторы теплового луча». Эти «тарелки» неуязвимы для земного оружия, как и треножники Уэллса, но их защита надежнее — они окружают себя силовым полем. Словом, весь реквизит современной фантастики обнаруживает генетическую связь с выдумками Уэллса.

Современная фантастика при всей своей зависимости от того, что было сделано раньше, сегодня стремится быть «на уровне века», и многие из нефантастов, вступившие на стезю фантастики, охотно используют типичные для нее темы и художественные приемы. Подобного рода примеры легко найти и в нашем сборнике. Рассказ известного шведского писателя Артура Лундквиста «Путешествие в космос», например, мог быть написан и профессиональным фантастом, решившим подвести своеобразный итог излюбленной фантастами теме многообразия форм жизни. Такого же рода итогом по отношению к другой группе произведений представляется драматическая сценка итальянского прозаика Примо Леви «Версификатор». Рассказы о машинах, принявших на себя какие-то человеческие функции, относятся к числу самых распространенных в современной фантастике. И разве рассказ Ивена Хантера «Не рискнуть ли за миллион?» не свидетельствует о том, что космическое путешествие стало чем-то донельзя привычным в современной фантастике?

При этом разница между фантастами сороковых — пятидесятых годов нашего века и теми, кто работал за полстолетия до них, обнаруживается без большого труда. Читая рассказ Джека Лондона «Тысяча смертей», мы вынуждены делать большую поправку на времена. Тот же самый сюжет современный фантаст обработал бы иначе — изменились бы чуть ли не все подробности. «Механический танцор» Джерома К. Джерома (рассказ «Партнер по танцам») тоже скорее напоминает андроидов восемнадцатого века, о которых потом

так любили писать немецкие романтики, нежели андроидов Карела Чапека и Генри Каттинара.

Но это ли самое важное?

Фантастика двадцатого века отнюдь не так привержена технике, как фантастика прошлого, «жюльверновского» столетия. Она не минует технику, но предпочитает не описывать ее, а просто упоминать. Ведь мы знаем теперь: от века к веку не просто становятся совершеннее уже известные технические средства. Нет, меняются сами принципы, согласно которым техника создается. То, что сегодня может показаться чудом, завтра будет обиходным понятием. Поэтому самый профессиональный, никогда не покидавший свою область фантаст сегодня столь же охотно прибегает к научной гипотезе, сколь и к своеобразной «логике чудесного». Рассказ, обставленный аппаратами и машинами, давно вышедшими из употребления, может показаться нам старомодным. Рассказ о чуде — вполне современным. Занятно: техника стареет — волшебство не стареет.

Это обращение к «логике чуда» особенно ощутимо, когда сравниваешь рассказы на одну и ту же тему, написанные сейчас и шестьдесят — семьдесят лет назад. В свое время Герберт Уэллс написал рассказ «Человек, который мог творить чудеса». Его герой усилием воли переворачивает лампу, перебрасывает людей с места на место, а потом даже останавливает вращение земного шара. К сожалению, человек этот был недалеким, и свой удивительный дар он растратил на сущие пустяки, а под конец нечаянно, по необразованности чуть не погубил целую планету.

Рассказ Карела Михала «Сильная личность» — тоже одно из произведений о человеке, который приобрел необычайную способность, но не сумел ею толком воспользоваться — по недостатку знаний, по скучности воображения. Но Михал, если угодно, еще «фантастичнее» Уэллса. Великий фантаст всего лишь довел до предела способность своего героя к телекинезу. Карел Михал написал сказку о чем-то совсем уж сказочном — о перевоплощении. Таким же замечательным сказочником остается он и в другом своем рассказе — «Балладе о Чердачнике». Да и не он один. Соотнести старую леген-

ду с новой проблемой, столкнуть героя старых сказок с современными людьми и вообще использовать приемы сказки — все это давно уже стало привычным в современной фантастике.

Да, техника не претендует более на первородство. Она предлагает свою помощь для создания какого-либо конфликта, интересного в философском и социальном смысле. Она скромно отходит в сторону, когда выгоднее обойтись без нее.

От десятилетия к десятилетию фантастика все больше интересуется человеком. Он перестает быть статистом в разыгрывающейся вокруг него драме жизни, становится протагонистом. Приблизительность в обрисовке характеров, отличавшая прежде обширные области фантастической литературы, понемногу уходит в прошлое. В самом деле, логично ли, определяя место человека в машинном мире — а это ведь одна из главных тем современной фантастики! — забывать о самом человеке?

Разумеется, у фантастики свои способы исследования человека, как и свои способы исследования мироздания. Она приводит человека в мир необычный. Мир этот бывает мрачен, бывает и бесшабашно весел. Взять хотя бы рассказ О. Генри, в котором действуют механическая пробковая нога и зверь твоматвич, нечто среднее между зайцем, крысой и белкой! Мир этот бывает традиционно сказочен и современен донельзя, отполирован, очищен от любого «мусора прошлого». Но всякий раз это мир непривычный. В нем и человек должен раскрыться с неожиданной стороны.

В этом, надо думать, тоже одна из важнейших причин столь частого обращения современных нефантастов к фантастике. Для того чтобы описать современного человека без покровов, надо поставить его в ситуацию поистине необычную — он ведь выработал уже привычные реакции по отношению ко всем статистически возможным обыденным ситуациям. А какой другой вид литературы обладает большей, чем фантастика, способностью создавать ситуации необычные, ставить людей в отношения неожиданные?

Самое удивительное, однако, не в этом. Еще можно представить себе фантаста, который подстраивает ловушку герою, чтобы тот

от неожиданности выдал себя и обнаружил свои упорно скрываемые до этого злодейства и пороки. Но нет! Фантастика зачастую затрачивает столько труда ради того, чтобы заставить человека выдать самое доброе, что в нем есть. Реальная жизненная ситуация, при которой люди тянутся друг к другу и знают, что каждое душевное движение найдет отклик в другом, представляется современному западноевропейскому или американскому писателю столь невероятной, что ради правдоподобия он вынужден прибегать к фантастике.

Это пошло еще от Уэллса. Герой одного из его рассказов («Дверь в стене») попал однажды, маленьким мальчиком, в удивительный сад, где огромные пантеры ластились к людям, где были прекрасные лужайки, здания, статуи, люди с прекрасными, добрыми лицами. Но этот чудесный, полный дружелюбия мир открылся ему лишь однажды. Он еще много раз проходил мимо этой двери — старателем школьником, студентом, политическим деятелем, — но теперь ему вечно было некогда. Та суетливая жизнь, которую он теперь вел, казалась ему единственной реальной, мир за стеной, как ни манил он его, — сном наяву, туманным воспоминанием детства. Но, может быть, этот мир истинных человеческих ценностей, а не утомительная, нивелирующая обыденность и есть подлинная реальность, спрашивал в заключение Уэллс.

Таков взгляд на мир и Джона Бойнтона Пристли, чью небольшую повесть «Другое место» вы встретите на страницах этого сборника. Обращение Пристли к фантастике вряд ли кого-нибудь удивит. Он часто подходил к самым ее границам и не раз их пересекал. Уже герои первого романа Пристли «Добрые товарищи» нашли в лице своего автора поистине доброго и благожелательного товарища. Им трудно было сперва, это правда, но зато потом уж начало так везти, словно их переселили в некий волшебный мир осуществленных желаний. Критика отметила нереальность некоторых ситуаций романа. Впоследствии Пристли старался избегать ситуаций нереальных — он предпочитал им ситуации фантастические. Надо сказать, они не всегда служили тому, чтобы раскрыть лучшее в людях. Пристли не раз выступал в роли сатирика. Так было в стоящей

где-то на грани реальности пьесе «Он пришел». Так было в другой его пьесе, «Время и семья Конвей», где посреди действия происходил «сдвиг во времени», герои переносились на много лет вперед, узнавали свое печальное будущее, а потом возвращались назад с угледившимся где-то в глубине души ощущением неблагополучия. Но в «Другом месте» Пристли словно заново посещает мир своего первого романа. Только на сей раз этот мир фантастичен. Надо пройти через волшебную дверь, чтобы увидеть людей, какими они должны быть — и какими способны стать. Герой увидел за волшебной стенной тех самых людей, что ходят по улицам. С одними он уже встречался, с другими ему предстоит скоро встретиться. Но они стали самими собой, раскрылись до конца лишь там, где их ничто не скрывает. В волшебной стране они, если угодно, реальнее, чем в реальности.

Андре Моруа (отрывок из его фантастического романа «Машина для чтения мыслей» помещен в этом сборнике) тоже прибегает к фантастике, для того чтобы решить проблему «человековедческую». Речь идет о сложности человеческой психологии и о том, что человек ежеминутно, ежесекундно творит собственную индивидуальность, одно принимая, другое отвергая из непрерывного потока побуждений, мыслей и ассоциаций, проносящихся в его мозгу. По существу, человек выбирает себе индивидуальность из множества «вероятностных» индивидуальностей, но зато ответствен за свой выбор.

Впрочем, не обязательно прибегать к помощи удивительных аппаратов. Не обязательно также рассказывать о волшебных превращениях и фантастических существах. Создать атмосферу необычности, в которой по-особому раскрывается человек, иногда удается проще — слегка только сдвинув ситуацию в сторону фантастики. Более того, сама фантастичность ситуации может быть мнимой, она может всего лишь рисоваться таковой герою. Так обстоит дело в замечательно тонких рассказах известного современного американского писателя Трумена Капоте. Страшный скупщик снов из рассказа «Злой Рок» — это, скорее всего, обыкновенный психолог, собирающий таким оригинальным способом материал для какой-то работы.

Но в сознании обездоленных, продающих ему описание своих снов, он — зловещая фигура. Ведь он отбирает у них единственное, что им осталось,— мечты. А рассказанная мечта к тебе уже не вернется. Сон нельзя получить обратно ни за какие деньги...

Еще ближе к реальному рассказ Трумена Капоте «Бутыль се-ребра». Он читается как притча о силе человеческого желания и допускает любое истолкование — и фантастическое, и реальное. Но сам рассказчик и жители города, в котором произошло это событие, никогда не согласятся на реальное объяснение. Оно покажется им безобразно плоским. Ведь история эта стала местной легендой. И рассказывают ее для того, чтобы люди знали: когда человек всей душой хочет помочь другому, он способен совершить невозможное. Сказать, что мальчик просто пересчитал монетки, которые лежали в бутыли,— значит перечеркнуть легенду.

И совсем уже близок к притче (выраженной, правда, несколько иными средствами, романтическими) рассказ известного современного испанского прозаика Хосе Марии Санчеса-Сильвы «Дурак». Мысль этого рассказа сродни мысли многих других гуманных произведений фантастики: истинное приобретение, сделанное человеком,— это никогда не вешь, а нечто ставшее частью его самого.

Человек все более занимает современных фантастов. Мы видим, что и нефантасты, пришедшие в фантастику, тоже ищут в этой области литературы новых возможностей раскрытия человеческого характера, новых подходов к человеку как социальному существу.

Но значит ли это, что вопрос о судьбе человечества в целом не интересует писателей, которые работают в фантастике лишь от случая к случаю? Неужели главные проблемы нашего времени остались вне поля зрения литературы и стали привилегией фантастов? Нет, конечно. Сегодня вся истинно современная литература пытается с той или иной стороны подойти к кардинальным вопросам нашего века. Однако иногда именно фантастика берется первой решать эти вопросы, ставит их очень определенно, масштабно, смело. И прежде всего важнейший из них — вопрос о прогрессе.

Какой сложной оказалась судьба идеи прогресса! Ей было очень

трудно оформиться в сознании человечества. По существу, это произошло лишь в эпоху Просвещения, в восемнадцатом веке. А в девятнадцатом веке была высказана мысль, что материальный прогресс в буржуазном обществе может не только опередить духовный, но и помешать ему, привести к духовному регрессу и тем самым погубить человечество.

Совершенно новой эта мысль не была. Корнями своими она уходила в тот же восемнадцатый век, когда Жан-Жак Руссо выступил против цивилизации, не принесшей счастья человеку, а, напротив, оказавшейся причиной многих его пороков. Однако два последующих века развития буржуазной цивилизации не только не послужили опровержением этой мысли, но и завербовали ей новых сторонников и придали ей специфическую форму машиноборчества. Машина стала считаться врагом человека. Такой она предстала в сознании народных масс Англии, переживших тяготы и страдания первой промышленной революции, в такой неприглядной роли проникла во многие произведения литературы. В них не обязательно даже бывал прямо показан мир, погубленный машинами. Чаще говорилось о том, как прекрасен был бы мир без машин, а машина рисовалась как враг — страшный, но вовремя разгаданный и оттесненный.

Герой романа английского писателя Сэмюэла Батлера «Эревон» (1872) попадает в неизвестную страну, где все люди счастливы и расположены друг к другу. Но он оказывается печальным в этом смысле исключением: несмотря на то что, с его точки зрения, он не совершил никаких преступлений, его арестовывают. Как выясняется, он все же нарушил законы страны. В Эревоне строжайше запрещены все машины, а у него были часы. Позднее герой узнает, почему в Эревоне был принят такой закон. За несколько сот лет до его прихода в эту страну тамошние ученые доказали, что если вовремя не уничтожить машины, они подчинят себе людей, и эревонцы не пренебрегли их предупреждением.

«Эревон» был не единственным произведением подобного рода. Восемнадцать лет спустя вышел роман-утопия другого английского писателя. Вильяма Морриса, «Вести ниоткуда», герои которого жили

в счастливом мире, где процветало ремесло, а машины были не особо в чести.

В нашем сборнике это направление фантастики представлено рассказом «Машина останавливается». Автор его Эдвард Морган Форстер известен русскому читателю романом «Поездка в Индию», написанном в 1924 году. «Машина останавливается» — один из первых рассказов писателя, завоевавшего большое признание в Англии, но, может быть, именно этот рассказ принес ему славу. Он написан в 1911 году, когда Форстеру было двадцать два года. Прошло немногим более десятилетия, и выяснилось, что Форстер оказался основателем целого направления в современной фантастике.

Конечно, в литературе зачинатели — сами чьи-то последователи. Это относится и к Форстеру. Его рассказ, как легко было понять, написан в русле очень давней традиции, и Форстер сам впоследствии говорил о своей зависимости от «Эревона» Батлера. Он ставил батлеровский роман выше «Путешествий Гулливера». Но рассказ Форстера обозначает важный поворотный пункт в развитии этой традиции.

«Счастливый безмашинный мир», который так любили изображать авторы других антимашинных утопий, остался на периферии рассказа Форстера. Мы только стороной узнаем, что где-то на земной поверхности живут люди, которые дышат обычным воздухом, обходятся без услуг вездесущей Машины и способны испытывать интерес и сострадание к ближнему, даже приходить к нему на помощь. Внимание автора сосредоточено на тех, кто живет под властью Машины. Это царство Машины Форстер рисует с удивительной художественной проницательностью — на его рассказ опиралось немало писателей, работавших уже после первой и второй мировых войн. За отдельными фразами, вкратце обрисованными ситуациями, брошенными вскользь намеками мы угадываем будущие сюжеты Хаксли, Бредбери, Воннегута — всех, кто писал о противоречивости буржуазного прогресса, достижения которого в определенных условиях могут повернуться против людей.

Форстер упорно подчеркивает, что люди, попавшие в зависимость от Машины, выродились не только физически, но и духовно. Они

унифицировались, стали похожи один на другого. Если они чем-то еще отличаются друг от друга, то не теряют надежды, что скоро эти отличия сотрутся, появится «поколение, которое сумеет окончательно отрешиться от фактов, от собственных впечатлений, поколение, не имеющее своего лица, поколение божественно свободное от бремени индивидуальных примет». Они лишены забот, а заодно — впечатлений. Людям ничего больше не нужно, они утратили общую цель. Они живут в условиях во всем одинаковых и сами во всем одинаковы. Но это полное единство отнюдь не способствует объединению человечества. Напротив, оно приводит к полнейшему его распаду.

Здесь каждый живет сам по себе. Здесь можно годами не видеться с другими и не испытывать в этом ни малейшей потребности. Если что-то, хотя бы и чисто формально, объединяет этих людей, то не остатки человеческих чувств, которые еще теплятся в них, а Машина — внешняя по отношению к ним сила, определяющая условия их существования.

Распалось не только общество — распалось цельное представление о мире. Никто уже не способен окинуть мир единым взглядом. Даже Машина — единственная доступная для этих людей часть мицроздания — уже рисуется чем-то мистическим. Она слишком сложна для обленившегося разума. Воспринять ее как нечто цельное невозможно. И на смену науке приходит вера. К отдельным частям Машины обращаются с просьбой о заступничестве перед мистическим целым.

Рассказ Форстера — не только предупреждение о грозящих опасностях. Это еще и сатира на эгоистическую, разрозненную и одновременно духовно унифицированную буржуазную среду, которую писатель видел своими глазами. Последующие произведения подобного рода тоже, как правило, соединяют в себе предупреждение и сатиру. В этом смысле Форстер оказался своеобразным пророком, зашедшим, естественно, в тупик: ведь он не способен выйти за пределы общества, которое он рисует.

Но так или иначе, а с помощью Форстера и его последователей

мы можем окинуть взглядом варианты будущего для нас неприемлемые. А это важно. В рассказе Дино Буццати «Король в Хорм-эль-Хагаре», тоже включенном в сборник, нарисована назидательная символическая картина: прошлое разговаривает с человеком, неспособным по внутреннему своему ничтожеству понять его и услышать. Мы должны слушать прошлое. Но еще важнее сегодня научиться прислушиваться к будущему. Не готовит ли оно опасностей, подобных тем, что изображены у Форстера? Надо уметь слушать все голоса будущего. Но сладким голосам нельзя давать себя усыпить, резким — запугать. Надо слушать, чтобы знать правду.

Нет, в страну Фантазии приезжают сегодня не для того, чтобы скротать досуг. Она мало пригодна для этого. В ней непросто найти уголок, где забудешь о действительной жизни. Тени, которые тебя там окружают, порою темны и причудливы, но предметы, что их отбросили, совершенно реальны. Если тени густы, то прежде всего потому, что источники света ярки. Под горячим небом этой страны разгораются ожесточенные споры о человеке, обществе, мироздании. Ведь ее озаряет Разум.

Сюда приходят не для того, чтобы забыть о действительности. Сюда приходят для того, чтобы в ней разобраться.

Ю. Кагарлицкий

МАШИНА ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ

ЧАСТЬ I

Воздушный корабль

Попытайтесь представить себе комнатушку восьмиугольной формы, напоминающую ячейку пчелиных сот. В ней нет ни ламп, ни окон, но вся она залита мягким сиянием. Отверстий для вентиляции тоже нет, однако воздух свеж и чист. И, хотя не видно ни одного музыкального инструмента, в ту минуту, когда я мысленно ввожу вас сюда, нам навстречу льются нежные и мелодичные звуки. Посреди комнаты стоит кресло, рядом с ним — пюпитр, вот и вся мебель. В кресле какая-то бесформенная, спеленутая туша — женщина ростом не больше пяти футов, с серым, словно плесень, лицом. Это хозяйка комнаты.

Раздается звонок.

Женщина нажимает на кнопку, и музыка смолкает.

«Ничего не поделаешь, придется посмотреть, кто там», — думает женщина и, нажав на другую кнопку, приводит в движение кресло. Оно скользит к противоположной стене, откуда все еще доносится настойчивый звонок.

— Кто это? — кричит женщина. В ее голосе звучит раздражение... — вот уже в который раз ей мешают слушать музыку. У нее несколько тысяч знакомых — в известном смысле общение между людьми невероятно расширилось.

Но, когда раздается ответ, ее землистое лицо расплывается в морщинистой улыбке.

— Хорошо. Давай поговорим,— соглашается она.— Я сейчас выключусь. Надеюсь, что за пять минут не произойдет ничего существенного. Даю тебе целых пять минут, Куно, а потом я должна читать лекцию о музыке в австралийский период.

Она включает изолирующее устройство, и теперь уже никто другой не сможет говорить с ней. Потом одним прикосновением руки к осветительному аппарату погружает комнату во мрак.

— Скорее! — кричит она, и в голосе ее снова слышится раздражение.— Скорее, Куно, я сижу в темноте и теряю время!

Но проходит еще не меньше пятнадцати секунд, прежде чем круглая металлическая пластинка у нее в руках начинает светиться. Слабый голубой свет переходит в багровый, и вот она уже видит лицо сына, который живет на другой стороне земного шара, и сын видит ее.

— Куно, какой ты копуша,— говорит она. Он печально улыбается.— Можно подумать, что тебе нравится бездельничать.

— Я уже несколько раз звонил тебе, мать,— начинает он,— но ты всегда занята или выключена. Мне нужно тебе что-то сказать.

— В чем дело, дорогой? Говори скорее. Почему ты не послал письмо по пневматической почте?

— Мне казалось, что лучше самому сказать тебе это. Я хочу...

— Ну?

— Я хочу, чтобы ты приехала повидаться со мной. Вашти внимательнее всматривается в изображение сына на голубом диске.

— Но ведь я и так тебя вижу! — восклицает она.— Чего же тебе еще?

— Я хочу увидеть тебя не через Машину,— отвечает Куно.— Я хочу поговорить с тобой без этой постылой Машины.

— Замолчи! — прерывает его мать; слова сына покоробили ее.— Ты не должен плохо говорить о Машине.

— Но почему?

— Это недопустимо.

— Ты рассуждаешь так, будто Машину создал какой-то бог,— возмущается сын.— Ты еще, чего доброго, молишься ей, когда у тебя что-нибудь не ладится. Не забывай, что Машину сделали люди. Гениальные, но все же люди. Конечно, Машина — великая вещь, но это еще не все. Я вижу на оптическом диске что-то похожее на тебя, но это не ты. Я слышу по телефону что-то похожее на твой голос, но и это не ты. Вот почему я хочу, чтобы ты приехала. Приезжай, побудь со мной. Ты должна меня навестить — нам нужно повидаться с глазу на глаз, чтобы я мог рассказать тебе о своих надеждах и планах.

Но она говорит, что у нее нет времени ездить в гости.

— Воздушный корабль доставит тебя за два дня.

— Ненавижу воздушные корабли.

— Почему?

— Ненавижу смотреть на эту отвратительную коричневую землю, и на море, и на звезды. В воздушном корабле мне не приходят в голову никакие мысли.

— А мне они только там и приходят.

— Какие же мысли ты можешь почерпнуть из воздуха?

Мгновение он молчит.

— Разве ты не замечала,— говорит он наконец,— четыре большие звезды, образующие прямоугольник, а по-

средине — три поменьше, близко одна к другой, и от этих трех звезд свисают вниз еще три.

— Нет. Ненавижу звезды. А что, они навели тебя на какую-то мысль? Как интересно! Расскажи.

— Мне пришло в голову, что они похожи на человека. Четыре большие звезды — это плечи и колени. Три звезды посередине — пояс, как когда-то носили, а те три, что свисают вниз, — меч.

— Меч?

— Люди носили при себе меч, чтобы убивать зверей и других людей.

— Твоя мысль не так уж хороша, но, во всяком случае, оригинальна. Когда она у тебя возникла?

— В воздушном корабле... — Он внезапно замолчал, и ей показалось, что ему стало грустно. Правда, она не была в этом уверена: Машина не передавала различия в выражении лица. Она давала только общее представление о людях — для практических целей вполне удовлетворительное, по мнению Вашти.

Машина пренебрегала неуловимыми нюансами человеческих чувств, якобы определяющими, по утверждению уже изжившей себя философии, истинную сущность человеческих отношений, точно так же как при изготовлении искусственного винограда пренебрегали тем едва уловимым налетом, который мы находим на естественно созревающих плодах. Человечество давно уже привыкло довольствоваться заменителем — «вполне удовлетворительным».

— По правде сказать, — продолжал сын, — мне хочется еще раз взглянуть на эти звезды. Это удивительные звезды. И я хотел бы увидеть их не из окна воздушного корабля, а с поверхности земли, как много тысячелетий назад их видели наши предки. Я хочу подняться на поверхность земли.

И опять его слова покоробили ее.

— Мама, ты должна приехать,— настаивал он,— хотя бы для того, чтобы объяснить мне, что тут дурного.

— Ничего дурного,— отвечала она, взяв себя в руки.— Но и ничего хорошего. Ты найдешь там только грязь и пыль; на поверхности земли не осталось никакой жизни, и тебе понадобится респиратор, иначе холодный воздух убьет тебя. Ведь наружный воздух смертелен.

— Я знаю и, конечно, приму все меры предосторожности.

— К тому же...

— Да?

Она замолчала, подыскивая подходящие слова. У ее сына был нелегкий нрав, а она очень хотела отговорить его от бессмысленной затеи.

— Это противоречит духу времени,— произнесла она наконец.

— Ты хочешь сказать, это противоречит духу Машины?

— В некотором смысле, но...

Его изображение на голубом диске внезапно померкло.

— Куно!

Он отключился.

На мгновение Васти почувствовала себя одинокой.

Потом она включила свет и при виде своей комнаты, залитой мягким сиянием, усеянной электрическими кнопками, снова оживилась. Кнопками и выключателями были утыканы все стены — кнопки для получения еды, одежды, для включения музыки. Если нажать вот на эту, из-под пола поднимется мраморная ванна, наполненная до краев горячей деодоризованной водой. Для холодной ванны — другая кнопка. И, разумеется, мно-

жество кнопок для общения с друзьями. В этой комнате, совершенно пустой, можно было получить все, что угодно.

Вашти выключила изолирующее устройство, и в комнату ворвались телефонные звонки и голоса: все неотложные вопросы, накопившиеся за последние три минуты, обрушились на нее. Как ей понравились новые продукты питания? Рекомендует ли она их для широкого потребления? Не появились ли у нее за последнее время какие-нибудь новые идеи? Нельзя ли поделиться с ней собственными мыслями? Не согласится ли она в ближайшее время, ну, скажем, через месяц, посетить детский сад?

На большинство вопросов она отвечала с раздражением, столь свойственным людям в этот век бешеных темпов. Она считает, что новые продукты отвратительны. Детский сад посетить не может за отсутствием времени. У нее самой не возникало новых идей, но одну мысль ей только что довелось услышать: четыре звезды и три посредине будто бы напоминают человека; она сомневается, чтобы это представляло интерес. Затем она отключила своих собеседников, потому что пора было начинать лекцию об австралийской музыке.

Громоздкая система общественных сборищ была давным-давно отменена; ни Вашти, ни ее слушатели и не подумали тронуться с места. Она читала лекцию, сидя в своем кресле, а они, тоже оставаясь в своих креслах, имели полную возможность достаточно хорошо видеть и слышать ее. Она начала лекцию с пронизанной юмором краткой характеристики музыкальной культуры в домонгольскую эпоху, после чего рассказала о расцвете песни в период после китайского завоевания. Как ни примитивны и далеки от нашего искусства, заявила она, методы И Сан-со и брисбенской школы, тем не менее,

как ей кажется, они представляют определенный интерес для современного музыковеда, так как отличаются свежестью и, что самое главное, в них есть мысли.

Лекция продолжалась десять минут и была хорошо принята публикой, а по окончании ее Вашти и значительная часть ее аудитории прослушали лекцию о море: море будит мысли — лектор недавно сам побывал на море, предварительно надев респиратор. Потом Вашти приняла пищу, побеседовала с друзьями, приняла ванну, опять побеседовала с друзьями и, нажав на кнопку, вызвала кровать.

Кровать ей не нравилась — чересчур велика. Однако жаловаться было бесполезно, так как кровати во всём мире изготавливались по единому образцу и любое отступление от этого шаблона потребовало бы больших изменений в Машине. Вашти выключилась — это было необходимо, так как под землей день не отличался от ночи, — и попыталась припомнить, что произошло с тех пор, когда она в последний раз вызывала кровать. Новые мысли? Их не было. События? Куно пригласил ее к себе — это событие?

На пюпитре рядом с выдвижной кроватью лежала Книга — все, что уцелело от бумажного сора тысячелетий. Это была книга о Машине. В ней содержались инструкции на все случаи жизни. Если Вашти было жарко или холодно, если у нее болел живот или она затруднялась подобрать нужное слово, ей стоило только раскрыть Книгу, чтобы узнать, какой кнопкой воспользоваться. Книгу издал Генеральный совет, и ее роскошный переплет вполне отвечал вкусам эпохи.

Привстав в постели, Вашти благоговейно взяла Книгу в руки. Она обвела взглядом свое ослепительно сияющее жилище, будто желая убедиться, что ее никто не видит. Потом чуть стыдливо и в то же время растро-

ганно прошептала: «Машина! О Машина!» — и приложила книгу к губам. Трижды поцеловала она ее, трижды склонила перед ней голову и трижды испытала пьянящее блаженство смирения. Совершив этот обряд, она раскрыла Книгу на странице 1367, где было приведено расписание полетов воздушных кораблей, отправляющихся с острова в Южном полушарии, под поверхностью которого она жила, на остров в Северном полушарии, где жил ее сын.

Вашти подумала: «У меня нет на это времени». Она выключила свет и заснула.

Просыпаясь, она включала свет, ела, обменивалась мыслями с друзьями, слушала музыку и лекции, потом выключала свет и засыпала. Вокруг нее — наверху, внизу, со всех сторон — непрерывно гудела Машина, но она не замечала этого гула: с рождения он стоял у нее в ушах. И Земля гудела, вращаясь в безмолвном пространстве, поворачивая Вашти то к невидимому Солнцу, то к невидимым звездам.

Вашти проснулась и включила свет.

— Куно!

— Я не стану с тобой говорить, пока ты не приедешь, — ответил сын.

— Ты поднимался на поверхность земли после нашего предыдущего разговора?

Его изображение на пластинке померкло.

Она снова обратилась к Книге. Волнение охватило ее, и, вся дрожа, она откинулась на спинку кресла. Она была сама не своя.

Наконец она выпрямилась, повернула кресло к стене и нажала на незнакомую кнопку. Стена стала медленно раздвигаться. В образовавшемся проеме показался туннель, который слегка заворачивал вправо, так что кон-

ца его не было видно. Если она решится навестить сына, здесь начало ее пути.

Разумеется, существующая система передвижения была ей известна. Все очень просто: она вызовет электровагон, и он промчит ее по туннелю, к лифту, который сообщается с аэростанцией. Эта система была создана уже очень, очень давно, задолго до повсеместного внедрения Машины. И, конечно, Вашти была знакома с обычаями предшествовавшей цивилизации, когда функции системы понимались превратно и ею пользовались, чтобы доставлять человека к объекту, а не наоборот — объект к человеку. Это были забавные времена: люди отправлялись куда-нибудь подышать свежим воздухом, вместо того чтобы попросту сменить воздух в собственной комнате.

И все же туннель внушал Вашти страх; она не видела его с тех пор, как родился ее последний ребенок. Туннель действительно заворачивал, но как-то иначе, чем она себе представляла, он и вправду был ярко освещен, но, пожалуй, не так ярко, как об этом говорилось в лекции. Перспектива непосредственного столкновения с реальной действительностью ужаснула Вашти. Она поспешила отъехала в глубину комнаты, и стена снова сомкнулась.

— Куно, — сказала она, — я не могу к тебе приехать. Я не совсем здорова.

Тотчас же с потолка на нее свалился какой-то огромный аппарат, во рту оказался термометр, а на груди — стетоскоп, прижатый к сердцу. Она беспомощно откинулась в кресле. Охлаждающая подушка легко легла ей на лоб. Это Куно протелеграфировал ее врачу. Итак, в недрах Машины еще теплелись человеческие чувства.

Вашти проглотила таблетку, которую доктор вложил ей в рот, и аппарат взвился к потолку. Снова раз-

дался голос сына — Куно хотел знать, как она себя чувствует.

— Лучше, — сказала Вашти и добавила раздраженно: — Но почему бы тебе самому ко мне не приехать?

— Я не могу отлучиться.

— Почему?

— Потому что в любую минуту может произойти что-то ужасное.

— Ты уже поднимался на поверхность?

— Нет еще.

— Так в чем же дело?

— Я не хочу говорить об этом через Машину.

Она вернулась к своей повседневной жизни.

Но в памяти ее все чаще вставал образ сына; она вспоминала его ребенком, вспоминала день, когда он родился, и тот день, когда его забрали в детский сад, и как она навещала его там, и как потом он сам навещал ее — эти визиты прекратились, когда Машина предоставила ему комнату на другой стороне Земли. «Родители, их обязанности, — значилось в Книге. — Прекращаются в момент рождения ребенка» (страница 422 327 488). Верно, и все же в Куно было что-то особенное; да и во всех ее детях было что-то особенное. В конце концов, если он так настаивает, она просто обязана отважиться на путешествие. Он сказал: «Может случиться что-то ужасное». Что он имел в виду? Скорее всего, глупая мальчишеская болтовня, но все-таки ей придется поехать. Она опять нажала на ту незнакомую кнопку, и опять стена расступилась и открылся туннель, который заворачивал, так что конца его не было видно. Сжимая в руках Книгу, она поднялась с кресла, доковыляла до платформы в проеме стены и, ступив на нее, вызвала вагон. Стена сомкнулась за ее спиной, путешествие в Северное полушарие началось.

Разумеется, все было очень просто. Вагон подъехал, она села в него; кресла в нем оказались точно такими же, как ее собственное. Потом по ее сигналу вагон остановился и она проковыляла к лифту. В лифте сидел еще один пассажир — впервые за много месяцев она столкнулась лицом к лицу с другим человеческим существом. Путешествия мало кого привлекали — ведь благодаря прогрессу науки мир повсюду был совершенно одинаков. Развитие средств сообщения, на которое в предшествующую эпоху возлагалось столько надежд, в конце концов привело к обратным результатам. Зачем было ехать в Пекин, если он ничем не отличался от Шрусбери? Чего ради возвращаться в Шрусбери, если он ничем не отличался от Пекина? Человек перестал перемещать свое бренное тело, и только душа его не обрела покоя.

Воздушные корабли были пережитком минувшей эпохи. Они все еще летали, потому что проще было продолжать полеты, чем отменить совсем или сократить их число, однако население почти перестало нуждаться в этом виде транспорта. Одно судно за другим, волетая над выходными воронками в Райе или Кристчерче (я пользуюсь древними наименованиями), поднималось в небо, испещренное черными точками кораблей, и опускалось в гавани Южного полуширья — без единого пассажира. Система воздухоплавания была так совершенна, что метеорология утратила свое значение; небосвод при любой погоде напоминал огромный калейдоскоп с периодически повторяющимися узорами. Корабль, на котором летела Ванши, отправлялся попоременно то на закате, то на восходе солнца, но всякий раз, пролетая над Реймсом, он шел борт о борт с кораблем, курсировавшим между Гельсингфорсом и Бразилией, а пересекая Альпы, каждый третий раз встречался с Палермской фло-

тилией. Ни ночная тьма, ни ветры, ни штормы, ни приливы и отливы, ни землетрясения — ничто уже не было страшно человеку. Он обуздал Левиафана. Книги всех времен с их гимнами природе и вечным ужасом перед ее всемогущими силами читались бы теперь как забавные детские сказки.

И все же, когда Вашти увидела огромный борт корабля, на котором проступали пятна от воздействия внешнего воздуха, ее снова охватил страх перед неизбежным соприкосновением с действительностью. Настоящий корабль чем-то отличался от тех, которые появлялись на экране синемавидения. Прежде всего, от него исходил запах — нельзя сказать, чтобы неприятный или резкий, но все же достаточно определенный, чтобы с закрытыми глазами можно было угадать присутствие незнакомого предмета. К тому же до него надо было идти пешком, на виду у других пассажиров. Мужчина впереди Вашти уронил свою Книгу — казалось бы, пустяк, однако это вызвало всеобщее замешательство. Ведь если кому-нибудь случалось обронить Книгу у себя в комнате, пол автоматически поднимался, а здесь, в проходе, который вел к кораблю, такое устройство не было предусмотрено, и священная ноша так и осталась лежать там, где упала. Все остановились — это было так неожиданно, — а человек, которому принадлежала Книга, вместо того чтобы нагнуться и поднять ее, растерянно пощупал мускулы на правой руке, словно недоумевая, как он мог так оплошать. И вдруг кто-то сказал — без микрофона, естественным голосом: «Мы опаздываем», и пассажиры стали гуськом подниматься на корабль, а Вашти впопыхах наступила на раскрытую Книгу.

На борту ей стало совсем не по себе. Оборудование на корабле было старомодное и примитивное. Здесь

даже оказалась стюардесса, к которой Васти должна была обращаться со всеми просьбами. Пассажиров, правда, доставляла в салоны движущаяся платформа, но от платформы до дверей каюты оставалось еще несколько шагов, которые Васти пришлось пройти самой; к тому же одни каюты были лучше, другие хуже, а Васти доталась не лучшая. Она сочла это несправедливым, и гнев охватил ее. Однако стеклянные створки дверей уже захлопнулись, возвращаться было поздно. За прозрачной перегородкой в конце вестибюля, в подъемной шахте, бесшумно двигался вверх и вниз лифт, в котором она только что приехала, теперь уже совершенно пустой. А под вестибюлем, облицованным сверкающим кафелем, глубоко в землю ярус за ярусом уходили комнаты, и в каждой комнате жил человек — ел, спал, накапливал мысли. Где-то, затерянная в этом огромном улье, была и ее комната. Васти стало страшно.

— Машина! О Машина! — прошептала она, прижимая к себе Книгу, и у нее отлегло от сердца.

Но вот стены аэровокзала слились воедино, как это бывает только во сне, лифт внезапно исчез из виду. Книга, валявшаяся на полу, скользнула влево и пропала, плитки кафеля замелькали сверкающим каскадом, легкая дрожь прошла по корпусу судна — воздушный корабль, вынырнув из туннеля, взмыл над водами тропического океана.

Была ночь. На мгновение Васти увидела побережье Суматры, окаймленное фосфоресцирующей пеной прибоя, и сверкающие башни маяков, которые все еще излучали никому не нужный свет. Потом исчезли и маяки — остались одни только звезды. Они не стояли на месте, а перекатывались то вправо, то влево, попеременно скопляясь то в одном иллюминаторе, то в другом; казалось, будто кренится не корабль, а вся вселен-

ная. К тому же, как это бывает в ясные ночи, звезды то уходили ввысь, ярус за ярусом, подчеркивая бесконечную глубь небес, то нависали над землей, точно плоская крыша, скрывающая бесконечность от людского взора. Но в любом случае они были невыносимы.

«Так мы и будем путешествовать в темноте?!» — закричали из своих кают возмущенные пассажиры, и стюардесса, проявившая столь непозволительную халатность, поспешила включить свет и опустить металлические шторы. В те времена, когда строились воздушные корабли, человечество еще не утратило желания видеть мир своими глазами. Этим и объяснялось чрезмерное количество иллюминаторов и окон, причинявших цивилизованному человеку с утонченными чувствами немалые неудобства. В каюту Васти даже проникал сквозь щель в одной из штор тоненький звездный луч, и сон ее был неспокоен, а спустя несколько часов ее разбудило какое-то непривычное свечение — наступил рассвет.

Корабль летел на запад, но, как ни велика была скорость его полета, Земля катилась на восток еще быстрее, увлекая Васти и ее попутчиков за собой — обратно к Солнцу. Науке удалось продлить течение ночи, но лишь ненамного, а высоким мечтам о нейтрализации суточного вращения Земли не суждено было сбыться, как и некоторым другим, быть может еще более грандиозным. Не отставать от Солнца или даже обогнать его — такую задачу ставило перед собой человечество в предшествующую эпоху. С этой целью строились самолеты, обладавшие огромной скоростью, и водили их величайшие мужи века. Они летали вокруг Земли, устремляясь на запад, всегда на запад, совершая один круг за другим под несмолкающий гром рукоплесканий. Все было напрасно. Земной шар катился на восток еще быстрее. Возникали ужасные катастрофы, и в конце кон-

цов Генеральный совет при Машине, который в то время уже становился всевластным, объявил эту гонку противозаконной, антимеханичной и наказуемой лишением крова. (О лишении крова речь еще будет впереди.)

Генеральный совет, несомненно, был прав. Однако после неудавшейся попытки обогнать Солнце человечество никогда более не проявляло интереса к движению небесных тел, да и вообще к чему бы то ни было. Людей уже не объединяло стремление познать то, что лежит за пределами их мира. Солнце вышло из борьбы победителем, но эта победа положила конец его господству над людскими умами. Небесный путь солнечного светила, его восходы и закаты, его годовой круговорот уже не волновали человека, ему просто не было до этого никакого дела, и наука обратила свои взоры в недра земли, чтобы отныне ставить себе только такие задачи, которые сулили безусловный успех.

Когда Вашти, проснувшись, обнаружила, что через занавешенное окно пробивается розоватая полоска света, это вывело ее из себя, и она попыталась поплотнее задернуть штору. Однако железная штора, вырвавшись у нее из рук, взвилась кверху, и Вашти увидела розовые — на голубом — облака, а когда солнце поднялось выше, лучи его хлынули в каюту и море света стало разливаться по стене. Золотые волны вздымались и падали в такт покачиванию корабля, и море разрасталось и наступало, как в час прилива. Казалось, еще немного — и свет ударит ей прямо в лицо. В ужасе она нажала на звонок, чтобы вызвать стюардессу. Стюардесса тоже ужаснулась, но ничего не могла поделать — починка штор не входила в ее обязанности. Ей оставалось только предложить даме сменить каюту, на что Вашти немедленно согласилась.

Люди во всем мире были теперь похожи друг на друга, но стюардесса, быть может в силу своих неординарных обязанностей, отличалась некоторым своеобразием. Ей часто приходилось разговаривать с пассажирами, не прибегая к помощи Машины, и от этого в ее манерах появилось что-то эксцентрическое и резкое. Когда Вашти с криком отпрянула от заливавшего ее солнечного света, стюардесса позволила себе чудовищную грубость — она протянула руку, чтобы не дать Вашти упасть.

— Как вы смеете! — вскричала возмущенная пассажирка. — Вы забываетесь!

Стюардесса смутилась и поспешила извиниться за то, что хотела поддержать ее. Люди давно уже не дотрагивались друг до друга. Этот обычай устарел в эпоху Машины.

— Где мы сейчас? — сухо спросила Вашти.

— Мы над Азией, — ответила стюардесса, изо всех сил стараясь быть любезной.

— Над Азией?

— Извините, я привыкла называть места, над которыми мы пролетаем, их старыми, немеханичными названиями.

— О, я припоминаю: Азия — это откуда пришли монголы.

— Прямо под нами, на поверхности земли, прежде стоял город, который называли Симла.

— А вы когда-нибудь слышали о монголах и о брисбенской школе?

— Нет.

— Брисбен тоже стоял на поверхности земли.

— А эти горы, направо, — разрешите, я покажу их вам, — стюардесса приподняла штору, и далеко внизу показался Гималайский хребет, — эти горы когда-то называли Крышой Мира.

— Как глупо!

— Видите ли, тогда, до эры цивилизации, считалось, что они образуют непреодолимую стену и что эта стена упирается в звезды, а над ней — только боги. Как далеко мы ушли вперед! И все благодаря Машине.

— Все благодаря Машине, — как эхо отозвался пассажир, стоявший в проходе, — тот самый, что уронил вчера Книгу.

— А что это за белое вещества — вон там?

— Я забыла, как оно называется.

— Закройте, пожалуйста, окно. Эти горы не будят мыслей.

Северная сторона Гималаев лежала в тени, солнце освещало склоны, обращенные к Индии. Леса, некогда покрывающие эти горные громады, в эпоху развития литературы были истреблены — древесина шла на бумагу; снег на оголенных вершинах уже озаряли первые утренние лучи, а в расщелинах Канчинжинга еще дремали легкие облака. Внизу, в долине, виднелись развалины городов, и вдоль полуразрушенных стен тонкими ниточками тянулись реки, на берегах которых там и сям чернели отверстия выходных воронок — опознавательные знаки современных городов. И над всем этим взад и вперед проносились воздушные корабли, встречаясь и расходясь, с поразительной легкостью взмывая вверх, чтобы обойти внезапное завихрение в нижних воздушных слоях или пролететь над Крышей Мира.

— Да, мы ушли далеко вперед благодаря Машине, — повторила стюардесса и закрыла Гималаи металлической шторой.

День тянулся медленно. Пассажиры сидели по своим каютам, испытывая почти физическое отвращение при мысли о возможной встрече друг с другом и мечтая поскорее снова очутиться под землей. Их было человек

восемь или десять — главным образом молодые мужчины, которых развозили из воспитательных учреждений в различные концы земли, чтобы заселить опустевшие комнаты тех, кто недавно умер. Молодой человек, уронивший Книгу, возвращался домой — его посылали на Суматру в целях продолжения человеческого рода. Одна только Вашти совершила путешествие по собственной воле.

В полдень она еще раз взглянула на землю. Воздушный корабль опять пролетал над горным хребтом, но ей мало что удалось увидеть, потому что небо было затянуто облаками. Нагромождения черных скал смутно вырисовывались где-то внизу, и вершины терялись в серой мгле. Их формы были причудливы, одна из гор напоминала распостертого на земле человека.

— Это не будет мыслей, — пробормотала Вашти и закрыла Кавказский хребет металлической шторой.

Вечером она выглянула опять. Они летели над морем цвета расплавленного золота с множеством мелких островов и одним полуостровом.

— Это не будет мыслей, — повторила про себя Вашти и закрыла Грецию металлической шторой.

ЧАСТЬ II

Ремонтный аппарат

Снова вестибюль аэровокзала, лифт, подземный туннель, платформа, раздвигающиеся двери — и Вашти, проделав тот же путь, только в обратном порядке, оказалась в комнате сына — точно такой же, как и ее собственная. Недаром она считала этот визит совершенно излишним. Те же кнопки и выключатели на стенах, тот же пюпитр с Книгой, та же температура воздуха и то

же освещение — никакого отличия ни в чем. И, хотя Куно, ее сын, плоть от плоти ее, стоял теперь рядом с ней, разве это что-нибудь меняло? Она была слишком хорошо воспитана, чтобы позволить себе пожать ему руку.

Стараясь не встречаться с ним взглядом, она заговорила:

— Ну, вот и я. Дорога была ужасной, и я так отстала за это время в своем духовном развитии. Не стоило мне приезжать, Куно, право, не стоило. Мое время слишком дорого. А в пути меня чуть не коснулся солнечный свет и мне пришлось встречаться с ужасными грубиянами. В моем распоряжении всего несколько минут. Говори, что нужно, и я сейчас же уеду.

— Мне угрожает лишение крова.

Теперь она наконец взглянула на него.

— Мне угрожает лишение крова, — повторил он, — не мог же я сказать тебе об этом через Машину.

Лишние кровя означало смерть. Осужденного оставляют на открытом воздухе, и он погибает.

— После нашего разговора я все-таки поднялся на поверхность земли. Я осуществил свою мечту, но меня заметили.

— Что же тут такого? — удивилась она. — В том, что ты поднялся на поверхность, нет ничего противозаконного и ничего антимеханичного. Только недавно я слышала лекцию о море — никому не возбраняется побывать там. Нужно только получить респиратор и заказать пропуск на выход. Разумеется, человек мыслящий не станет этого делать, и я пыталась отговорить тебя, но законом это разрешено.

— Я не заказывал пропуска.

— Как же ты очутился снаружи?

— Я нашел другой, свой собственный выход.

Она не поняла, и ему пришлось повторить то, что он сказал.

— Свой собственный выход? — в недоумении проромотала она. — Но ведь так нельзя.

— Почему?

Этот вопрос показался ей просто неприличным.

— Ты начинаешь обожествлять Машину, — холодно заметил сын. — По-твоему, я вероотступник, потому что посмел сам найти выход. Вот и Генеральный совет так считает, они пригрозили мне лишением крова.

Вашти рассердилась.

— Я ничего не обожествляю! — воскликнула она. — У меня достаточно прогрессивные взгляды. И вовсе не считаю тебя вероотступником, потому что никакой религии давно уже нет. Машина развеяла все страхи и предрассудки. Я только говорю, что искать свой выход было с твоей стороны... да никаких новых выходов и нет.

— До сих пор принято было так считать.

— Подняться на поверхность можно только через одну из воронок, а для этого нужно иметь пропуск, — так сказано в Книге.

— Значит, то, что сказано в Книге, неправда, потому что я выбрался сам, пешком.

Куно был физически неплохо развит. Иметь крепкие мускулы считалось пороком. Все дети при рождении подвергались осмотру, и, если ребенок внушал в этом смысле слишком большие опасения, его уничтожали. Могут возразить, что это противоречит законам гуманности, но оставить будущего атлета жить было бы тоже не слишком гуманно. В тех условиях жизни, которые диктовались Машиной, он никогда не был бы счастлив; он тосковал бы по деревьям, на которые можно лазить, по прозрачным рекам, в которых ему хотелось бы плавать, по лугам и горным вершинам, где он чувствовал

бы себя привольно. Разве человек не должен быть приспособлен к окружающей среде? На заре человечества хилых младенцев сбрасывали с вершины Тайгета, на его закате обрекали на гибель сильнейших — во имя Машины, во имя вечного движения Машины!

— Ты ведь знаешь, что мы утратили чувство пространства, — продолжал Куно. — Мы говорим — «пространство исчезает», на самом же деле исчезло не пространство, а только наше восприятие его. Мы утратили часть самих себя, и я решил восстановить эту утраченную часть. Я начал с того, что стал ежедневно ходить взад и вперед по платформе за моей дверью, пока не устану. Так я снова постиг забытые понятия «далеко» и «близко». «Близко» то место, до которого я могу быстро дойти пешком, а не добираться на поезде или воздушном корабле, а «далеко» то, до чего нельзя дойти за короткое время. Выходная воронка «далеко», хотя, вызвав электровагон, можно оказаться там через тридцать восемь секунд. Человек — мера всех вещей. Я впервые это понял. Его ноги — мера расстояния, руки — мера собственности, а тело — мера всего прекрасного, сильного и желанного.

Я решил пойти еще дальше. Тогда-то я и позвонил тебе в первый раз, но ты не захотела приехать.

Наш город, как ты знаешь, лежит глубоко под землей, и только воронки выходят на поверхность. Походив по платформе за моей дверью, я сел в лифт и доехал до следующей остановки; там я тоже ходил взад и вперед, и так я делал, пока не добрался до самой последней платформы, над которой уже начинается земная поверхность. Все платформы совершенно одинаковы, но оттого, что я шагал по ним, у меня окрепли мускулы и чувство пространства стало острее. Наверное, мне следовало удовольствоваться этим — ведь это уже не так

мало, но во время своих прогулок я предавался размышлениям, и мне пришло в голову, что наши города построены еще в те времена, когда люди дышали наружным воздухом, и, значит, там, где велись работы, должны были существовать вентиляционные шахты. С этой минуты я уже не мог думать ни о чем другом. Засыпаны ли шахты, с тех пор как проложили бесчисленные пищепроводы, медикаментопроводы и музикопроводы, которые входят теперь в систему Машины? Или они еще сохранились, хотя бы частично? Одно было мне совершенно ясно: если и можно где-нибудь обнаружить остатки вентиляционных шахт, то только в железнодорожных туннелях верхнего этажа. На всех других этажах использован каждый дюйм.

Я рассказываю тебе только самую суть, но не думай, что я не трусил, что твои слова не обескураживали меня. Я понимал, что не подобает ходить пешком по туннелю, что это неприлично, немеханично. Я не боялся, что наступлю на рельс и меня убьет током, но одна только мысль о поступке, не предусмотренном Машиной, внушила мне страх. В конце концов я все же сказал себе: «Человек — мера всех вещей» — и пошел и после долгих поисков отыскал выходное отверстие.

Разумеется, туннели освещены, все залито искусственным светом; темное пятно означало бы брешь в стени. И вот, когда я увидел темный провал между плитками кафеля, я понял, что нашел то, что искал, и у меня дрогнуло сердце. Я сунул туда руку — даже рука проходила с трудом — и в восторге от своего открытия попытался расширить отверстие. Мне удалось высвободить еще одну плитку; я просунул в отверстие голову и крикнул в темноту: «Я иду! Я добьюсь своего!» Мне показалось, что я слышу голоса давно умерших людей, тех, кто когда-то каждый вечер после работы в туннеле воз-

вращался под свет звезд, домой, к жене и детям. Поколения, чья жизнь прошла на поверхности земли, отзывались на мой крик: «Ты идешь. Ты добьешься своего», — словно эхо донеслось до меня.

Куно умолк. Последние его слова, несмотря на всю их нелепость, тронули Васти. Ведь он недавно обращался в Генеральный совет с просьбой о разрешении стать отцом, но ему было отказано: он не принадлежал к тому типу, который планировался Машиной для потомков.

— В это время проехал поезд, — продолжал Куно свой рассказ. — Он пронесся совсем рядом, но я засунул голову и плечи в дыру. На первый раз с меня было достаточно, я вернулся на платформу, спустился в лифте к себе в комнату и вызвал кровать. Какие сны мне снились в ту ночь! И снова я позвонил тебе, но ты опять отказалась приехать.

Васти покачала головой.

— Перестань, — попросила она. — Не рассказывай мне обо всех этих ужасах. Мне больно слушать тебя. Ты отрекаешься от цивилизованного мира.

— Я обрел ощущение пространства, — не слушая ее, продолжал сын, — и уже не мог остановиться на полпути. Я решил пролезть в дыру и подняться по вентиляционной шахте. Для этого я начал тренироваться. Ежедневно я проделывал самые причудливые движения, пока мышцы не начинали ныть, и скоро уже мог в течение нескольких минут держать на вытянутых руках подушку и даже висеть на руках. Тогда я нажал на кнопку, получил респиратор и отправился в туннель.

Сначала все шло гладко. Цемент местами раскрошился; я без большого труда отодрал еще несколько плиток и полез в темную дыру. Духи умерших предков своим незримым присутствием подбадривали меня. Не

знаю, как это объяснить, но у меня было именно такое чувство. Я впервые осознал, что человек может бросить вызов смерти и тлению и что, черпая поддержку у мертвых, я в свою очередь протягиваю руку помощи тем, кто еще не родился. Я понял, что существует нечто истинно человеческое и что ему не нужны никакие покровы. Как мне выразить свою мысль? Человечество предстало передо мной нагим, в своем естественном виде: ведь все эти трубы, кнопки и механизмы не появились на свет вместе с нами, и мы не унесем их с собой, когда исчезнем, и не в них самое главное, пока мы живы. Будь я физически более вынослив, я сорвал бы с себя платье и голым вышел бы на поверхность земли. Но, к сожалению, для меня это было невозможно, как, вероятно, и ни для кого из людей моего поколения. Я пополз вперед во всем своем снаряжении — с респиратором, в гигиенической одежде, с диетическими таблетками в кармане! Все же это было лучше, чем оставаться на месте.

Прямо передо мной оказалась лестница из какого-то неизвестного мне, по-видимому, вышедшего из употребления металла. На нижние ее перекладины падал свет из железнодорожного туннеля, и я увидел, что она идет отвесно вверх с усыпанного щебнем дна шахты. Вероятно, те, кто здесь когда-то работал, спускались и поднимались по ней десятки раз в день. Я стал карабкаться вверх по лестнице. Острые края перекладин рвали перчатки и рассекали ладони до крови. Сначала до меня еще доходил свет, но очень скоро я очутился в кромешной тьме. Еще хуже была внезапная тишина — она пронзила меня, как кинжал. Оказывается, Машина гудит! Ты это когда-нибудь замечала? Ее гул заполняет нас, он проникает нам в кровь и, быть может, даже определяет течение наших мыслей, кто знает! Я уходил из-под

власти Машины. Я было подумал: «Эта тишина доказывает, что я преступил границы дозволенного». Но тотчас же мне снова послышались голоса, и я опять будто почувствовал чью-то поддержку.—Он засмеялся.—А поддержка была мне очень нужна, потому что в следующую минуту я с треском ударился обо что-то головой.

Вашти вздохнула.

— Оказалось, что это пневматическая пробка, которой затыкают отверстия, чтобы защитить нас от наружного воздуха. Ты, наверное, видела такие затычки на воздушном корабле. Сам не понимаю, как я остался жив: я стоял на узкой перекладине над черной бездной, и из моих ладоней сочилась кровь. Но мне по-прежнему слышались ободряющие голоса, и я осторожно вытянул руку, пытаясь нашупать задвижку или болт. Пневмопробка была, вероятно, около восьми футов шириной. Я обследовал ее поверхность, насколько хватило руки, почти до середины,—она была абсолютно гладкой. И тут мне явственно послышалось: «Прыгай. Тебе нечего терять. Может быть, посередине есть ручка, и, если ты сумеешь ухватиться за нее, ты придешь к нам, как хотел,—своим путем. А если ручки нет и ты разобьешься, все равно ты ничего не теряешь — ты все-таки придешь к нам своим путем», Я прыгнул. Там была ручка, и...

Куно замолчал. У Вашти в глазах стояли слезы. Она понимала, что ее сын обречен. Не сегодня-завтра его ждала смерть. В этом мире не было места для таких, как он. Он вызывал у нее брезгливую жалость. Ей, добродорпорядочной и мыслящей женщине, приходилось стыдиться собственного сына! Неужели это тот самый малыш, которого она учила пользоваться выключателями и кнопками, которого она знакомила с начатками муд-

рости, заключенной в Книге? Теперь у него на верхней губе росла безобразная щетина, и это само по себе уже говорило о возврате к какому-то первобытному типу. А с атавизмом Машина мириться не может.

Куно между тем продолжал свой рассказ:

— Я нащупал ручку и ухватился за нее. И вот, оглушенный прыжком, я повис во тьме, и мне снова почудилось отдаленное гудение Машины, похожее на замирающий прощальный шепот. Все вдруг показалось мне мелким и ничтожным — и то, что я когда-то любил, и люди, с которыми я общался только через провода и трубы. Между тем ручка, очевидно под действием тяжести моего тела, начала поворачиваться, увлекая меня за собой, а потом...

Я не в силах описать, что произошло потом. Я лежал на спине, и солнце светило мне в лицо. Из носа и ушей у меня текла кровь. Откуда-то доносился оглушительный рев. Пробку вытолкнуло из отверстия вместе со мной, и теперь воздух, который мы изготавляем под землей, выходил наружу. Он был фонтаном. Я подполз к краю отверстия и стал жадно ловить ртом воздушную струю, потому что наружный воздух при каждом вдохе причинял мне боль. Мой респиратор отбросило куда-то в сторону, одежда на мне была разорвана в клочья. Я лежал и глоток за глотком пил животворный газ, пока кровотечение не прекратилось. Трудно даже представить себе эту картину: поросшая травой ложбинка (о ней я еще расскажу тебе потом), солнечный свет, не очень яркий, потому что солнце пробивается сквозь мраморные, в прожилках, облака; ощущение покоя, безмятежности, простора; и тут же, рядом со мной, так близко, что я ощущаю его прикосновение на своей щеке, бьющий из-под земли фонтан нашего искусственного воздуха! Взглянув вверх, я увидел свой респиратор: он

подпрыгивал в струе воздуха высоко над моей головой. А еще выше, в небе, проплывали воздушные корабли. Но с кораблей никогда никто не смотрит на землю, да если бы меня и заметили, разве они смогли бы меня подобрать?! Я был предоставлен самому себе. Я заглянул в шахту: солнечный свет, проникая в нее, выхватывал из мрака верхние перекладины лестницы, но о том, чтобы снова спуститься, не приходилось и думать. Меня либо снова выбросило бы на поверхность воздушным потоком, либо я упал бы в шахту и разбился насмерть. Мне оставалось только лежать на траве и пить из подземного источника, время от времени оглядываясь по сторонам.

Я знал, что нахожусь в Уэссексе, потому что, перед тем как отправиться в путь, прослушал лекцию. Уэссекс расположен как раз над моей комнатой. Когда-то он представлял собой сильное государство. Его короли владели всем южным побережьем, от Андредсвальда до Корнуэлла, а с севера королевство защищал Венсдейк. Лекция была посвящена только периоду становления Уэссекса как государства, поэтому я не знаю, как долго он оставался мировой державой. Да и к чему мне были теперь эти познания? Я только посмеялся, вспомнив о лекции. Я лежал в травянистой ложбине, окаймленной зарослями папоротника, под боком у меня валялась пневматическая пробка, над головой прыгал респиратор — я был захлопнут в этой ловушке.

Куно усмехнулся и, снова став серьезным, продолжал:

— Мне повезло, что я оказался в ложбине: воздух, который поступал из-под земли, постепенно наполнял ее, как вода наполняет чашу. Вскоре я уже мог отползти немного от края отверстия. Потом я поднялся на ноги. Я дышал смесью подземного и наружного воздуха,

но всякий раз, когда пытался взобраться на откос, ощущал режущую боль в легких. Все же дела мои обстояли не так плохо. Питательные таблетки были в кармане — я не потерял их при падении, чувствовал я себя удивительно бодро, а что касается Машины, то я попросту забыл о ней. Мною владело теперь только одно стремление — выбраться наверх, туда, где рос папоротник, и посмотреть, что я там найду.

Я взбежал по откосу. Непривычный воздух оказался все еще слишком резким для меня, и я скатился обратно, успев лишь мельком разглядеть что-то большое и серое. Солнце светило теперь еще слабее, и я вспомнил, что оно находится сейчас в созвездии Скорпиона — об этом я тоже узнал из лекции, а если вы в Уэссексе, а солнце — в созвездии Скорпиона, вам лучше поторопиться, потому что скоро совсем стемнеет. (Первый и, вероятно, последний раз в жизни мне пригодилось что-то, о чем я узнал из лекции.) Я стал судорожно вдыхать непривычный воздух, постепенно отходя все дальше от своего маленького воздушного оазиса. Ложбинка наполнилась так медленно! По временам мне уже начинало казаться, что воздушный фонтан иссякает. Мой респиратор как будто опустился пониже, и рев поутих.

Впрочем, тебе это, наверное, не интересно, — внезапно оборвал себя Куно. — А остальное покажется еще скучнее. Это не будет мыслей, и я уже жалею, что просил тебя приехать. Мы с тобой слишком разные люди.

Но она велела ему продолжать.

— Только к вечеру мне удалось подняться на откос. Солнце почти скрылось, и было уже трудно что-нибудь разглядеть. Вероятно, не стоит рассказывать тебе о том, что я увидел, ведь ты только что пролетала над Крышой Мира, а передо мной открылась всего лишь невысокая гряда бесцветных холмов. Но мне эти холмы по-

казались живыми: Под дерном, который служил им кожным покровом, выпукло проступали мускулы, и я знал, что когда-то эти холмы в полный голос говорили с людьми и люди внимали их зову. Теперь они спят и, возможно, уже никогда не проснутся. Но даже их сны обращены к человеку. Счастлив тот, кому удастся их разбудить. Ведь они только уснули — они никогда не умрут.

В голосе Куно внезапно зазвучал гнев.

— Неужели ты не видишь, — воскликнул он, — неужели вы, ученые лекторы, не видите, что это мы, мы умираем, что у нас под землей в полном смысле слова живет только Машина? Мы создали ее для того, чтобы она нам служила, но мы уже не в силах заставить ее служить нам. Она лишила нас способности осязать вещи и ощущать пространство, она притупила все наши чувства, свела любовь к половому акту, парализовала нашу плоть и нашу волю, а теперь принуждает нас богоотворить ее. Машина совершенствуется, но не в том направлении, в каком нам нужно. Машина движется вперед, но не к нашей цели. Мы только кровяные шарики в ее кровеносной системе, и, если бы она могла функционировать без нас, она давно предоставила бы нам умереть. У меня нет способа бороться с Машиной, вернее, я знаю только один способ: снова и снова рассказывать людям о том, что я видел холмы Уэссекса, те самые, на которые смотрел Альфред Великий, изгнавший датчан.

Так вот, солнце село. Да, я забыл рассказать тебе, что между холмом, у подножия которого я стоял, и другими холмами висело перламутровое облако тумана.

Куно снова замолчал.

— Продолжай, — глухо сказала мать.
Он покачал головой.

— Продолжай. Ты уже ничем не можешь огорчить меня, я ко всему готова.

— Я хотел рассказать тебе все, но не могу, теперь я вижу, что не могу.

Вашти растерялась. Ей было мучительно слушать его кощунственные речи, но любопытство взяло верх.

— Это нечестно,— сказала она.— Я приехала с другого конца света только для того, чтобы выслушать тебя, и я намерена выслушать все до конца. Расскажи мне— только покороче, потому что я и так уже потеряла уйму времени,— расскажи, как ты вернулся в цивилизованный мир.

— Ах вот что,— воскликнул Куно, прерывая свои размышления,— тебя интересует цивилизованный мир! Хорошо, я расскажу тебе. Я уже говорил, что мой респиратор упал на землю?

— Нет. Но теперь я все поняла: ты надел респиратор и дошел по поверхности земли до ближайшей воронки, а там о тебе доложили Генеральному совету.

— Ничего похожего.

Куно провел рукой по лбу, как бы пытаясь отогнать какое-то волнующее воспоминание. Потом снова заговорил, все более оживляясь.

— Мой респиратор упал, когда солнце уже садилось. Я ведь, кажется, говорил, что воздушная струя постепенно ослабевала?

— Да.

— Так вот, на закате респиратор упал. Я уже и думать забыл о Машине и потому не придал этому большого значения, я был слишком поглощен другим. Время от времени, когда режущая боль в легких становилась нестерпимой, я нырял в спасительное озерцо подземного воздуха — при тихой погоде оно могло сохраниться в ложбине в течение многих дней. Только потом, уже

слишком поздно, я понял, что означало исчезновение воздушной струи. Отверстие в туннеле было заделано, в действие вступил ремонтный аппарат — Машина выследила меня.

Я мог бы догадаться о грозящей опасности и по некоторым другим признакам, если бы вовремя сумел их осмыслить. К ночи небо стало чище, и время от времени луна, выходя из-за облаков, ярко освещала мою ложбинку. Я стоял на своем посту — на границе двух атмосфер, как вдруг мне почудилось, что внизу, на дне ложбины, промелькнуло что-то черное и тотчас скрылось в отверстии шахты. Я был так глуп, что сбежал с откоса, наклонился над входом в шахту и стал прислушиваться. Мне показалось, что из глубины доносится какое-то шарканье.

И тут — слишком поздно — я насторожился. Я решил надеть респиратор и уйти из лощины. Но респиратор исчез. Я точно помнил место, где он упал: между входом в шахту и валявшейся неподалеку пневматической пробкой в траве еще виднелась оставшаяся от него вмятина. Он исчез; в этом было что-то зловещее, и я понял, что надо бежать: если мне суждено умереть, то пусть смерть настигнет меня на пути к перламутровому облаку тумана. Но я не успел даже сдвинуться с места. Из шахты... это было ужасно... из шахты выполз червь — длинный, белый, он извивался на залитой лунным светом траве.

Я закричал. Я вел себя как нельзя более глупо. Вместо того чтобы броситься бежать, я наступил на червяка ногой, и он тотчас же цепким кольцом охватил мою лодыжку. Я побежал, пытаясь вырваться из тисков, а червь волочился за мной и все выше обвивался вокруг моей ноги. «Помогите!» — закричал я. (И тут случилось нечто такое, о чем ты никогда не узнаешь; я не стану рассказывать тебе об этом.) «Помогите!» (Почему

мы не умеем страдать молча?) «Помогите!» — и в ту же минуту упал, потому что в тисках оказались уже обе ноги и гад поволок меня по земле, прочь от полюбившихся мне папоротников и от вечно живых холмов, мимо металлической пневмопробки, за которую я попытался ухватиться (об этом я могу тебе рассказать) в надежде, что она еще раз спасет меня. Пробка тоже была обвита червями! Вся ложбина кишила ими. Они рыскали вокруг, оголяя все на своем пути, а из шахты высовывались тупые белые рыльца — новые орды готовы были, если понадобится, ринуться на помощь. Черви тащили за собой все, что можно было сдвинуть с места, — сухие ветки, вырванные с корнем папоротники — и, сплетаясь клубком вместе со своей добычей, скатывались в черную бездну шахты. В эту преисподнюю провалился и я. Последнее, что я успел увидеть, прежде чем закрылась пробка, были звезды над моей головой, и я подумал, что такой человек, как я, подобен небожителям. Ибо я боролся, боролся до конца, пока, ударившись затылком об лестницу, не потерял сознание. Очнулся я у себя в комнате. Черви исчезли. Я опять жил в искусственной атмосфере, при искусственном освещении, окруженный искусственным покоем, и друзья вопрошали в микрофоны, не появились ли у меня новые мысли.

На этом рассказ был окончен. Говорить что-либо не имело смысла. И Вашти собралась уходить.

— Ты дождешься лишения крова, — сухо заметила она.

— Тем лучше, — отрезал Куно.

— Машина была милостива к тебе.

— Я предпочел бы божью милость.

— Что означает твой суеверный ответ? Ты хочешь сказать, что мог бы жить на поверхности земли?

— Да.

— Ты когда-нибудь видел разбросанные вокруг выходных воронок кости тех, кто был изгнан после Великого Мятежа?

— Да.

— Их оставили лежать там — нам в назидание. Лишь немногим удалось уползти, но и они погибли — разве в этом можно сомневаться? То же случается и с теми, кого лишают крова в наши дни. На поверхности земли нет жизни.

— В самом деле?

— Там еще могут расти папоротник и трава, но все высшие организмы уже исчезли. Разве с воздушных кораблей когда-нибудь удавалось их обнаружить?

— Нет.

— Разве хоть в одной из лекций упоминалось о них?

— Нет.

— Откуда же у тебя такая уверенность?

— Потому что я видел! — выкрикнул Куно.

— Что видел?

— Я видел ее, я разглядел ее в полутьме, она пришла мне на помощь, когда я закричал, и вокруг нее тоже обвились черви, только ей повезло больше, чем мне, — они сразу задушили ее.

Он сошел с ума, это было ясно. Вашти покинула его и потом, захлестнутая потоком событий, ни разу больше не увидела его лица.

ЧАСТЬ III

Лишенные крова

Со времени дерзкой вылазки Куно прошло несколько лет, и эти годы ознаменовались двумя важными событиями в истории Машины. События эти, на первый

взгляд революционные, были лишь логическим завершением уже давно наметившихся тенденций, и в обоих случаях оказалось, что общественное сознание уже достаточно созрело для них.

Первым важным событием было упразднение респираторов.

Передовые умы, Вашти в том числе, давно уже считали посещение поверхности земли неразумным. В воздушных кораблях еще был, вероятно, какой-то смысл, но стоило ли из одного только любопытства подниматься на поверхность, чтобы с черепашьей скоростью проехать милю-другую в наземном мотокаре? Этот вульгарный и, пожалуй, даже не совсем приличный обычай не давал никакой пищи уму и не имел ничего общего с традициями, представляющими действительную ценность. Поэтому респираторы были упразднены, а вместе с ними, разумеется, и наземные мотокары. Впрочем, за исключением нескольких лекторов, которые жаловались, что их лишили доступа к предмету их лекций, все отнеслись к новой реформе с полнейшим равнодушием. Ведь, в конце концов, если кому-нибудь и захотелось бы узнать, что представляет собой Земля, ему достаточно было прослушать несколько граммофонных пластинок или просмотреть синемавизионную ленту. Да и лекторы легко примирились со своим положением, как только убедились, что лекция о море не утрачивает своей эффективности от того, что она скомпилирована из других, уже ранее читавшихся лекций на ту же тему. «Берегитесь оригинальных идей! — заявил один из самых передовых и ученых лекторов. — Оригинальных идей в буквальном смысле слова вообще не существует. Они являются лишь выражением таких чувств, как страх или любовь, то есть происходят из чисто физических ощущений, а разве можно построить философскую концепцию на столь примитивной и грубой

основе? Пользуйтесь заимствованными идеями, идеями из вторых, а еще лучше из десятых рук, ибо в этом случае они будут очищены от таких нежелательных наслечий, как непосредственное восприятие. Не стремитесь узнать что-либо о самом предмете моей лекции, в данном случае о французской революции. Постарайтесь лучше понять, что я думаю о том, что думал Энхармон о том, что думал Урзин о том, что думал Гутч о том, что думал Хо Юнг о том, что думал Ши Бо-син о том, что думал Лафкадио Херн о том, что думал Карлейль о том, что говорил Мирабо о французской революции. Благодаря последовательным усилиям этих великих умов из крови, пролитой на улицах Парижа, и осколков разбитых окон Версалая выкристаллизуется идея, которой вы сможете с пользой для себя руководствоваться в повседневной жизни. Нужно только, чтобы промежуточные звенья были достаточно многочисленны и разнообразны, потому что в исторической науке один авторитет всегда уравновешивает недостатки другого. Так, Урзин нейтрализует скептицизм Хо Юнга и Энхармона, а я умеряю излишнюю страсть Гутча. Вы, мои слушатели, можете составить себе более обоснованное суждение о французской революции, чем я. А ваши потомки получат преимущество и перед вами, потому что им будет известно, что думали вы о том, что думал я, и таким образом к общей цепи присоединится еще одно звено. А со временем,— голос лектора зазвучал громче,— появится поколение, которое сумеет окончательно отрешиться от фактов, от собственных впечатлений, поколение, не имеющее своего лица, поколение божественно свободное от бремени индивидуальных примет, и людям этого поколения французская революция уже будет казаться не такой, какой она была на самом деле, и не такой, какой им хотелось бы ее видеть, они будут воспринимать ее такой,

какой она была бы, если бы происходила в век Машины».

Эта лекция была встречена громом аплодисментов, выражавшим общее настроение — безотчетное желание отвернуться от фактов земной жизни и чувство облегчения от того, что респираторы наконец упразднены. Некоторые предлагали упразднить даже воздушные корабли. Это не было сделано только потому, что воздушные корабли входили в сложную систему Машины. Но ими пользовались год от года все реже, и люди мыслящие уже почти не упоминали о них.

Вторым знаменательным событием было восстановление религии.

И это событие тоже получило выражение в не менее знаменательной лекции. Благоговейный тон заключительной части лекции не оставлял никаких сомнений, и, надо сказать, это нашло живой отклик в сердцах слушателей. Те, кто давно уже втайне обоготворял Машину, теперь заговорили. Они поведали миру о том, какое неизъяснимое чувство покоя нисходит на них, когда они прикасаются к Книге, какое наслаждение они испытывают, повторяя, казалось бы, ничем не примечательные цифры из этого великого труда, с каким восторгом они нажимают на любую, самую незначительную кнопку или дергают шнур электрического звонка.

«Машина,— восклицали они,— кормит и одевает нас; она дает нам кров; мы говорим друг с другом через посредство Машины, мы видим друг друга при помощи Машины, ей мы обязаны всей нашей жизнью! Машина стимулирует мысли и искореняет предрассудки! Машина всемогуща и будет существовать вечно; да здравствует Машина!»

Вскоре это славословие было напечатано на первой странице Книги, а в последующих изданиях оно разрос-

лось в сложное построение из благодарственных молитв и хвалебных гимнов. Слово «религия» избегали произносить, и теоретически Машина по-прежнему считалась творением и орудием человека. Однако на практике все, за исключением отдельных ретроградов, обожествляли Машину и поклонялись ей. Правда, поклонение это, как правило, не относилось к Машине в целом. Одни верующие благоговели перед оптическими дисками, на которых они видели изображение своих друзей; другие — перед ремонтным аппаратом, который нечестивец Куно осмелился сравнить с клубком червей; третьи — перед подъемными лифтами; четвертые — перед Книгой. И каждый молился обожаемому предмету и просил его о заступничестве перед Машиной. Гонение на инакомыслящих тоже не заставило себя ждать. Оно не достигло своего апогея по причинам, о которых будет сказано ниже. Но оно успело дать ростки, и все, кто не признавал догматов, объединяемых в понятие «генеральная механичность», подвергались опасности лишения крова, что, как мы уже знаем, означало смерть.

Приписывать происшедшие перемены исключительно воле Генерального совета было бы неверно — нельзя так узко смотреть на историю развития общества. Правда, реформы провозглашал Генеральный совет, но он нес за них ответственность не большую, чем короли эпохи империализма за империалистические войны. Более того, совет сам действовал под давлением каких-то неодолимых и неведомых сил, которые после очередного поворота в ходе событий сменялись новыми, не менее могущественными. Такое положение вещей весьма удобно называть прогрессом. Никто не осмелился бы признать, что Машина вышла из-под контроля людей. С каждым годом в обслуживание Машины вкладывалось все больше умения и все меньше разума. Чем лучше человек знал

собственные обязанности, тем меньше он понимал, что делает его сосед, и во всем мире не оставалось никого, кто разбирался бы в устройстве чудовищного механизма в целом. Великие умы уже ушли из жизни. Они остались, правда, подробные инструкции, и их преемники освоили эти инструкции — каждый какую-то одну, определенную часть. Человечество в своем стремлении к комфорту зашло в тупик. Оно слишком долго злоупотребляло теми возможностями, которые предоставляла ему природа. В полном благодушии и довольстве общество клонилось к упадку, и прогресс теперь означал только совершенствование Машины.

Что касается Вашти, ее жизнь протекала по-прежнему спокойно вплоть до самого дня катастрофы. Она выключала свет и ложилась спать; просыпалась и снова включала свет. Она читала лекции и в свою очередь слушала лекции других. Она обменивалась мыслями со своими многочисленными друзьями и была уверена, что духовно растет. Время от времени кого-нибудь из ее друзей подвергали этаназии и он уходил из-под привычного кровя в пустоту, которую человеческий ум не в силах объять. Вашти относилась к этому довольно равнодушно. Иногда, после неудачной лекции, она и сама просила, чтобы ей было разрешено умереть. Но смертность регулировалась в строгом соответствии с рождаемостью, и ей пока отказывали в просьбе.

Неприятности начались с мелочей, задолго до того, как она поняла, что происходит.

Однажды Вашти, к своему удивлению, услышала голос сына. Она давно уже не поддерживала связи с ним, потому что у них не было ничего общего, и только случайно узнала, что он жив и переведен из Северного полуширья, где он вел себя так недостойно, в Южное — куда-то неподалеку от нее.

«Уж не хочет ли он, чтобы я приехала к нему? — подумала Вашти. — Ни за что, теперь уж ни за что. У меня и времени нет».

Но выяснилось, что это глупость иного рода.

Куно не захотел показать ей свое лицо и в полной темноте провозгласил:

— Машина останавливается.

— Что ты говоришь? — переспросила она.

— Машина останавливается, я в этом уверен, я знаю симптомы.

Она расхохоталась. Он услышал ее смех и рассердился, и на этом закончился их разговор.

— Вы только подумайте, какая нелепость, — пожаловалась Вашти своей приятельнице, — человек, который когда-то был моим сыном, утверждает, будто Машина останавливается. Я сочла бы это кощунством, если бы не знала, что он просто безумец.

— Машина останавливается? — удивилась приятельница. — Что это значит? Мне это ничего не говорит.

— Мне тоже.

— Ведь он не имеет в виду помехи в последней музыкальной передаче?

— Конечно, нет. Поговорим лучше о музыке.

— Вы жаловались на неполадки в передаче?

— Да. Мне сказали, что, очевидно, требуется какая-то починка и чтобы я обратилась в Комитет ремонтного аппарата. Я рассказала комитету, что передача симфоний брисбенской школы прерывалась какими-то странными звуками, похожими на хриплые вздохи, — будто дышит тяжелобольной. Они меня заверили, что в ближайшее время это будет исправлено.

Подавляя смутное беспокойство, Вашти возобновила свою привычную жизнь. Однако непрекращающиеся помехи раздражали ее. К тому же слова Куно не шли у

нее из головы. Если бы он знал о неполадках в передачах — а он не мог этого знать, потому что не выносил музыки, — он непременно повторил бы зловеще: «Машина останавливается». Конечно, он выпалил эти слова просто так, наугад, но неприятное совпадение мучило ее, и она еще раз, уже не скрывая недовольства, обратилась в Комитет ремонтного аппарата.

Ей снова ответили, что неполадки будут в ближайшее время устранены.

— В ближайшее время? Немедленно! — вспылила она. — Почему я должна слушать неполноценную музыку? Все всегда чинится без отлагательств. Если вы немедленно не примете мер, я буду жаловаться Генеральному совету.

— Генеральный совет не принимает жалоб от частных лиц, — ответили ей.

— Через кого же я должна заявить о своей претензии?

— Через нас.

— В таком случае я заявляю вам о ней.

— Ваша жалоба будет передана в установленном порядке.

— А другие не жалуются?

Этот вопрос был немеханичен, и комитет отказался отвечать на него.

— Ужасно! — возмущенно сказала Вашти другой своей приятельнице. — Я чувствую себя просто несчастной. Мне никогда не удается спокойно послушать музыку. С каждым разом она звучит все хуже.

— У меня тоже неприятности, — ответила та, — время от времени я слышу какой-то скрежет, и это мешает мне думать.

— Что за скрежет?

— Никак не пойму, откуда он исходит: не то он у меня в голове, не то где-то в обшивке стены.

— Во всяком случае, об этом следует заявить.

— Я так и сделала. Моя жалоба будет в установленном порядке передана Генеральному совету.

Но прошло некоторое время и люди перестали замечать дефекты в работе Машины. Неисправности не были устранены, но человеческие органы чувств, привыкшие приспосабливаться ко всем изменениям в Машине, легко адаптировались и на этот раз. Хриплые вздохи в симфониях брисбенской школы уже не раздражали Васти: она воспринимала их как часть мелодии. И металлический скрежет в голове ее приятельницы или в обшивке стены не мешал больше этой ученой даме думать. Так же обстояло дело и с привкусом гнили в искусственных фруктах, и с неприятным запахом, который с некоторых пор исходил от воды, наполнившей ванну, и с хромающими рифмами в поэтических опусах стихотворческой машины. Сначала это вызывало всеобщее недовольство, потом становилось привычным и больше не привлекало внимания. Дела шли все хуже и хуже, но никто не протестовал.

Однако, когда отказал спальный механизм, положение изменилось. Это уже была серьезная неприятность. В один и тот же день во всем мире — на Суматре, в Уэссексе, в многочисленных городах Курляндии и Бразилии — усталые люди, готовясь ко сну и нажав на соответствующие кнопки, убедились, что кроватей нет. Как ни странно, но именно этот день можно считать началом краха цивилизации. В комитет, ответственный за спальную аппаратуру, посыпались жалобы; они направлялись согласно существующему порядку в Комитет ремонтного аппарата, а Комитет ремонтного аппарата заверял всех, что их заявления будут переданы Генеральному

совету. Однако недовольство все возрастало, потому что человеческий организм еще не привык обходиться без сна.

— Кто-то пытается разладить Машину,— говорили одни.

— Кто-то замышляет захватить власть, хочет вернуть единодержавие,— утверждали другие.

— Виновные должны быть наказаны лишением крова.

— Будьте бдительны! Спасайте Машину! Спасайте Машину!

— Защитим Машину! Смерть преступникам!

Но тут на сцену выступил Комитет ремонтного аппарата и очень тактично и осторожно попытался рассеять панику. Комитет признал, что ремонтный аппарат сам нуждается в ремонте.

Такая откровенность произвела должное впечатление. «Теперь,— заявил прославленный лектор, тот самый, что занимался изучением французской революции и каждый новый провал умел изобразить как блестательную победу,— теперь мы, разумеется, не станем надоедать комитету своими претензиями. Комитет ремонтного аппарата уже так много сделал для нас, что сейчас нам остается только выразить ему свое сочувствие и терпеливо ждать, пока ремонтный аппарат будет наложен. Придет время, и аппарат снова заработает, как прежде. А до тех пор нам придется отказаться от кроватей, от питательных таблеток, словом, несколько ограничить свои потребности. Я убежден, что именно этого ждет от нас Машина».

Слушатели, разбросанные на тысячи миль друг от друга, встретили лекцию единодушными аплодисментами. Машина все еще объединяла их. Глубоко в земле, под морями и океанами, под массивами гор пролегали провода, которые давали людям возможность видеть и

слышать,— огромные глаза и уши, унаследованные ими от прошлых поколений, и гул этих проводов обволакивал их мысли, придавая им единообразие и покорность. Только те, кто был стар и немощен, продолжали еще проявлять беспокойство, потому что прошел слух, будто механизм этаназии тоже вышел из строя и людям вновь довелось узнать, что такое боль.

Но вот стало трудно читать — свет, прежде заливавший комнату, потускнел. Иногда Васти с трудом различала противоположную стену. Воздух был спертым. Крики протesta звучали все громче, и все более тщетны были попытки что-нибудь предпринять, и все настойчивее взывал к своим слушателям лектор. «Мужайтесь! — восклицал он.— Мужайтесь! Помните о главном — Машина работает! А для Машины и свет и мрак — все едино». И хотя через какое-то время в комнатах стало светлее, прежнего ослепительного сияния уже не удалось добиться — сумерки спустились на мир. То тут, то там раздавались голоса, которые требовали «радикальных мер», «временной диктатуры» или призывали жителей Суматры самолично обследовать работу центральной электростанции, расположенной во Франции. Однако большая часть населения была охвачена страхом; люди растрачивали последние силы в молитвах, преклоняя колени перед Книгой — единственным осязаемым доказательством всемогущества Машины. Волны страха накатывали и отступали — слухи снова будили надежду: ремонтный аппарат уже почти починен; враги Машины разоблачены; создаются новые «энергетические центры», и Машина будет работать лучше, чем прежде.

Но наступил день, когда вся система коммуникаций совершенно неожиданно вышла из строя — одновременно во всем мире — и мир, как его понимали современники Васти, перестал существовать.

Вашти в тот день читала лекцию. Сначала ее выскаживания то и дело прерывались аплодисментами, потом аудитория замолкла, и даже по окончании не раздалось ни одного хлопка. Вашти, несколько раздосадованная, позвонила приятельнице, лучше других владевшей искусством утешать. Приятельница не отвечала — вероятно, она спала. Однако и другая знакомая тоже не отозвалась; молчали все, кому она пыталась звонить, и тут ей пришли на ум загадочные слова Куно: «Машина останавливается».

Слова эти по-прежнему не имели смысла. Вечность не может остановиться.

В комнате еще было сравнительно светло, и воздух даже несколько улучшился за последние часы. К тому же Книга оставалась на месте, а Книга означала незыблемость бытия.

Но вскоре мужество покинуло Вашти, потому что наступило самое страшное — тишина.

Тишина была до тех пор неведома ей и чуть не убила ее, как убила в одно мгновение тысячи других людей. С самого рождения Вашти привыкла слышать непрерывный равномерный гул. Ее уху этот гул был так же необходим, как легким — искусственный воздух, и, когда гул прекратился, резкая боль иглой вонзилась ей в мозг. Уже не отдавая себе отчета в том, что она делает, Вашти, пошатываясь, шагнула к пульту и нажала на кнопку, открывающую дверь ее комнаты.

Дверь не была подключена к сети, которая питалась иссякающей энергией электроцентрали, находившейся где-то за тысячи миль, во Франции, и потому распахнулась от простого нажатия кнопки. В сердце Вашти вспыхнула надежда — ей показалось, что Машина снова пришла в движение. За дверью открылся полутемный туннель — путь к спасению. Вашти заглянула в него и

отпрянула: туннель был забит людьми, она догадалась об опасности одной из последних.

Люди всегда отпугивали ее, а эта толпа показалась ей кошмаром, который можно увидеть только во сне. Мужчины и женщины ползали на четвереньках, кричали, стонали и задыхались; они хватались друг за друга, барахтались в темноте и падали с платформы на токопроводящий рельс. Одни, распихивая всех вокруг, пытались пробраться к рубильникам, чтобы вызвать поезд, который уже не мог прийти. Другие громко молили об этаназии, или требовали, чтобы им дали респиратор, или проклинали Машину. Третья, подобно Вашти, остановились в дверях, не решаясь ни покинуть свою комнату, ни остаться в ней. А за всем этим гамом стояла огромная тишина, эта тишина была голосом земли, голосом канувших в вечность поколений.

Нет, даже одиночество было лучше. Вашти захлопнула дверь, снова села в кресло и стала ждать конца. Мир продолжал рушиться, теперь уже с оглушительным грохотом. Пружины, удерживавшие Медицинский аппарат, очевидно, ослабли, и он косо свисал с потолка. Пол комнаты колебался, так что трудно было усидеть в кресле. Какая-то змеевидная киш카, извиваясь, тянулась к ней. Но вот, как предвестие страшного конца, начал меркнуть свет, и Вашти поняла, что многовековая история цивилизации завершается.

Она в ужасе заметалась по комнате, моля о пощаде, покрывая поцелуями Книгу и лихорадочно нажимая то на одну, то на другую кнопку. Шум за стеной нарастал. Свет становился все слабее, он уже не отражался от металлической поверхности электропульта. Вашти не могла разглядеть в темноте стоявший рядом пюпитр, а вскоре она уже не видела Книгу, хотя держала ее в руках. Вслед за светом исчезал звук, вслед за звуком — воздух,

и первозданная пустота возвращалась в глубины земли, где ей так долго не было места. Вашти неистовствовала; словно совершая языческий обряд, она издавала пронзительные вопли, выкрикивала заклинания, без разбору колотила по выключателям и кнопкам израненными в кровь руками.

Ей удалось открыть дверь своей темницы и вырваться на свободу. Я хочу сказать, что душа ее вырвалась на свободу, или по крайней мере так представляется мне сейчас, когда мое повествование подходит к концу. Случайно она нажала на кнопку, распахивающую дверь, и, ощущив прикосновение теплого, душного воздуха на своей коже, услышав громкий прерывистый шепот, поняла, что перед ней снова открылся туннель, в котором теснились и толкались люди. Впрочем, теперь они уже не толкались, лишь время от времени из мрака доносились приглушенные голоса и жалобные стоны. Люди умирали сотнями в темном туннеле.

Она разрыдалась.

Кто-то зарыдал в ответ.

Они оплакивали не собственную жизнь, эти двое, они оплакивали гибель человечества. Они не в силах были смириться с мыслью, что это конец. Прежде чем воцарилась безраздельная тишина, сердца их раскрылись и они познали, что было самым главным на земле. Человек, венец всего живого, благороднейшее из созданий, человек, некогда сотворивший бога по образу и подобию своему и головой достававший до звезд, человек, рожденный нагим и прекрасным, теперь умирал, запутавшись в одеждах, которые он сам для себя соткал. Век за веком он трудился не покладая рук, и вот какая награда ожидала его. Сначала одежда эта казалась божественно красивой, потому что была соткана из тончайших нитей самоотречения и расшита яркими цветами

прогресса. Да она и действительно была хороша, до тех пор пока оставалась всего лишь одеждой, которую человек мог сбросить в любую минуту, по собственной воле, сознавая, что истинную его сущность составляет не она, а его душа и его не менее прекрасное тело. Прегрешения против собственной плоти — вот что они оплакивали сейчас; зло, которое веками причиняли люди собственным мускулам и нервам, собственным органам чувств — единственным источникам познания; зло, прикрывавшееся лицемерными речами об эволюции, до тех пор пока человеческое тело не превратилось в рыхлую бесформенную массу, вместивши жалких и бесцветных мыслей — последних всплесков бессмертного духа, когда-то устремлявшегося ввысь.

— Где ты? — сквозь рыдания вымолвила Ванти.

И голос Куно ответил из темноты:

— Я здесь.

— Осталась ли хоть какая-нибудь надежда?

— Для нас — никакой.

— Где ты?

Она подползла к нему, карабкаясь через трупы, и его кровь оросила ей руки.

— Подвинься ко мне, скорее, — с трудом выговорил он. — Я умираю. Но мы можем дотронуться друг до друга, мы говорим друг с другом без Машины.

Он поцеловал ее.

— Мы вновь обрели самих себя. Мы умираем, но мы победили смерть, как Альфред Великий, изгнавший датчан из Уэссекса. Мы познали то, что ведомо людям на верху, тем, кто живет в перламутровом облаке тумана.

— Но разве это правда, Куно? Разве есть еще люди на земле? Разве это все — этот туннель, этот удушающий мрак — не конец?

И он сказал:

— Я их видел, я говорил с ними, я их полюбил. Они скрываются в тумане или в зарослях папоротника, выжидая, когда погибнет наш подземный мир. Сегодня они лишены крова, завтра...

— Завтра какой-нибудь дурак снова запустит Машину.

— Нет,— возразил Куно,— это уже не повторится. Никогда. Человечество многому научилось.

В эту минуту весь город, напоминавший пчелиные соты, разлетелся на куски. Воздушный корабль спустился в полуразрушенную воронку и рухнул вниз, сокрушая ярус за ярусом своими стальными крыльями. Перед мысленным взором Вашти и Куно прошли многие поколения, жившие до них, но перед смертью, в последнее мгновение они еще увидели кусочек неба, голубого и безоблачного.

Джером К. Джером

ПАРТНЕР ПО ТАНЦАМ

— Это приключилось в маленьком городке Фуртвангене на Шварцвальде,— начал Мак Шогнаси.— Жил там чудесный старик — Николас Гейбел. Он прославился на всю Европу тем, что делал механические игрушки. Мастерил зайчиков, которые выскакивали из кочана капусты, хлопали ушами, разглаживали свои усы и ныряли обратно в кочан; кошечки, которые умывали мордочки и мяукали совсем как настоящие, так что даже собаки бросались на них, принимая за живых. Его куклы умели поднимать шляпу и говорить: «Доброе утро, как поживаете?» И даже пели песенки.

Но он был не просто механик, он был художник. Работа была его увлечением, почти страстью. Его лавка полна была всячими диковинами — он просто не мог, да и не хотел их продавать, а мастерил из любви к искусству. Он ухитрился сделать механического ослика с электрическим двигателем внутри, который мог бегать целых два часа, и притом быстрее, чем живой осел, без всякого понуждения; он изобрел птицу, которая взлетала, делала круг за кругом в воздухе и опускалась на то самое место, откуда начала свой полет; он соорудил скелет на железной подпорке, отплясывавший трепака; куклу-леди в натуральную величину, игравшую на скрипке, и пустотелого джентльмена, который курил трубку и выпивал пива больше, чем три немецких студента вместе взятых, а это вам не фунт изюму.

И в городе действительно верили, что старик Гейбел

может создать человека, способного делать все, чего вы только пожелаете. И однажды он смастерил человека, который натворил-таки дел! А случилось это вот как.

У молодого доктора Фоллена был ребенок, а у ребенка был день рождения. Когда ему исполнился год, в доме доктора Фоллена дым стоял коромыслом, а уж по случаю второго дня рождения доктор Фоллен устроил настоящий бал. Были приглашены и старик Гейбел с дочерью Ольгой.

На следующий день после полудня к Ольге зашли три или четыре закадычные подружки — они тоже были на балу, — и разговор, естественно, зашел о вчерашнем вечере. Конечно, они принялись обсуждать мужчин, критикуя их манеру танцевать. Старик Гейбел сидел тут же в комнате, но, казалось, был погружен в свою газету, и девушки не обращали на него никакого внимания.

— По-моему, — сказала одна, — с каждым балом становится все меньше мужчин, умеющих танцевать.

— Верно, да и вести себя они не умеют, важничают, — сказала другая, — а если приглашают, так будто делают тебе одолжение.

— А какие глупости они болтают! — добавила третья. — Вечно одно и то же: «Как вы очаровательны сегодня!», «Вы часто бываете в Вене? О, советую, это восхитительно!», «Ваше платье просто прелесть!», «Какой сегодня славный день!», «Вы любите Вагнера?» Хоть бы придумали что-нибудь новенькое!

— А мне все равно, о чем они говорят, — заметила четвертая. — Если кавалер хорошо танцует, пусть будет хоть дурак-дураком, мне это абсолютно все равно.

— Обычно так оно и бывает, — довольно ехидно вставила худенькая девушка.

— На бал я хожу танцевать, — продолжала четвертая, не обратив внимания на реплику, — и все, что мне нужно

от партнера,— это чтобы он крепко держал меня, хорошо вел и не уставал раньше, чем я.

— Механический танцор — вот что тебе нужно,— снова заметила ехидная девушка.

— Браво! — хлопая в ладоши, воскликнула одна из подруг.— Блестящая идея!

— Что за блестящая идея? — спросили остальные.

— Как же, механический танцор или, еще лучше, электрический танцор, у которого никогда не кончается завод.

Идея девушкам понравилась.

— О, каким бы он был приятным партнёром,— сказала одна,— он бы не толкался и не наступал на ноги.

— Не рвал бы платье.

— Не сбивался бы.

— И голова бы у него не кружилась, и он не наваливался бы на даму!

— И никогда не вытирал бы лицо платком. Терпеть не могу, когда мужчина занимается этим после каждого танца.

— И не стремился бы весь вечер просидеть за столом.

— А будь он с фонографом внутри, который изрекал бы весь набор привычных пошлостей, вы его и не отличили бы от обычного кавалера,— заявила девушка, первой заговорившая об электрическом танцоре.

— Ну нет, почему же? Отличили бы,— заметила тоненькая девушка.— Ведь он был бы куда приятнее обычных кавалеров.

Гейбел, отложив газету, весь превратился в слух. Но стоило кому-нибудь из девушек взглянуть в его сторону, как он снова спешно укрывался за газетой.

После ухода девушек он отправился в свою мастерскую, и Ольга слышала, как он ходил там взад-вперед, время от времени что-то бормоча себе под нос; в тот вечер он много толковал с ней о танцах и о танцорах: спра-

шивал, о чем они обычно говорят, как ведут себя, какие танцы в моде, какие па устарели — и многое другое на ту же тему.

Потом около двух недель он подолгу оставался в своей мастерской, был все время занят, задумчив и лишь иногда совершенно неожиданно начинал смеяться тихим, приглушенным смехом, как будто наслаждаясь шуткой, которую еще никто, кроме него, не знает.

А через месяц в Фуртвангене состоялся еще один бал. Его давал старый Венцель, богатый лесоторговец, по поводу помолвки своей племянницы, и снова Гейбел и его дочь были среди приглашенных.

Когда подошло время ехать на бал, Ольга стала искать отца. Не найдя его дома, она постучала в мастерскую. Он появился без пиджака, в рубахе с засученными рукавами, разгоряченный, но сияющий.

— Не жди меня, — сказал он. — Поезжай. Я за тобой. Мне тут кое-что доделать надо.

Когда Ольга послушно направилась к двери, он крикнул ей вдогонку:

— Скажи там, я приведу одного молодого человека — прекрасный юноша, отличный танцор. Он понравится всем девушкам.

Тут он засмеялся и закрыл дверь.

Отец обычно держал свою работу в секрете от всех, но Ольга с ее проницательностью догадывалась о замыслах отца и поэтому до известной степени могла подготовить гостей к сюрпризу. Гости ожидали прибытия знаменитого мастера. Все предвкушали что-то необычное, и нетерпение достигло предела.

Но вот снаружи послышался стук колес, затем поднялась суматоха у парадного входа, и старик Венцель собственной персоной, веселый, покрасневший от возбуждения,

ния и сдерживаемого смеха, провозгласил громовым голосом:

— Господин Гейбел — и его друг!

Господин Гейбел и «его друг» вошли и под приветственные крики, смех, аплодисменты проследовали в центр зала.

— Леди и джентльмены,— сказал господин Гейбел,— позвольте мне представить вам моего друга лейтенанта Фрица. Фриц, дорогой мой мальчик, поклонись леди и джентльменам.

Гейбел ободряюще коснулся плеча Фрица, и лейтенант отвесил глубокий поклон, сопроводив его отвратительным щелкающим звуком, вызвавшим неприятные ассоциации с последним хрипом умирающего. Но это была, конечно, мелочь.

— Ходит Фриц пока с трудом.— Гейбел взял его за руку и немного прошелся по залу. Движения Фрица действительно были скованы.— Но ходьба — это не его амплуа. Он, собственно, танцор. Пока что я обучил его только вальсу, но здесь он не имеет себе равных. Итак, дорогие леди, кого из вас я осмелюсь представить ему в качестве партнерши? Он может танцевать сколько угодно, не зная усталости, он не толкнет вас, не наступит на платье, он будет вести вас уверенно в том темпе, в каком вам захочется, у него никогда не закружится голова, и, наконец, он неистощимый собеседник. А ну, мой мальчик, скажи нам что-нибудь.

Гейбел тронул что-то на спине Фрица, тот сразу же открыл рот и высоким голосом, который, казалось, шел откуда-то из затылка, вдруг произнес:

— Не будете ли вы столь любезны? — и с треском снова захлопнул рот.

Лейтенант Фриц произвел, несомненно, огромное впечатление, однако ни одна из девушек не была склонна

танцевать с ним. Они искоса смотрели на его восковое лицо с застывшей улыбкой и неподвижным взглядом и содрогались от ужаса.

Наконец старик Гейбел подошел к девушке, которая подала ему идею создания электрического танцора.

— Это точное воплощение вашей идеи,— сказал Гейбел.— Электрический танцор. Ваш долг — испытать этого джентльмена.

Она была веселой, дерзкой девчонкой, настоящей проказницей. Хозяин дома присоединился к просьбам старого Гейбела, и девушка согласилась.

Господин Гейбел поставил Фрица рядом с ней. Правая его рука обняла девушку за талию, а левая была сделана так, чтобы деликатно обхватывать запястье правой руки партнерши. Старый мастер показал ей, как регулировать скорость и останавливать партнера.

— Он будет вести вас по всему кругу,— объяснил господин Гейбел.— Будьте внимательны, чтобы никто не налетел на вас, и, если нужно, измените направление.

Грянула музыка. Старик Гейбел включил электропитание, и Аннет со своим необыкновенным партнером начали танцевать.

Некоторое время все стояли и смотрели на них. Танцор превосходно справлялся со своей ролью. Он не уставал, четко выдерживал ритм, не выпуская маленькую партнершу из своих крепких объятий, и порой прерывал тяжкое молчание целым потоком слов.

— Как вы очаровательны сегодня,— говорил он своим высоким, замогильным голосом.— Какой чудесный сегодня день! Вы любите танцевать? Как мы с вами станцевались! Следующий танец — за мной, хорошо? О, не будьте так безжалостны! Какое на вас очаровательное платье. Вальсировать — это восхитительно, не так ли? Я готов танцевать с вами вечно! Вы сегодня ужинали?

По мере того как девушка осваивалась со своим сверхъ-
естественным партнером, нервозность ее проходила, и вот
она уже вся отдалась этой неожиданной забаве.

— О, как он мил! — смеясь, восклицала она.— Я го-
това танцевать с ним всю жизнь.

Пара за парой танцующие входили в круг, и скоро все
в зале вальсировали вместе с ними. Николас Гейбел стоял
и, сияя от восторга, как ребенок, смотрел на свое тво-
рение.

Старик Венцель подошел и что-то прошептал ему на
ухо. Гейбел рассмеялся, кивнул, и они стали потихоньку
пробираться к двери.

— Сегодня дом принадлежит молодежи,— сказал Вен-
цель, как только они вышли на улицу,— а нам с вами не
грех выкуриТЬ по трубочке за стаканом рейнвейна у меня
в конторе.

Тем временем темп стремительно нарастал: маленькая
Аннет повернула регулятор скорости у своего партнера, и
они кружились все быстрее и быстрее. Пара за парой вы-
ходили в изнеможении из круга, а они все увеличивали
темп и наконец остались танцевать одни.

Танец становился все более неистовым. Музыка отста-
ла. Музыканты не выдержали, замолкли и сидели, уста-
вившись на танцующую пару. Молодежь аплодировала,
но на лицах старших появилась озабоченность.

— Не лучше ли тебе остановиться, дорогая? — сказа-
ла одна из женщин.— Ты переутомишься.

Но Аннет не отвечала.

— Мне кажется, она в обмэроке! — крикнула девуш-
ка, которая успела поймать выражение лица проноси-
шейся мимо Аннет. Один из мужчин прыгнул вперед и
вцепился в танцора, но центробежной силой был отбро-
шен на пол; стальная нога танцора настигла его и ударила

по скуле. По-видимому, танцор не собирался так легко расстаться со своим неожиданным счастьем.

Нетрудно предположить, что танцора без особых усилий остановили бы, если бы хоть кто-нибудь из присутствующих сохранил в этот момент спокойствие. Два или три человека, действуй они согласованно, могли бы поднять, оторвать куклу от пола или загнать ее в угол. Но немногие способны сохранить ясную голову в минуту сильного волнения. Те, кого при этом не было, склонны считать присутствовавших круглыми идиотами, а многие из свидетелей, оглядываясь назад, рассуждают, как просто было бы сделать то или другое — если бы только это пришло им в голову в нужный момент.

Дамы бились в истерике. Мужчины кричали и спорили друг с другом. Еще двое попробовали остановить куклу, но неудачно: в результате ее столкнули с орбиты танца в центре зала и она пошла крошить стены и мебель. Струя крови потекла по белому платью девушки, оставляя след на полу.

Положение становилось ужасным. Женщины с воплями кинулись из комнаты. Мужчины бежали вслед.

Кто-то сообразил крикнуть:

— Найдите Гейбела! Приведите Гейбела!

Никто не заметил, как старый мастер покинул зал, никто не знал, где он. Часть гостей бросилась на поиски. Остальные бесцельно столпились у двери и слушали, не решаясь войти. Слышен был равномерный шум кружения по натертому паркету — механическая фигура неуклонно совершала поворот за поворотом — и глухие удары, когда кукла со своей ношей натыкалась на препятствие и рикошетом отлетала в сторону. И неестественно высокий голос заунывно твердил одно и то же: «Как вы очаровательны сегодня! Какой чудесный сегодня день! О, не

будьте так безжалостны! Я готов танцевать с вами вечность! Вы сегодня ужинали?»

Гейбела искали повсюду, только, конечно, не там, где его следовало искать. Осмотрели все комнаты в доме, потом толпой бросились к дому Гейбела, потратив драгоценные минуты на то, чтобы разбудить его старую глухую экономку. Наконец один из гостей вспомнил, что вместе с Гейбелом исчез и Венцель, тогда мысль о конторе, которая находилась через двор от танцевального зала, явилась сама собой — там-то и нашли старого мастера.

Он встал, очень бледный, и последовал за ними; вместе со старым Венцелем они протиснулись сквозь толпу сгрудившихся перед входом гостей, вошли в зал и заперли за собой дверь.

Из комнаты донеслись приглушенные голоса, быстрые шаги, шум борьбы, затем наступила тишина, а потом снова стали слышны приглушенные голоса.

Через некоторое время дверь открылась. Те, кто стоял поближе, устремились было к входу, но широкие плечи старого Венцеля преградили им путь.

— Нужны вы и вы, Беклер, — сказал он, обращаясь к двум пожилым мужчинам. Голос его был спокоен, но лицо стало мертвенно белым. — Остальных прошу уйти и как можно скорее увести женщин.

С тех пор Николас Гейбел делает только механических зайчиков да котят, которые мяукают и моют мордочки лапами.

ТЫСЯЧА СМЕРТЕЙ

Я плыл уже час, замерз, выбился из сил, ногу сводила судорога — по-видимому, мой конец был близок. Еще недавно я отчаянно боролся с отливным течением, но береговые огни, дразня, уходили все дальше, и теперь я отдался на волю волн и с горечью вспоминал события зря потраченной жизни, которая должна была вот-вот оборваться.

Судьбе было угодно, чтобы я увидел свет в почтенной английской семье. Счет моих родителей в банке был весьма велик, но их познания в детской психологии и умение воспитывать ребенка — чрезвычайно малы. И вот, дитя богачей, я так и не узнал радостей счастливого домашнего круга. Мой отец, весьма ученый человек и известный знаток древностей, был всецело поглощен своими занятиями, а мать, чье благоразумие значительно уступало красоте, без устали кружилась в вихре светских удовольствий. Я учился в аристократической школе, потом в университете, подобно бесчисленным отпрysкам других английских буржуазных семей, и с годами мои страсти и своееволие становились все необузданнее. Тут мои родители внезапно заметили, что у меня тоже есть бессмертная душа, и попытались меня образумить. Но было поздно: после одной моей отчаянно дерзкой и безумной выходки родители отреклись от меня, общество захлопнуло передо мной двери, и, получив от отца тысячу фунтов (он сказал, что больше не даст мне ни гроша, и запретил являться ему на глаза), я купил билет первого класса в Австралию.

С тех пор моя жизнь превратилась в долгие скитания — с Востока на Запад, из Арктики в Антарктику, — которые завершились тем, что в тридцать лет, в самом расцвете сил, мне суждено было утонуть в Сан-Францисском заливе во время, увы, успешной попытки бежать с судна, на котором я служил матросом.

Мою правую ногу свела судорога, и я испытывал невыразимые мучения. Легкий бриз развел небольшую волну, и я наглотался соленой воды. Я еще держался на поверхности, но сознание уже покидало меня. Смутно помню, что меня пронесло под волноломом и я увидел бортовые огни речного парохода, а потом все исчезло.

Я услышал нежное жужжание и почувствовал, что мои щеки овевает душистый воздух весеннего утра. Постепенно он превратился в ритмичный пульсирующий поток, словно уносивший с собой мое тело. Я плавал в теплых объятиях летнего моря, блаженно покачиваясь на воркующих волнах. Но пульсация все усиливалась, жужжание становилось громче, волны выше и яростнее — и вот меня уже швыряли валы штормового моря. Меня пронизала мучительная боль. В мозгу словно вспыхивали и гасли пронзительно яркие искры, в ушах ревели водопады; но тут словно что-то порвалось и я очнулся.

Сцена, героем которой я оказался, была довольно любопытной. Бросив вокруг беглый взгляд, я понял, что лежу на полу каюты частной яхты в весьма неудобной позе. Мои руки мерно поднимали и опускали два темнокожих человека в странной одежде. Их национальность мне определить не удалось, хотя я на своем веку повидал немало разных племен и народов. На голове у меня было укреплено какое-то приспособление, соединявшее мои дыхательные органы с машиной, которую я сейчас опишу.

Ноздри мне чем-то заткнули, так что дышал я через рот. Скосив глаза, я увидел, что из моего рта под острым углом расходились две трубы, напоминавшие садовые шланги, но сделанные из какого-то иного материала. Открытый конец одной из них лежал на полу возле меня, вторая же змелилась по каюте и исчезала в аппарате, который я обещал описать.

В те дни, когда я еще не был перекати-полем, я интересовался точными науками и познакомился с обычными лабораторными приборами и оборудованием, а потому мог оценить машину, которую теперь увидел. Почти все ее части были сделаны из стекла и отличались грубой простотой, характерной для экспериментальных приборов. Основу машины составляла воздушная камера; в ней находился сосуд с водой, в которую была опущена вертикальная трубка, увенчанная шаром. Внутри этого шара помещался вакуумный насос. Вода в трубке двигалась вверх и вниз, и это движение, сообщавшееся мне по шлангу, соответствовало вдохам и выдохам. Благодаря этому, а также энергичной работе людей, сгибавших и разгибавших мои руки, процесс дыхания поддерживался искусственно и мои легкие раздувались и опадали в ожидании той минуты, когда природа возобновит свой прерванный труд.

Едва я открыл глаза, как моя голова, ноздри и рот были освобождены от вышеупомянутых приспособлений. Мне дали выпить рюмку коньяку, пошатываясь, я поднялся на ноги, чтобы поблагодарить своего спасителя, и увидел... отца! Долгие годы, полные вечных опасностей, наутили меня сдержанности, и я решил подождать, не узнает ли он меня сам. О нет! Он видел перед собой лишь беглого матроса и обошелся со мной соответственно.

Предоставив меня заботам своих темнокожих слуг, он начал прглядывать заметки, которые сделал за время

моего воскрешения. Мне подали вкуснейший обед, а на палубе тем временем поднялась суэта, и по выкрикам матросов, лязганью цепей и скрипу такелажа я понял, что мы снимаемся с якоря. Я усмехнулся про себя. Отправиться в плавание по бескрайнему Тихому океану со своим отшельником отцом — что за великолепная шутка! Тогда мне и в голову не пришло, над кем именно она будет сыграна. Да знай я в ту минуту все, я тут же прыгнул бы за борт и с восторгом вернулся бы в грязный кубрик корабля, с которого недавно бежал.

На палубу мне разрешили выйти, только когда последний маяк и последний лоцманский катер остались далеко позади. Я был благодарен отцу за такую предусмотрительность и сказал ему об этом — искренне, хотя и с матросской грубоватостью. Я ведь не знал, что он скрыл мое присутствие на борту яхты от посторонних глаз отнюдь не ради меня, а ради собственных целей. Он коротко рассказал мне, как его матросы вытащили меня из воды, и прибавил, что я не должен его благодарить, — наоборот, это он мне многим обязан. Он уже давно сконструировал аппарат для проверки одной своей теории, касающейся определенных биологических явлений, но ему все не представлялось случая пустить его в ход.

— С вашей помощью моя гипотеза блестяще подтвердилась, — сказал он и добавил со вздохом: — Но лишь по отношению к утопленникам.

Однако не будем забегать вперед. Он предложил мне на два фунта больше, чем я получал на прежнем своем судне, с тем чтобы я остался у него матросом. Его щедрость меня приятно удивила: ведь, собственно говоря, я ему не был нужен. В кубрик меня против моих ожиданий не отослали, а предоставили удобную каюту, обедал же я за капитанским столом. Отец, очевидно, заметил, что я не простой матрос, и я решил воспользоваться этим случаем,

чтобы вернуть себе его расположение. Я придумал какую-то сказку, чтобы объяснить ему, почему я, образованный человек, оказался в таком положении, и всячески искал его общества. Я не замедлил сообщить ему о моих прежних занятиях наукой, и он по достоинству оценил мои знания. Вскоре я стал его лаборантом с соответствующим повышением жалованья, а когда он подробнее ознакомил меня со своими теориями, я проникся почти столь же горячим энтузиазмом, как он.

Дни летели стремительно: новая работа увлекла меня, и я то занимался в прекрасной библиотеке отца, то слушал его объяснения, то помогал ему в исследованиях. Но нам приходилось отказываться от многих увлекательнейших опытов, потому что яхта во время качки не самое удобное место для сложных лабораторных экспериментов. Впрочем, он обещал мне немало упоительных часов в великолепной лаборатории, которая и была целью нашего путешествия. Он объяснил, что открыл в Южных морях необитаемый островок и превратил его в научный рай.

На острове мне не потребовалось много времени, чтобы понять, в каком мире ужасов я очутился. Однако я кратко опишу предшествовавшие события, которые привели к тому, что на мою долю выпало пережить то, чего еще не переживал ни один человек.

На склоне лет мой отец устал от чар дряхлой античности и превратился в верного поклонника и служителя биологии. Основы этой науки он постиг еще в юности, а теперь ознакомился с последними ее достижениями и в конце концов оказался на границе бескрайних просторов неведомого. Он намеревался оставить в них свой след, и вот в этот-то момент мы и встретились. У меня, не мной будь сказано, голова работает неплохо — я уловил ход его рассуждений, постиг его метод и стал почти таким же одержимым безумцем, как он сам. Впрочем, нет! Те изу-

мительные результаты, которых мы впоследствии достигли, доказывают, что безумцем он не был. Скажу только, что другого столь патологически и хладнокровно жестокого человека я не встречал.

Когда он постиг тайны физиологии и психологии, перед его мыслью открылось весьма обширное поле исследований, и, чтобы овладеть им, он начал изучать органическую химию, патологическую анатомию, токсикологию и другие науки и отрасли наук, которые могли ему понадобиться. Исходя из предположения, что причиной временного и окончательного прекращения жизнедеятельности организма является коагуляция некоторых элементов протоплазмы, он выделил эти субстанции и подверг их всевозможным исследованиям. Временное прекращение жизнедеятельности вызывает кому, а окончательное — смерть, однако мой отец утверждал, что коагуляцию протоплазмы можно замедлять, предотвращать и даже совсем приостановить на самых последних ее этапах. То есть, если говорить проще, он утверждал, что смерть в таких случаях, когда она не была насильственной и ни один из главных органов тела не пострадал, представляет собой лишь прекращение жизнедеятельности и что в определенных случаях жизнь можно вернуть с помощью того или иного метода. Этот-то метод он и стремился найти, с тем чтобы на практике доказать возможность возобновления жизнедеятельности в мертвом, казалось бы, организме. Конечно, он понимал, что любая такая попытка окажется бесполезной, если разложение уже началось: ему требовался организм, который совсем недавно — минуту, час, сутки назад — был еще полон жизни. На моем примере он более или менее доказал свою теорию. Ведь я утонул и был уже мертв, когда меня вытащили из волн Сан-Францисского залива, но огонек жизни был зажжен

вновь с помощью аэротерапевтического аппарата, как называл отец свою машину.

А теперь о его черных замыслах относительно меня. Сначала он показал мне, что я нахожусь в полной его власти. Он отослал яхту на год, оставив на острове только двух своих темнокожих слуг, которые были ему глубоко преданы. Затем он подробно проанализировал свою теорию, сформулировал метод ее доказательства и в заключение ошеломил меня заявлением, что проверять ее он намерен на мне.

Я не раз рисковал жизнью, бывал в отчаянных переделках, но ведь это было совсем иное! Я не трус, но перспектива вновь и вновь переступать пределы смерти наполнила меня паническим ужасом. Я попросил отсрочки, и он дал ее мне, заметив, однако, что у меня есть только один выход — подчиниться. Бежать с острова я не мог, самоубийство меня не привлекало, хотя, возможно, оно все же было предпочтительнее того, что меня ожидало, — спасти меня могла только смерть моих тюремщиков. Но и тут я был бессилен. Отец принял все возможные меры предосторожности, и я день и ночь находился под присмотром одного из слуг.

Когда все просьбы оказались тщетными, я открыл ему, что я его сын. Это был мой последний козырь, и я возлагал на него все свои надежды. Но отец остался непоколебимым — это был не человек, а машина, неумолимо идущая к своей цели. Не могу понять, зачем он женился на моей матери, зачем захотел иметь ребенка: ведь он не был способен на человеческие чувства. Для него все исчерпывалось логикой; любовь, жалость, нежность, которые он замечал в других, были, на его взгляд, только слабостями и их следовало подавлять. Он ответил, что в свое время дал мне жизнь и, следовательно, имеет полное право взять ее назад. Впрочем, он не собирается этого делать — он

просто будет брать ее взаймы и пунктуально возвращать в точно указанное время. Разумеется, возможны всякие непредвиденные случайности, но риск — удел всех людей, так почему же я должен быть исключением?

Он очень заботился о моем здоровье, поскольку оно было залогом удачного исхода эксперимента, а погому я должен был соблюдать особую диету и режим, точно атлет, готовящийся к решительному состязанию. Что я мог сделать? Раз уж это гибельное испытание было неизбежно, я предпочитал быть в наилучшей форме. Тем временем он позволил мне помогать в сборке аппарата и принимать участие в различных предварительных опытах. Нетрудно представить себе, какой жгучий интерес они у меня вызывали. Я уже почти не уступал ему в знании вопроса, и нередко, к моему удовольствию, он соглашался с поправками и изменениями, которые я предлагал. В этих случаях я с угрюмой улыбкой думал, что хлопочу на собственных похоронах.

Он начал с серии токсикологических опытов. Когда все было готово, я был убит большой дозой стрихнина и пролежал мертвым около двадцати часов. Все это время мое тело было мертвым, абсолютно мертвым. Дыхание и кровообращение полностью прекратились; но весь ужас заключался в том, что, пока коагуляционный процесс в протоплазме продолжался, я сохранял сознание и мог изучить этот процесс во всех отвратительных деталях.

Аппарат, который должен был меня воскресить, представлял собой герметическую камеру в форме человеческого тела. Механизм был прост: несколько клапанов, вращающийся вал с кривошипом и электромотор. Когда механизм этот приводился в действие, атмосфера в камере попеременно то разрежалась, то уплотнялась, приводя мои легкие в действие уже без помощи шлангов. Хотя мое тело было неподвижно и, возможно, находилось в стадии раз-

ложении, я сознавал все, что происходило вокруг. Я знал, что меня поместили в камеру, и хотя все мои чувства бездействовали, я сознавал, что мне были сделаны инъекции вещества, тормозящего коагуляционный процесс. Затем камеру закрыли и включили механизм. Моя тревога не поддается описанию, однако кровообращение постепенно восстановилось, различные органы вновь начали выполнять свои функции, и час спустя я уже сидел за обедом.

Нельзя сказать, что я принимал участие в этой серии опытов, как и в последующих, с большим энтузиазмом; однако после двух неудачных попыток бежать с острова я постепенно начал находить в них интерес. К тому же я привык умирать. Мой отец был в восторге от своего успеха, и с каждым месяцем его замыслы становились все более дерзкими. Мы испробовали три большие группы ядов — воздействующие на нервную систему, газообразные и действующие на пищеварительный аппарат, однако исключили некоторые из минеральных ядов и все яды, разрушительно действующие на ткани. За время работы с ядами я свыкся со своей ролью и почти утратил страх, хотя один раз дело чуть было не кончилось печально. Вскрыв несколько мелких сосудов моей руки, он ввел мне в кровь крохотную дозу самого страшного из ядов — куараре, яда охотников-индейцев. Я сразу же потерял сознание, затем прекратилось дыхание и кровообращение, и свертывание протоплазмы зашло так далеко, что отец потерял всякую надежду его остановить. Но, когда казалось, что все уже кончено, он прибег к средству, над которым работал последнее время, и результат был таков, что с этих пор его пыл удвоился.

В вакуумной трубке, похожей на трубку Крукса, создавалось магнитное поле. Под воздействием поляризованного света она не фосфоресцировала и не выбрасывала потока атомов, а испускала несветовые лучи, подобные

лучам Рентгена. Но если лучи Рентгена способны обнаруживать предметы, скрытые от взгляда в непрозрачной среде, то эти лучи обладали еще большей проницающей силой. С их помощью он сфотографировал мое тело и увидел на негативе множество нечетких теней, получавшихся из-за того, что химические и электрические процессы еще продолжались. А это неопровержимо свидетельствовало о том, что оцепенение, в котором я находился, не было подлинной смертью. Другими словами, те таинственные силы, те тончайшие узы, которые соединяли мою душу с телом, еще не исчезли. Следов воздействия других ядов не сохранилось, впрочем, после приема ртутных препаратов я всегда чувствовал себя нездоровым несколько дней.

Затем последовали восхитительные эксперименты с электричеством. Проверяя утверждение Теслы о том, что сверхвысокие напряжения для человека безопасны, мы пропустили через мое тело ток напряжением сто тысяч вольт. Я этого даже не заметил, и напряжение было снижено до двух тысяч пятисот вольт, которые тут же меня и доконали. На этот раз он целых три дня рисковал подержать меня в таком состоянии, когда прекращается всякая жизнедеятельность. На мое воскрешение потребовалось четыре часа.

Один раз он заразил меня столбняком, но предсмертная агония была столь мучительна, что я наотрез отказался от продолжения подобных опытов. Наиболее легкими были смерти от удушья, то есть вызванные утоплением, удушением или каким-нибудь газом, но и смерти от морфия, опиума, кокаина и хлороформа также были вполне приемлемыми.

Однажды, задушив меня, он подержал мое тело на льду три месяца, предохраняя его от разложения. Я не был предупрежден об этом заранее и пришел в ужас, когда узнал, сколько времени пробыл мертвым. Я начал опа-

саться, что ему придет в голову проделать какие-нибудь дополнительные опыты с моим трупом — в последнее время он проявлял все больший интерес к вивисекции. После очередного воскрешения я обнаружил, что он вскрывал мою грудь. Хотя швы он наложил очень тщательно, раны так разболелись, что мне пришлось несколько дней пролежать в постели. И вот тогда-то я придумал план спасения.

Притворяясь, что опыты меня чрезвычайно увлекли, я попросил короткой передышки от бесконечных умираний и получил ее. Я использовал эти дни для работы в лаборатории, зная, что отец всецело поглощен вскрытием зверьков, которых ловили для него слуги, и не заметит, чем я занимаюсь.

Я опирался на следующие две предпосылки: во-первых, на электролиз воды, то есть разложение ее на составные части с помощью электричества, и, во-вторых, на гипотезу о существовании некой силы, обратной силе тяготения, которую Астор назвал апергией. Как земное притяжение только притягивает предметы друг к другу, но не соединяет их, так апергия сводится лишь к отталкиванию. Атомное же и молекулярное притяжение не только притягивает предметы, но и объединяет их в нечто целое — и я стремился найти силу, обратную этому притяжению, и не только найти, но и научиться управлять ею. Например, молекулы водорода и кислорода, вступая в реакцию, распадаются и образуют новые молекулы, содержащие оба эти элемента, — молекулы воды. При электролизе же эти молекулы расщепляются и возвращаются в свое первоначальное состояние, образуя два разных газа. Сила, которую я хотел найти, должна была оказывать такое же воздействие на любые молекулы любых соединений. А потом мне останется только заманить отца в поле действия

этой силы, и он будет мгновенно разложен на составные элементы.

Не следует думать, будто сила, которую я в конце концов открыл, вообще уничтожала материю,— нет, она уничтожала лишь форму. Не воздействовала она, как я вскоре убедился, и на неорганические соединения. Но никакие органические формы не могли ей противостоять. Эта избирательность ее действия сначала приводила меня в недоумение, хотя я все понял бы без труда, если бы немного поразмыслил. Поскольку число атомов в органических молекулах намного превосходит число атомов даже в самых сложных неорганических молекулах, для органических соединений характерна неустойчивость и они легко распадаются под воздействием различных физических сил и химических реактивов.

Две мощные батареи, соединенные с магнитами, которые были мной сконструированы специально для этой цели, излучали два могучих силовых потока. Каждый поток в отдельности был абсолютно безвреден, чего нельзя было сказать о невидимой точке их пересечения. Проверив на практике их действенность и чуть было не обратившись при этом в ничто, я занялся устройством ловушки. Расположив магниты так, что вход в мою комнату превратился в зону смерти, и подведя к моему изголовью кнопку, включавшую батареи, я улегся на кровати.

Слуги по-прежнему сторожили меня по ночам, смеяясь в полночь. Я включил ток после того, как первый заступил на дежурство. Едва я задремал, меня разбудило резкое металлическое позвякивание. На пороге валялся ошейник Дэна, сенбернера моего отца. Мой страж кинулся поднять ошейник и исчез, как взметнувшаяся пыль,— только его одежда кучей упала на пол. В воздухе чуть-чуть запахло озоном, но, поскольку его тело в основном состояло из водорода, кислорода и азота, равно бесцвет-

ных и лишенных запаха, оно, исчезнув, не оставило никаких других следов. Впрочем, когда я отключил ток и убрал его одежду, я увидел горстку золы — это были остатки входивших в его организм углерода и других нелетучих элементов, вроде серы, калия и железа. Включив ловушку, я вновь укрылся одеялом. В полночь я встал, убрал останки второго слуги и спокойно уснул до утра.

Проснулся я от сердитого голоса отца, который звал меня из лаборатории. Я усмехнулся. Его некому было разбудить, и он проспал! Затем я услышал, что он идет к моей комнате, и сел на постели, чтобы не упустить миг его дезинтеграции. У двери он приостановился, а потом сделал роковой шаг. Пфф! Словно зашелестели сосны. Он исчез. Его одежда бесформенной грудой легла на пол. Я уловил не только запах озона, но и чесночный запах фосфора. Под одеждой лежала горстка золы — нелетучие элементы. И все. Передо мной открылся мир. Мой плен кончился.

ИСТОРИЯ ПРОБКОВОЙ НОГИ

— Мадам,— сказал одноглазый мужчина, обращаясь к пожилой женщине, своей соседке по вагону,— мадам, как видите, я одноглазый. Несколько лет назад у меня была пробковая нога, которая служила мне не хуже, а в некоторых отношениях даже лучше моей опочившей конечно-сти. Я потерял ногу, когда скитался с бродячим цирком, и директор, человек большой доброты, дал мне пробковую ногу своего покойного зятя. Она была мне капельку длинновата, но в любом другом отношении лучшей и не пожелать. Она выглядела совсем как человеческая, но имела одно преимущество — тщательно разработанную систему пружин. Когда я торопился, я заводил свою ногу и мог пропрыгать на ней без остановки восемь миль с четвертью.

Ну вот, так я и жил, присматривая за нашим зверинцем, и особенно внимательно следил за самым ценным экспонатом — Твоматвитчом. Вполне возможно, что вы никогда не слыхали о Твоматвитче, наш был единственным экземпляром, попавшим в Америку. Его родина — остров Норфолк, и он ест только шишки норфолкских сосен, которые нам влетали в копеечку: их приходилось импортировать. Твоматвитч похож на зайца и бегает как заяц, но шкура у него крысиная, а хвост совсем как у белки.

И вот однажды вечером, когда я кормил его, как обычно, с рук, солома около его клетки загорелась и испуганное животное, вырвавшись из моих рук, побежало к

выходу. Я никак не ожидал такой штуки: твоматвитч был совсем ручным и никогда не пытался убежать.

К счастью, моя нога была заведена, и я запрыгал за ним. Я отпустил тормоз и мчался вперед на полной скорости. Но и твоматвитч был прекрасным бегуном, а бесконечная гладь прерий как нельзя лучше подходила для гонок. Примерно миль через пять он опережал меня ровно на двадцать ярдов. Ни я, ни он не могли бежать быстрее. Наконец я увидел, что животное выбивается из сил. Расстояние между нами очень медленно сократилось сначала до пятнадцати ярдов, потом до десяти. Твоматвитч попытался уйти скачками, но этим он выиграл всего несколько ярдов, которые я наверстал очень скоро. Тогда он пришел в отчаяние и, как только я приблизился к нему на пять футов, нырнул в нору койота, оставив меня в грустном одиночестве. Ни людей, ни жилья поблизости. Ночь была теплая, и я решил передохнуть, пока люди, побежавшие вслед за мной, не разыщут меня. Я завел свою ногу, на случай если она мне понадобится, отстегнул ее и заткнул ею нору, чтобы твоматвитч не смог выбраться. Затем я отыскал уютное местечко и прилег отдохнуть, совершенно растрясенный долгой погоней.

Через полчаса я услышал шум: твоматвитч скреб мою ногу. Когда я подполз к норе, нога каким-то образом распрямилась (для этой цели у нее была пружина, и зверек, наверное, коснулся ее) и убежала вместе с твоматвитчом. Так как нога была свободна от моего тела, она увеличивала скорость с каждым прыжком и мчалась вперед как бешеная. Она становилась все меньше и меньше, напоминавшая маленького скачущего клопа, и в конце концов запрыгнула за горизонт.

Хорошенькое положение! Нога убежала. Твоматвитч тоже. Ни еды, ни выпивки. Двое суток я провался там, мадам, без крошки во рту. Я не мог прыгать на моей

оставшейся конечности, а ползти было бесполезно: я умер бы с голоду, прежде чем дополз бы до цели. К вечеру второго дня на меня наткнулся какой-то ковбой. Он увязал меня в чистый выюк и привез в город. Он сказал, что видел следы одинокой ноги на берегу реки Платт. Значит, моя бедная нога прыгнула в нее и теперь, наверное, занесена песком на дне этой вероломной реки. Да, я плачу, мадам. Извините мне эти слезы, я никогда не смогу говорить об этом спокойно. Может быть, вы будете столь добры и дадите мне немного денег на покупку новой ноги?

Она сочувственно посмотрела на него и в глазах ее блеснули слезы. Она открыла сумочку вынула из нее карточку и протянула несчастному. Он жадно схватил ее и прочел: «Помогите бедной глухонемой».

СИЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ

— Дайте закурить,— услышал бухгалтер Микулашек и попятился. Вот он, этот пресловутый воинственный клич ночных красоток и предпримчивых молодчиков, которым ничего не стоит стукнуть вас завернутым в носовой платок булыжником и отобрать часы.

Осторожность в данном случае оказалась излишней. Днем опасаться было нечего, но Микулашек опасался из принципа.

Обратившийся к нему старичок был невысокого роста, весь обросший и грязный,— такими нередко бывают старички. Словом, нечто среднее между беженцем и Краконошем*. Я говорю «бывают», а не «бывали», потому что такие старички сохранились и до сих пор. Они ходят в очень стоптанных башмаках, а за спиной носят мешки, набитые бог знает чем. Побудительные мотивы их поступков до сих пор не исследованы.

Бухгалтер по зарплате Микулашек опустил руку в карман и дал старичку сигарету. Потом ему стало как-то неловко и он вынул еще одну. Старичок засунул первую сигарету в усы, вторую под шапку, произнес: «Премного благодарен»— и прикурил у Микулашека.

— Хороший вы человек,— сказал он одобрительно.

Микулашек пробормотал в ответ что-то неопределенное, как мы частенько делаем, когда нам приятно.

* Краконош — персонаж из чешского фольклора.— Прим. перев.

— Хороший человек,— продолжал старишок в том же духе.— Я хочу заключить с вами сделку.

— Не нуждаюсь,— сказал бухгалтер. Сделками он принципиально не занимался. Боялся тюрьмы, а кроме того, не замечал за собой таланта к торговле.

— Хорошую сделку,— наседал старишок.— За двадцатку.

— Не интересуюсь,— защищался бухгалтер. Ему жаль было времени. Он шел как раз в кафе-автомат, где обычно после работы ел фасоль. Не то чтобы он так уж любил фасоль, но она стоила дешево и порция была изрядная. И то и другое его устраивало, поскольку бухгалтер Микулашек был человеком далеко не состоятельным.

Он не содержал танцовщицы, что издавна приводят как основательную причину материальных затруднений, и не пропивал своих денег. Просто у него их не было, несмотря на то что жил он честно или, может быть, как раз поэтому. Бухгалтеры по зарплате получают немного. Это угнетало Микулашека, угнетали его и другие обстоятельства, связанные с его работой. В детстве вы хотели быть капитанами, машинистами, кондитерами или трубочистами. Если бы какой-нибудь мальчик захотел стать бухгалтером, к нему бы вызвали врача. И только в процессе превращения из ребенка во взрослого вы столкнулись с досадным фактом, что трубочистами и машинистами могут быть не все. И такого количества капитанов тоже не требуется.

Итак, Микулашек был бухгалтером. Он умел только начислять зарплату, и поэтому ничего другого ему не оставалось. Ручным трудом он вряд ли смог бы себя прокормить, потому что от рождения был левшой. И в остальном перспективы у него были не очень радостными. Бухгалтер по зарплате не может быть никем другим, кроме как бухгалтером по зарплате или в крайнем случае стар-

шим бухгалтером, если он достаточно старый и заслуженный. Ни старым, ни заслуженным Микулашек пока еще не был, а проявлять инициативу не решался. Любая инициатива в сфере начисления зарплаты пахнет уголовным кодексом. Микулашек все это отлично знал, и жилось ему неважно, потому что он был самым обыкновенным Микулашком и ничем особенным не отличался. В остальном же он был добрый человек. Но от этого ему было еще хуже, так как все это знали и, следовательно, никто его не боялся.

Увидев, что даже такой старикишка пытается взять его на удочку, он всерьез рассердился. На свою беду, он знал, какой легкой добычей может стать.

— За двадцатку,— клянчил старичик.— Вам ведь хорошо живется, что вам стоит помочь бедному человеку?

— Мне плохо живется,— со злостью сказал бухгалтер.

— А почему же вам плохо живется?

— А потому, что я ничего особенного не умею,— сказал бухгалтер разочарованно, как всегда, когда обсуждались условия его существования.

— Хи-хи,— засмеялся старичик.— Не умеете? А я вот умею. И что из этого? Ничего!

— А что же вы умеете? — спросил Микулашек просто из вежливости. Старичик уже начинал ему надоедать.

— А вот что...— Старичик понизил голос до шепота.— Я умею превращаться в медведя. Ну да!

Микулашек отступил еще на шаг, решив, что в случае необходимости стукнет старика портфелем и передаст его врачу соответствующей специальности, который, вне всякого сомнения, уже ищет где-нибудь поблизости сбежавшего пациента.

Но старичик вел себя миролюбиво.

— Ну да, в медведя. Но пользы от этого ни на гроши. Вот беда, правда?

— Да... Так до свидания,— выдавил из себя бухгалтер и перешел на другую сторону улицы. Старичок семенил за ним с упорством, достойным лучшего применения.

— Послушайте, молодой человек, неужели это вас не интересует?

— Интересует, еще бы, меня это чрезвычайно интересует,— вздохнул бухгалтер, втайне надеясь, что не все сумасшедшие буйны.

— Знаете,— таращел старик, держа бухгалтера за рукав,— это совсем не так уж трудно. Когда мы в первую мировую стояли в Буковине...

— Прощайте,— сказал бухгалтер.

— ...так там одного повесить собирались,— продолжал назойливый старичок безмятежно и в полной уверенности, что бухгалтер не отгрызет себе рукав, как лиса — лапу, попавшую в капкан.— Его собирались повесить. Такой грязный старичишка был.

Бухгалтер с тоской подумал, что старику явно не хватает самокритичности.

— Я был тогда капралом, а капрал — это царь и бог! — сбивчиво рассказывал старик.— И я выпустил его через черный ход. А он как раз и умел это самое — превращаться в медведя. И знаете, он, дед этот, научил и меня за то, что я его выпустил. Он бы и сам превратился, чтоб спастись, но не мог, у него не хватало как раз нужного пальца. Ему его где-то оторвало. Этот перстень, который он мне дал,— старичок поднял немытый палец с широким медным кольцом,— надевается как раз на средний палец правой руки, и его поворачивают трижды влево, дважды вправо. А эта черточка,— Микулашек увидел на кольце глубокую поперечную борозду,— эта черточка должна оказаться на ладони. Совсем нетрудно, я сразу запомнил. А потом дважды влево, трижды вправо — и все становится, как было. Ну, а если перепутаете, тогда

кольцо надо снять, снова надеть и все повторить сначала, ничего страшного не случится. Здесь я, понятно, не могу вам показать, здесь народу много. Дома сами попробуете. Нате.

Старичок схватил Микулашека за руку, надел перстень ему на палец и медленно пошел прочь. Бухгалтер какое-то мгновение с ужасом разглядывал широкое медное кольцо. Потом побежал и схватил старичка за ветхое, латаное пальто. Старик обернулся к нему морщинистое лицо и пошевелил усами.

— Что такое? — пробормотал он. — Трижды влево, дважды вправо, чертой к ладони, и обратно — дважды влево, трижды вправо, чертой к тыльной стороне руки. Ну!

— Послушайте, — сопротивлялся Микулашек, — я не могу его взять. Оно мне не нужно, заберите его!

Старичок отстранил его руку.

— Берите, берите. А если дела у вас плохи, ничего мне платить не надо. Это все равно вещь бесполезная, тем более для меня, старого человека. Вы моложе, может, вам оно пригодится. Ну, выкладывайте двадцать крон, — добавил он быстро, не оставляя своей жертве времени на раздумье.

Делать было нечего, и Микулашек дал старику деньги. Тот спрятал их под шапку. Микулашек пришел к выводу, что для сумасшедшего старик слишком хитер, и, перестав его бояться, решил заставить старика выдумать что-нибудь еще за эти же двадцать крон. Изобразив на лице полное доверие, он спросил:

— А что тогда будет с одеждой?

— Она превратится в шкуру, не бойтесь.

— А если бы я был в плавках?

— Тогда у вас будет летняя шерсть. Ну, идите, я все равно больше ничего не знаю. Попробуйте и сами уви-

дите. Но пользы от этого никакой, имейте в виду. Прощайте, прощайте, очень вам благодарен.

В тот день Микулашек так и не поел фасоли. Он был зол и не хотел больше тратиться. Придя домой, он заглянул через окно в кухню, дома ли хозяйка, прошел в свою комнату, сел и положил ноги на стол. Закурив сигарету, он аккуратно вложил обгорелую спичку обратно в коробок и начал рассматривать свою сомнительную покупку.

Перстень был потертый, шириной около сантиметра, с какими-то неразборчивыми буквами на внутренней стороне. Шрифт был не латинский, а других шрифтов Микулашек не знал. Фантазия старика немножко озадачила его. О волках-оборотнях он читал, но бывают ли оборотни-медведи — не знал. Насколько ему было известно, способность человека к перевоплощению ограничена лишь превращением в волка. Он решил, что старик черпал свои выдумки из каких-то неведомых ему источников.

— Значит, в медведя, — сердился он про себя. — А почему не в навозного жука, который потом превратится в золотаря? Глупости!

Он опустил перстень в ящик стола, бросил на него старую газету и предался грустным размышлениям о том, как легко удается некоторым людям заработать двадцать крон. Но перстень не давал ему покоя. Он снова вынул его из ящика, с омерзением осмотрел и надел на средний палец правой руки. Затем растерянно поднялся и встал перед треснутым зеркалом. Он проделывал все это, понимая, что поступает как законченный болван, но может себе это позволить, поскольку в комнате больше никого нет.

— Трижды влево, дважды вправо, — повторил он и повернул перстень согласно инструкции.

Потом посмотрел в зеркало.

Оттуда на него взглянули желто-коричневые, злобные глазки. Он открыл от изумления пасть, и из угла ее вытек ручеек слюны.

— Грр,— зарычал он испуганно, сделал два шага назад и плюхнулся на стул. Стул треснул под его весом, и бухгалтер упал на потертый коврик, проведя когтями несколько глубоких борозд по краю стола.

Когда ощущение ужаса прошло, он сообразил, что превратиться снова в человека гораздо сложнее. Когти второй лапы скользили по гладкому металлу кольца, так что не оставалось ничего другого, как сунуть всю лапу в пасть и повернуть перстень зубами.

Бухгалтер Микулашек не спал всю ночь. Он радовался, что обладает тем, чего нет у других, а это, как известно, в немалой степени свойственно человеческому характеру. Однако на работу он пришел вовремя, так как четко разграничивал служебные обязанности и личные развлечения.

Перед канцелярией его уже поджидал пан Валента. Десятник, прошу прощения — старший мастер.

— Что здесь за бордель? — сказал он громко. — Надрываешься тут целый день, а служащие вместо работы дурака валяют.

— Пройдите, пан Валента, — учтиво сказал Микулашек, открыл кабинет и пропустил старшего мастера вперед. Валента остановился в дверях. Для перебранки ему нужна была аудитория.

— Ну так что, получим мы сверхурочные или не получим?

Бухгалтер проскользнул под его рукой и заглянул в свои бумаги.

— К сожалению, нет, — извинился он, — на сверхурочные не было распоряжения.

— Как же так? — Валента угрожающе втянул голову в плечи.

— А так. Разрешения не было, следовательно, не оплатят.

— А почему?

— Извините, не знаю.

— А кто это должен знать, черт побери? — повысил Валента голос. Обмен мнениями на высоких нотах всегда вливал в него новые силы.

— Начальник строительства. Я ведь только бухгалтер.

Такой несерьезный обходной маневр справедливо возмутил Валенту. Орать на бухгалтера Микулашека было его излюбленным развлечением, и он не терпел, если кто-нибудь портил ему это удовольствие. В душе он ничего плохого не имел в виду, но крик был для него такой же жизненной необходимостью, как дафний для аквариумных рыбок. Поскольку, кроме Микулашека, никто больше не спускал Валенте его выходок, старшему мастеру было очень нелегко переносить увертки бухгалтера.

— Ну, так получим мы или не получим?

— К сожалению, — пожал плечами Микулашек. Этим он дал понять, что аудиенция окончена и начинается рабочий день.

Старший мастер подскочил к столу.

— Так что же это вы тут болтаете? Найдите способ заплатить побыстрее. А то сваливаете друг на друга...

Бухгалтер Микулашек спрятался за стол. К крику он привык, но бессонная ночь давала себя знать. Пошливали нервы. Он боялся, что в любой момент может расплакаться.

— Не кричите на меня, — попросил он срывающимся голосом,

Валента в душе затрепетал от счастья. Как известно, блеяние козленка возбуждает льва.

— Вы мне будете объяснять, что делать? Вы? Извольте дать мне, что положено, или я сделаю из этой вашей конуры отрывной календарь!

Микулашек скорчился за своим столом. Он решил любой ценой воспрепятствовать исполнению угрозы.

— Поосторожнее,— предупредил он,— не то...

— Не то что? — заорал старший мастер и стукнул кулаком по столу.

Бухгалтеру показалось, что еще минута — и старший мастер проглотит его.

— Трижды влево, дважды вправо,— повторил он про себя.— Гrr,— проревел он вслед за этим, поднялся во весь свой рост и оскалил желтоватые клыки.

Старший мастер вытянул перед собой руки жестом церковного сторожа, который ни с того ни с сего увидел живого дьявола. Из горла его вырвался какой-то сдавленный писк. Размахивая руками и пошатываясь, он вышел в коридор. Потом хлопнул дверью и помчался вниз, визжа, как придушенный заяц.

Пока его визг замирал вдали, бухгалтер, чтобы поспеть с превращением, от усердия обслюнявил всю лапу. Он заметил еще раньше, что любое волнение вызывает в его медвежьем организме слишком обильное слюноотделение, и это ему порядком мешало. Не успел он сесть за стол и погрузиться в чтение бумаг, как в кабинет ворвался начальник строительства.

— Добрый день, товарищ инженер,— вежливо поздоровался немного побледневший Микулашек. Начальник строительства игнорировал приветствие.

— Что это за номер вы откололи с Валентой? — спросил он недовольным тоном.

— Я? С Валентой?

— Разумеется, вы, а не я. Валента влетел ко мне и сказал, будто вы на него ревели, как медведь. А потом упал. Теперь ему вызывают скорую помощь.

— Я...

— Конец! Больше этого не будет! Я должен план выполнять, а вы тут так орете на человека, что он теряет сознание. Где я теперь возьму мастера? Может, вы будете за него работать? Подождите, мы еще поговорим с вами в управлении!

Бум, бум, трах!

Сначала раздались удары по столу, потом хлопнула дверь.

На следующий день Микулашек вызвали в дирекцию, где он получил выговор за плохое обращение с людьми.

— Как это случилось? — спросил потихоньку старенький старший бухгалтер. — Ты его выругал? А что же ты ему сказал?

— Валента был пьян, — подло заявил Микулашек, почувствовав при этом, что он внутренне растет.

Но к вечеру его гордость уступила место сомнениям. Он принадлежал к числу практических людей. Превращаться в медведя — несомненно, выдающаяся способность. Но быть медведем лишь для самого себя, конечно, горько. Всякая способность должна быть оценена, иначе она не греет, а Микулашек верил исключительно в земное признание. Бухгалтеры, склонные рассуждать о том, что их земные заслуги будут признаны лишь на небе, как правило, умирают молодыми. В одном Микулашек был уверен: такую способность на его теперешней службе оценить по достоинству не могут. Это волшебство, искусство, трюк. Ее, эту способность, можно использовать так, чтобы она приносila плоды.

Микулашек верил, что находится на правильном пути.

Он взял день в счет отпуска и с самого утра отправился в Главное управление цирков, надеясь встретить там только артистов.

Отдел кадров помещался на первом этаже жилого дома, и уже одно это несколько смутило Микулашека. Он нигде не увидел ни карусели с лошадками, ни русалки, а человек за столом разочаровал его окончательно. Он подсознательно ожидал увидеть настоящего циркового артиста, в блестящем костюме, с цветной перевязью на животе. У человека за столом не было цветной перевязи на животе. Да и живота у него не было. За столом сидел юрист.

— Я,— Микулашек растерянно мял шляпу,— если вас интересует...

— Нам нужны жонглеры и музыканты,— сказал человек за столом.— Вы играете?

— Нет, не играю,— ответил бухгалтер.— Я... я кое-что умею,— наивно объяснил он.

— Ну хорошо, а что именно?

— Я умею превращаться в медведя.

— Серьезно? А как вы это делаете?

— А просто. Переоплощаюсь, и все.

— Прямо здесь?

— Можно и здесь. Где угодно,— гордо сказал бухгалтер. Он был уверен, что человек за столом такого не умеет.

— Гм,— человек за столом потер подбородок,— в медведя. В большого бурого медведя?

— Именно так,— радостно согласился бухгалтер.— В большого бурого медведя.

Преданным взглядом он посмотрел на человека за столом, который так легко его понял. Человек за столом слегка улыбнулся и стал рыться в ящике.

— Подождите, пожалуйста, в приемной,— процедил он сквозь зубы.— Только никуда не уходите, я вас позову. Микулашек понял.

— Я не сумасшедший,— попытался он защитить себя.— Я в самом деле могу это сделать.

— Ну, разумеется, вы не сумасшедший, конечно, нет, но будьте так любезны подождать в приемной, у меня срочный телефонный разговор. Потом мы обо всем поговорим, вы мне все покажете, мы и других позовем, чтоб тоже посмотрели...

— Одну минуточку,— сказал бухгалтер, и необычайно серьезное выражение его лица заставило юриста выпустить из рук массивное пресс-папье.— Я вам сейчас все покажу, только не бойтесь.

Он повернул перстень и изобразил на морде добродушную улыбку, чтоб не напугать юриста. «Отдел кадров» юркнул под стол, как ласка.

Через мгновение Микулашек, скромно улыбаясь, снова мял поля своей шляпы. Кадровик вернулся в свое кресло, и ему удалось сделать вид, что он не знает, как выглядит стол снизу.

— Ну, хорошо,— сказал он, подумав.— С этим вопрос ясен. А что вы умеете?

— Но ведь...

— Знаю. Это мне понятно. Но что вы умеете как медведь?

Микулашек осталбенел.

— Поймите меня, пожалуйста,— постучал юрист карандашом по зубам.— Как человек вы умеете превращаться в медведя. Хорошо, допустим. Но, чтобы предложить публике высококачественное, действительно высококачественное развлечение — вы понимаете, а не какой-нибудь там невиданный, а на самом деле ничем не выдающийся трюк, вы должны также и будучи медведем

показать что-нибудь исключительное, доступное не каждому животному. Ну, например, танцы на шаре, упражнения на турнике, что-нибудь в таком духе. Вы это умеете?

— Нет, не умею,— ответил Микулашек уныло. Он и на полу танцевать не умел, тем более на шаре.

— Чем вы занимаетесь в обычной жизни?

— Я бухгалтер.

— Ну, это вряд ли что-нибудь даст. Животные-математики уже приелись. Послушайте, а не сумели бы вы балансировать с бутылкой на носу?

— Извините, я никогда не пробовал.

— М-да, это вы вряд ли сумеете, это требует тренировки, мой друг, тренировки. Дело в том, что мы теперь хотим, мы должны показывать нашему новому, нашему требовательному зрителю настояще искусство, а не какие-то ярмарочные трюки, как, например, ваш. Иначе мы убьем в нем вкус. Цирк, мой милый,— это вовсе не значит ахать, раскрыв от изумления рот. Это восхищение тяжелым и упорным трудом наших артистов, которые... которые...

Юрист подыскивал слова, с отчаянием вспоминая, как все это выглядело, когда он в восьмилетнем возрасте в последний раз посетил цирк. Потом он умолк. В комнате уже никого не было.

Перед домом бухгалтер поплевал на сине-белую доску объявлений, достал из кармана чернильный карандаш и написал наискось аккуратным почерком: «*Цирк — это жульничество*». Потом дописал: «*Тьфу*» — и два раза старательно подчеркнул. Он понял, что с этими шутами не сможет поймать свою синюю птицу.

В магазине «Родник» он купил банку меду, дома поставил ее на пол и заперся. Потом опустил штору, сел под стол и превратился в медведя. Зубами сорвал крыш-

ку с банки, погладил себя лапой по брюху (он видел, как это делают медведи) и поднес банку к пасти.

Густой мед вытекал из банки медленно. Микулашек похлопал лапой по дну, мед коварно выполз за край банки, тяжелой струей потек по лапам к локтям и в конце концов залил светлую шерсть на груди и брюхе. Бухгалтер вскрикнул в отчаянии. Минуту он безнадежно пытался облизать измазанный мех, но потом перевоплотился и побежал к умывальнику спасать костюм. Остатки меда он выскреб ложкой, собрал в тарелку и, снова превратившись в медведя, аккуратно вылизал. Потом повертел перстень, сел к столу и, держа в руке карандаш, долго-долго глядел на литографический портрет Алоиса Ирасека.

— Занятно,—сказал приветливый человек в редакции журнала «Наука и жизнь».—«Вкусовые восприятия медведя». Вы физиолог?

— Я медведь,—ответил бухгалтер рассеянно, потому что в этот момент, послюнив палец, устранил липкие пятна с лацкана пиджака.

— Гм, гм,—промычал вежливый человек, складывая рукопись аккуратной стопкой.—Это ничего, это роли не играет. А какой медведь? Для заголовка, знаете? Бурый?

— Да вроде бы,—скромно сказал бухгалтер.—На брюхе светлый, а вообще-то бурый.

Вежливый человек поднял брови и перелистал несколько страниц предложенной ему статьи. Микулашек смотрел на него, ощущая, что в эту самую минуту время окончательно остановилось.

— Бурый,—повторил он беспомощно,—совсем бурый.

— Мало ли что бывает бурым,—сказал вежливый человек и посмотрел поверх страниц рукописи на бухгалтера Микулашека.—Перестаньте лизать свой костюм. Где вы его видели? На воле? В клетке?

— Как бы вам это пояснить?..

— Говорите совершенно просто. Формулировки не так уж важны. Так где же вы его видели, а ну-ка? Не бойтесь!

На этот раз бухгалтер впервые не струсил и поэтому ответил полным предложением:

— Я видел его в зеркале.

— Если это так,— мило сказал вежливый человек, подавая ему рукопись,— если это действительно так, то это наверняка не был медведь. Это, извините, исключено. Медведи в зеркалах не живут. Им там, знаете ли, есть нечего. Почитайте Брэма.

— Мир плох и безотраден,— размышлял бухгалтер на обратном пути,— и, кроме того, совершенно абсурден. Я умею такое, чего никто другой не умеет, а люди либо не верят мне, либо отказываются удивляться. Наверное, все дело в том, что они не чувствуют себя равными мне и потому завидуют моей исключительности. Но я этого так не оставлю. Раньше меня не боялся никто, а теперь испугался даже Валента, значит, что-то несомненно изменилось. Раньше сильнее были они и мне приходилось их бояться. Теперь они боятся меня, значит, наверняка теперь я сильнее. Медведь — это вам не что-нибудь. Медведь — владыка края, и его боится вся округа. Он терзает скот и всякое такое.

Но тут он почувствовал, что в его мыслях есть противоречие. Возможности медведя и положение бухгалтера — не самая удачная комбинация, и Микулашек почему-то не мог избавиться от мысли, что если бы он в качестве медведя растерзал корову, то в качестве бухгалтера его упекли бы в сумасшедший дом. Кроме того, он никак не мог решить для себя вопроса, что бы он стал делать с растерзанным животным. О том, что его можно употребить в пищу, он как-то не подумал,

Микулашек шел по оживленным улицам, опустив голову, погруженный в глубокие думы. В результате не-привычно интенсивной душевной деятельности на его лице застыла дурацкая улыбка.

— Терзать скот,— размышлял он,— это, с одной стороны, пустая демонстрация, а с другой— жестокость. Это ни к чему. Однако пора что-то предпринять. Я должен во что бы то ни стало использовать свои возможности. Это самый большой шанс в моей жизни. Если я так ничего и не предприму, меня снова все будут пинать ногами до самой смерти.

Вообще-то его никто никогда не пинал, но, чтобы решиться на столь важный шаг, он должен был подстегивать себя картинами своих прошлых страданий.

— До сих пор все со мной обращались, как с тряпкой, и я это терпел. Тогда я еще не мог осознать своей исключительности, но теперь осознал. Теперь я знаю, что во мне есть, и я должен решиться. Дальше так продолжаться не может. Что делает общество? Общество отвергает мой талант и мои услуги, общество ими пренебрегает. А что сделаю я? Я просто пойду своим путем.

Эта мысль так взволновала его, что он несколько раз подпрыгнул на ходу и налетел на мусорщика, находившегося при исполнении служебных обязанностей.

— Ты что, не видишь, болван, что я работаю? — деловито спросил мусорщик. Погруженному в видения бухгалтеру это вмешательство не понравилось.

— Я думаю о важных вещах,— сказал он грубо.— Плевать я хотел на ваш мусор.

Мусорщик не на шутку разозлился и перестал церемониться. В конце концов он заявил, что запихнет бухгалтера в мусорный бак, и добавил еще, каким образом это сделает. Бухгалтер испугался, но тут же вспомнил о своей силе и решил припугнуть мусорщика.

— А медведя вы смогли бы запихнуть в ваш бак?
— Что за глупости вы спрашиваете? — удивился мусорщик.

— Да так,— сказал бухгалтер, многозначительно улыбнувшись, и с триумфом продолжил свой путь, оставив противника в растерянности.

Мусорщик позвал другого мусорщика. Оба они очень удивлялись и вертели пальцами у лба. Им было ясно, что медведь в мусорном баке поместиться не может.

— Ага,— сказал бухгалтер про себя,— я показал свою силу, а людям как раз это и нужно. Сомнения в сторону! Ни с кем не миндальничать! Каждый сам должен знать, когда ему уйти с дороги. Это закон природы — выживает более сильный.

Воспоминание о законе даже в таком контексте несколько замедлило ход его рассуждений. Но вскоре он успокоился. Кто не боится мусорщика, не боится никаких законов. Поэтому он почувствовал себя очень сильным и уже не старался сдерживаться.

«Сильная личность живет по своим собственным законам, это давно известно. Я был бы сумасшедшим, если бы позволил опутать себя предрассудками. Что представляет собой этот их закон? Балласт, отрепья, защита слабых. По отношению к себе у меня есть только одно право, и это право сильного. Право извлекать пользу из своей силы. Извлекать пользу... Да, именно так можно определить это право. Можно также сказать — пользоваться. Это будет более мягко и правильно. Буду пользоваться», — решил он окончательно и бесповоротно.

Эта мысль показалась Микулашеку забавной. Он еще никогда ничем таким не пользовался и очень обрадовался представившейся возможности. Вопрос о технических деталях он решил быстро.

— Воспользоваться я могу чем угодно. Лучше всего,

конечно, чем-нибудь вполне транспортабельным, но при этом достаточно ценным. Золото? Нет. Его потом придется бы продать. Деньги? Ну конечно, я буду пользоваться деньгами, я добуду массу денег. А поскольку я медведь действия, я начну пользоваться сразу же. Кто рано встает, тому бог подает.

Микулашек свернулся с боковой улицы на главный проспект, взволнованно принюхался и вошел через вертящуюся дверь в зал сберегательной кассы. Его никто не видел, все сидели спиной к двери.

— Добрый день,— поздоровался бухгалтер и превратился в медведя. Потом сделал несколько шагов вперед. Для большего впечатления он потряс головой и зарычал, показывая, какой он страшный.

Первой взвизгнула старая бабка с хозяйственной сумкой. Она уронила сберкнижку и, застыв на месте, осенила себя крестным знамением. Двое или трое клиентов прижались к стенам. Кассир, как страус, спрятал голову под стол, а потом высунул из-под стола руку с револьвером. Медведь нежно шлепнул его по руке. Кассир уронил оружие и, не покидая своего убежища, подул на руку, тихо радуясь, что избавился от необходимости сопротивляться. Насколько ему было известно, кассиры с медведями не сражаются.

Медведь просунул лапу в окошко и с немалым трудом потянул к себе пачку денег со стола кассира. Потом вторую. Потом еще одну. Больше на столе денег не было. Медведь решил, что на первый раз хватит. Он получил, что хотел, и мог уйти.

Он отвернулся от окошка и остановился, нерешительно перебрасывая деньги из лапы в лапу. Впервые в жизни он испытал гложущую зависть к кенгуру. В человеческом обличье он не смог бы покинуть место преступления, в этом он был уверен, но в обличье медведя у него

не было карманов, а лапы нужны были для обороны. Он попытался запихнуть одну пачку в пасть. Деньги были отвратительны на вкус, а кроме того, он не мог сунуть в набитую пасть лапу, чтобы повернуть зубами кольцо на пальце. Он хотел совершить обратное превращение где-нибудь неподалеку от вертящихся дверей, но теперь подумал, что, превратившись в человека, может подавиться большой пачкой денег во рту.

Минуту он растерянно переминался с лапы на лапу. Потом зажал две оставшиеся пачки под мышкой, грозно зарычал, насколько ему позволила набитая деньгами пасть, и ввалился в туалет.

Две пачки он вынул из-под мышки и положил на край унитаза, третью вытащил из пасти и вцепился зубами в кольцо на пальце. Оно поворачивалось с трудом, потому что у Микулашека-медведя от волнения, как обычно, сильно текла слюна.

— Спокойно,— сказал он себе.— Быстрота и хладнокровие!

Зубы его лязгнули о гладкий металл, и перстень скользнул с мокрого пальца в пасть. Пришлось начать все сначала.

В зале послышался выстрел. Это один из клиентов выхватил револьвер у кассира и пальнул в потолок, чтобы придать себе мужества. Медведь перепугался. Он не привык к стрельбе. Теперь он понял, что рискует всем. Он подставил обе лапы и выплюнул перстень, помогая себе языком. Потом снова положил его в пасть и, взяв в зубы, попытался просунуть в него палец.

Снаружи раздался еще один выстрел и крик кассира, который держал рычаг сигнализации и пытался вызывать о помощи. Медведь подсознательно закрыл пасть и от волнения глотнул.

Он почувствовал, как перстень неудержимо скользит по пищеводу. Он задыхался и кашлял. Потом попробовал сунуть лапу в горло, чтобы его вырвало.

Но ничего не получалось.

Его залила волна жалости к себе. Судьба обошлась с ним жестоко. Удрученный, он сел на унитаз и опустил голову на лапы, пытаясь собрать моральные силы. Он хотел встретить врага с гордо поднятой головой.

Когда пришли люди с веревками, он с достоинством поднялся с унитаза, холодно поклонился и протянул обе лапы. Служащие посмотрели на него с немалым удивлением, потом набросили на него сеть.

Бухгалтер покорно переносил тряску в зарешеченной машине. Он знал, что приближается минута, когда он будет осужден за свой поступок. Защищаться было бесполезно, да и случая для этого не представилось. В таком ясном деле приговор бывает краток. Серьезные люди, вершившие суд, совещались недолго. Они назвали его «медведь бурый» и отвели в клетку.

Он шел, гордо выпрямившись... Потом с непреклонным видом уселся на дуплистый ствол. Сник он только тогда, когда на его клетку стали прибивать табличку:

НЕ КОРМИТЬ!

К вечеру он стал есть сырую конину.

— Послушайте, коллега, — спросил несколько дней спустя научный сотрудник зоопарка у молодого аспиранта, — вы видели когда-нибудь, чтобы медведи рылись в собственном помете? Этот наш экземпляр, по крайней мере...

— Конечно, товарищ доцент,— ответил усердный юноша.— Я тоже это заметил и объясняю тем, что после зимней спячки медведи ищут в помете остатки непереваренной пищи.

Медведь все это слышал, но ничего не сказал, потому что он был медведь. Он удалился в угол клетки, начертил когтями на песке несколько цифр и в уме вычислил налог из зарплаты.

Он ждал своего дня.

МАШИНА ДЛЯ ЧТЕНИЯ МЫСЛЕЙ

Преподавателя французской литературы Дени Дюмуленна — героя фантастического романа Андре Моруа «Машина для чтения мыслей» (1937) — приглашают читать лекции о творчестве Бальзака в американский университетский городок Уэстмаус. Приехав туда вместе со своей женой Сюзанной, Дени Дюмулен знакомится с лауреатом Нобелевской премии талантливым физиком Хикки, который показывает ему свое новое изобретение — аппарат для чтения мыслей. Дюмулен решает использовать аппарат. Ниже мы печатаем главы из романа.

От коттеджа Хикки до нашего считанные минуты ходу, и, пересекая лужайку, я спрашивал себя: что же я сейчас скажу Сюзанне? Показать ей странный аппарат, который я несу под мышкой, объяснить, как он устроен, и испытать его вместе? Или же, напротив, промолчать, небрежно положить коварный сверток где-нибудь под боком, где он сможет записать раздумья моей жены, подслушать ее самые тайные мысли? Признаться, такое воровское вторжение в душу на миг показалось мне соблазнительным; но нет, это нечестно. Разве я прочитал бы письмо жены, адресованное не мне? Конечно, нет. «Но ведь это одно и то же», — подумал я, поворачивая ручку входной двери, и решил все рассказать Сюзанне.

Но очень часто, решив одно, мы под влиянием обстоятельств поступаем совсем по-другому, а случилось так, что в тот вечер Сюзанна встретила меня отнюдь не ласково.

— Как ты поздно! — с досадой сказала она. — Я уже беспокоилась.

— И совершенно напрасно, — сказал я и положил картонную трубку на маленький столик возле Сюзанны. — После лекции я заглянул к Хикки и мы с ним полчаса поболтали; как видишь, причина моего опоздания самая невинная.

— Может быть, — заметила она, — но, согласись, я же этого не знала... И вообще, что за удовольствие разговаривать с этим англичанином? Он ужасно скучный.

— Как ты можешь, Сюзанна? Что за легкомыслие — вот так судить о большом ученом, когда не понимаешь ни его языка, ни его идей! Скажу по совести, слушать Хикки мне в сто раз интереснее, чем твою сестрицу Мари-Клод или твоего зятя Максима; она уже тысячу раз объясняла, отчего у ее детей всегда насморк, а он вечно расписывает свои военные подвиги.

— Очень великодушно с твоей стороны напоминать мне про улицу Фонтенель, когда до нее шесть тысяч километров! У меня в этой Америке и так все нервы расстроились...

— Нервы — самое простое оправдание, — сказал я, пожимая плечами.

Наша чернокожая служанка доложила, что обед подан. Я шел вслед за Сюзанной и горько упрекал себя за несдержанность. В последние недели между нами все чаще случались вот такие размолвки. Я возвращался домой полный жалости к моей бедной изгнаннице и твердой решимости держаться с ней по-отечески мягко и ободряюще; я живо представлял себе, как буду отныне великодушен и добр. Но стоит нам остаться вдвоем, и ее непременно рассердит какое-нибудь мое неосторожное слово. И пять минут спустя уже в разгаре никому не нужный спор, сыплются резкости и упреки. «Нет, — го-

ворил я себе, входя в столовую,— сегодня вечером я этого не допущу, я не позволю себе злиться...» Но Сюзанна, раз начав, уже не знала удержу; в ней, словно в некой пифии, разгоралось внутреннее пламя. Едва на столе появилась засахаренная дыня, она вновь заговорила о ненавистной мне улице Фонтенель: утром пришло оттуда письмо, в нем сообщалось, что месье Ковен-Леке нездоров.

— Теперь-то ты понимаешь, чем это грозит? — говорила Сюзанна.— Жером с Анриеттой опутают папу, обведут вокруг пальца, а я по твоей милости торчу здесь, за океаном, и не могу отстоять свои права. Понимаешь теперь, почему я с самого начала не хотела сюда ехать?

— Сюзанна, дорогая, я не хотел бы опять затевать этот тяжелый разговор,— сказал я.— Но, во-первых, когда президент Спенсер пригласил меня прочесть здесь курс лекций, я принял приглашение с твоего согласия. И потом, я тысячу раз просил тебя хоть ненадолго забыть про эти ваши семейные распри. Жером с Анриеттой хотят заполучить фермы твоего отца? Ну и что же! Так оно и есть. Ты тут ничего не сделаешь, и я тоже. И никакие твои разговоры не помогут. Так ради всего святого, поговорим о чем-нибудь другом... Потому что, право, обидно: мы с тобой попали в молодую, незнакомую страну, живем среди новых, необыкновенно интересных людей, а ты каждый вечер толкуешь все об одном и том же — о правах на земельную собственность в Верхней Нормандии... Нет-нет, довольно!.. Есть в этом что-то мелкое, пошлое, мне это мучительно, в конце концов... Я люблю тебя глубоко, искренне, но от этих разговоров я задыхаюсь... Попытайся проявить немногого благородства и широты душевной... ты вполне на это способна...

— Да, я знаю,— сказала Сюзанна с горечью.— Мужчины вроде тебя взывают к благородству и широте ду-

шевной из чистого себялюбия, когда им это на руку. Тебе-то в Америке хорошо... Во-первых, ты просто бессердечный: оторван от детей, от родных, от друзей, и хоть бы что, с глаз долой — из сердца вон... И потом, тебе лестно, что здешние дурочки, вроде этой Мюриэл Уилсон, тобой восхищаются, будто ты гений...

— Ее фамилия не Уилсон, а Уилтон, и если она слушает мои лекции...

— ...то, конечно, только из любви к Бальзаку? Ничего подобного, Дени, и ты сам это понимаешь не хуже меня... А вообще мне все равно, можешь сколько угодно ухаживать за всякими американскими трещотками, только после этого, пожалуйста, не читай мне проповедей насчет благородства... А что до земельной собственности, ты так ее презираешь... однако в старости, уж наверно, не откажешься от дома на улице Фонтенель... если только мне удастся его уберечь от этой жадины Жерома.

Я понял, что уже ничего не поправишь, остается только ждать, пока буря утихнет. Но тут в меня вселился какой-то демон; когда мы вышли из столовой и Сюзанна села в свое привычное кресло, я подошел к столику рядом с ней, словно затем, чтобы поставить чашку кофе, через прорезь в свернутых трубкой газетах незаметно нажал на кнопку и включил аппарат Хикки. На секунду мне показалось, что я попался. Сюзанна, опустив книгу на колени, спросила небрежно (я вообразил, что она только притворяется равнодушной, но ошибся):

— Чьи это бумаги?

— Какие бумаги? А, это... Хикки дал мне посмотреть кое-какие журналы.

Она больше не расспрашивала. Аппарат был повернут в ее сторону и лежал достаточно близко. Я уселся напротив, раскрыл том Бальзака и, прикидываясь, будто делаю какие-то заметки, наблюдал за женой. Она читала

«Люсьену» — я люблю эту книгу и сам посоветовал Сюзанне ее прочесть, но, видно, мысли ее где-то витали. То и дело она опускала книгу на колени и задумывалась. Несколько раз она уже приоткрывала рот, готовая заговорить со мной, но я сидел с неприступным видом, не поднимая глаз, и она, чуть вздохнув, опять бралась за книгу. Около десяти часов она поднялась.

— Я устала, — сказала она. — Пойду лягу.

— Сейчас я докончу главу и тоже приду, — ответил я.

Едва она вышла из комнаты, я вытащил огромный «пистолет» из газетного футляра, остановил часовой механизм, спрятал аппарат в свой ящик и запер его на ключ. После этого, заглушая смутную тревогу и некоторые угрызения совести, я пошел к Сюзанне.

Назавтра я с нетерпением ждал, когда же кончится лекция Хикки и часы лабораторных занятий и можно будет к нему зайти. Мне не повезло: я столкнулся с его лаборантом Дарнли. Как при нем сказать, что у меня с собой пленка и я хочу узнать, что же на ней записано? Но Хикки быстро заметил мое смущение и заговорил первый.

— Дорогой мой, — сказал он мне, — не стесняйтесь, говорите при Дарнли. Ведь он не только мой сотрудник: он лучше, чем я, поможет вам расшифровать психограмму, которую вы принесли... Да, я называю эти записи психограммами... Дарнли проведет вас в подвал — там у меня установлен звуковой аппарат — и включит его для вас... Нет-нет, не бойтесь... Пусть он, а не я обучит вас этой механике, тут нет никакой нескромности, напротив... Я полагаю, запись, которую вы принесли, на французском языке?

— Да, разумеется.

— Вот видите! Дарнли ни слова не знает по-французски, а я кое-что понимаю, во всяком случае несложные

фразы... Следовательно, так будет лучше... Ну что ж, до скорой встречи... Когда кончите, загляните ко мне на прощание.

Дарнли взял «пистолет», и я в полутьме побрел за ним. На ходу он объяснял, что пленку проявляют, пропуская через разные растворы и затем просушивая; одновременно запись преобразуется в звук. Дарнли — жизнерадостный молодой человек, известный на факультете спортсмен — держался дружелюбно и просто, но меня мучила совесть и я уже сожалел о своей затее. В его лаборатории мне пришлось довольно долго ждать, пока он готовил свои приборы; когда я поглядел на часы, оказалось, уже седьмой час. Опять Сюзанна будет сердиться, что я поздно пришел домой. Бедняжка, я перед ней виноват. Разве то, что я сейчас делаю, не предательство?

— Ready?* — неожиданно окликнул меня Дарнли.

Я ответил, что готов. Послышалось мерное пощелкивание, словно застремотал киноаппарат, раздался не то шорох, не то шепот, перебиваемый глухим равномерным шумом (я скоро понял, что это дыхание), и сквозь все это зазвучал слабый голос... не то чтобы в точности голос Сюзанны, но очень похожий. Он говорил что-то не слишком понятное, я не сразу догадался: это мысли Сюзанны перемежались фразами из книги, которую она читала.

Не стану приводить большие отрывки из психограмм, ибо эти записи почти всегда длинны, однообразны и довольно скучны, да притом в наши дни все, у кого есть психограф, иначе говоря, большинство моих читателей, прекрасно знают, что это такое.

Однако отрывок из психограммы, о которой идет речь, я сейчас приведу, ибо она была первая, которую я услы-

* Готовы? (англ.)

шал в своей жизни, и я хотел бы дать понятие о том, в какое изумление и растерянность она меня повергла. Чтобы читателю было легче разобраться, фразы, выхваченные из книги, лежавшей в тот час перед глазами Сюзанны, я подчеркиваю.

«...В ДВАДЦАТЬ МИНУТ ШЕСТОГО Я БЫЛ У ВОКЗАЛА. Право, Дени большой эгоист; В ДВАДЦАТЬ МИНУТ ШЕСТОГО Я БЫЛ У ВОКЗАЛА, это было ужасно, когда в пять утра я проснулась в каюте и на палубе так громко топали... это было ужасно, я так измучилась, и вода в тазу все время качалась, и меня отчаянно мучило; вот вернемся во Францию — и никогда в жизни больше не поеду на пароходе; еще два месяца, а может, и полгода, если Дени согласится, просто не знаю, как я это вынесу. Он-то доволен, его все хвалят; он любит, когда его хвалят; в сущности, он тщеславный и легковерный; а я здесь ничего хорошего не нахожу, и эти американцы совсем не умеют разговаривать с женщинами, они уж такие серьезные, такие робкие; во Франции мужчины куда смелее... Забавный он, тот приятель Дени, как его... Кузанн? Ну да, Кузанн,— как он наклонился над кроваткой Жака и шепнул мне на ухо: «Жаль, что это не мое произведение.» Как я тогда обозлилась, и взволновалась тоже, я сказала: «Осторожно, Дени услышит». В ДВАДЦАТЬ МИНУТ ШЕСТОГО Я БЫЛ У ВОКЗАЛА, И ТУТ Я СПОХВАТИЛСЯ, ЧТО ЗАБЫЛ СПРОСИТЬ У МАРИ ЛЕМЬЕ, КАК ПРОЙТИ К ДОМУ. Я ЗНАЛ ТОЛЬКО, ЧТО ОН НАХОДИТСЯ НЕПОДАЛЕКУ ОТ ВОКЗАЛА, дом, дом, дом, улица Фонтенель, какая неосторожность, что я уехала, если Анриэтte с Жеромом понадобятся деньги, они заставят папу заложить дом, и деньги мигом испарятся, так было с фермой в Марто; противный Жером, если б я могла, непременно поссорила бы его с папой; надо поговорить об этом с Ад-

рианом; В ДВАДЦАТЬ МИНУТ ШЕСТОГО Я БЫЛ У ВОКЗАЛА. Адриан, театр, любовь. Адриан всегда посоветует, как быть с нашими руанскими делами, он-то человек практический; а с Дени про все это и говорить нечего, он воображает, будто Жером — человек честный, сам-то он честен, что правда, то правда. Дени я уважаю, но он ничего, ну ничегошеньки не смыслит, просто не представляет, какие они подлые мошенники, и восхищается Анриеттой, потому что она красивая, как будто в этом дело; ненавижу Анриетту, когда мы были маленькие, я всегда с ней дралась, потому что она была красивее меня, а теперь у меня уже три седых волоса, старею, как быстро прошла жизни! В ДВАДЦАТЬ МИНУТ ШЕСТОГО Я БЫЛ У ВОКЗАЛА, какая тут тоска, и как тихо, в Руане я любила ходить на Сен-Ромэнскую ярмарку, там шумно, музыка, кружатся деревянные лошадки, карусель на площади Бовуазин, и зверинец Бидель, как было весело! Адриан забрался вместе со мной в кабинку, и она закружила быстро-быстро, и его прижало ко мне, было очень приятно, у палаток толпился народ, гудели барабаны с лотерейными билетами, и нуга, и карамельки. И ТУТ Я СПОХВАТИЛСЯ, ЧТО ЗАБЫЛ СПРОСИТЬ У МАРИ ЛЕМЬЕ, КАК ПРОЙТИ К ДОМУ; в толпе Адриан несколько раз обнимал меня за талию, было приятно, в сущности, если бы я вышла за Адриана, может быть, я была бы счастливее. Дени честный, но он ну ничегошеньки не смыслит, а вот Адриан преуспевает, он маклер по морской части, зарабатывает двести тысяч франков в год, и Луиза одевается куда лучше меня, и она избавлена от всех этих домашних забот, и потом, Адриан такой нежный, ласковый. А Дени резкий и неуклюжий. Адриан, театр, любовь, синий диван, если я не поостерегусь, от мебели на улице Фонтенель тоже ничего не останется. Дени-то все равно, а я очень люблю комод Людовика

четырнадцатого и тот столик с гнутыми ножками, он стариный, Я ЗНАЛ ТОЛЬКО, ЧТО ОН НАХОДИТСЯ НЕ-ПОДАЛЕКУ ОТ ВОКЗАЛА...»

Ну, хватит, было бы скучно и бесполезно приводить дальнейшее, поток этих несвязных размышлений длился больше часа. «Внутренний монолог» опять и опять прерывался коротким молчанием либо длинными отрывками из книги. Читатель уже мог заметить, что было главное в этом долгом раздумье: непрестанный страх, что отец будет обманут своим зятем Жеромом, тайная неудовлетворенная чувственность, воспоминания о давней полудетской любви к некому Адриану Леке, который приходился Сюзанне родней. Вот это меня взбесило, я знал Адриана: сорокалетний дамский угодник, пошляк, посредственность, напыщенный маклер с брюшком! Какой уж из него Дон Жуан или Растиньяк, он куда больше смахивает на месье Прюдома или на Цезаря Бирото! Безусловно, ничто в раздумьях Сюзанны не доказывает, что она его любит, но ясно, что когда-то, в юности, он за ней ухаживал и для моей жены это вовсе не пустяк и не ребячество, нет, она и псыне сохранила об этом флирте самые живые воспоминания; да и в делах, которые она принимает близко к сердцу, она тоже предпочитает советоваться не со мной, а с ним, с этим болваном! Пока я слушал запись, все это казалось мне весьма серьезным. К счастью, в полутемной лаборатории Дарнли не мог заметить, до чего я взволнован.

— Вы удовлетворены? — спросил он, когда пощелкивание аппарата оборвалось.

— Вполне, — спокойно ответил я. — Огромное вам спасибо, Дарнли.

Но, выйдя из этого проклятого подвала, я постарался незаметно улизнуть, не попадаясь на глаза мистеру Хикки.

Когда я вышел от соседей, час был уже поздний и на улице совсем стемнело, но у меня не хватило мужества сразу вернуться домой. Я был слишком потрясен, слишком взбешен, я не успел опомниться. Не мог я сейчас видеть Сюзанну, раньше надо было поразмыслить об услышанном. Быстрым шагом я обошел наш квартал; под ногами шуршали опавшие листья, и скоро ходьба и вечерняя свежесть немного меня успокоили. Сперва я хотел, как только вернусь, выложить Сюзанне все, что я о ней думаю, пусть получает по заслугам! Но потом опомнился и дал себе слово молчать.

«Что толку грубо швырнуть в лицо Сюзанне ее собственные мысли? — рассуждал я.— Она станет упрекать меня, что я забрался к ней в душу, как вор, и ведь она будет права, а я начну спор с невыгодных позиций. Кроме того, если я выскажу вслух все обиды и упреки, которые она могла затаить против меня, им только прибавится силы и убедительности. Напротив, куда разумнее — лишь бы у меня хватило на это мужества — воспользоваться уроком втайне и вновь завоевать любовь и доверие жены, ведь я все же люблю ее, а если не поостерегусь, мы станем совсем чужими. Чудо-инструмент Хикки сослужит мне отличную службу, я смогу и дальше следить за тайными мыслями Сюзанны и...»

И вдруг я спохватился, что забыл психограф в подземной лаборатории. Досадно, но поправимо: завтра утром можно пойти и взять его обратно. Ну, а что я скажу Хикки? Чем меньше, тем лучше. Просто поблагодарю и небрежно прибавлю: мол, ваш аппарат подтвердил то, что и так было мне известно. Определив тем самым разумную, как мне казалось, линию поведения, я возвратился на Линкольн авеню и вошел в дом.

Увы! Бывают супружества, в которых семена раздора

зреют, словно в мятежной стране: тщетно правители надеются мудрыми реформами успокоить недовольный народ, благополучно провести его через опасную зону; несмотря на всю их осторожность и добрую волю, все остается во власти судьбы: случится любая малость, пальнет ненароком подвыпивший часовой — и наперекор всем желаниям неминуемо вспыхнет революция. Наверно, это слишком пышное сравнение для заурядной семейной сцены, но я лишь хотел показать, что любой разговор, как и мятеж, может принять самый неожиданный оборот — увы, не в наших силах управлять ни тем, ни другим — и между двумя сверх меры чувствительными и восприимчивыми людьми из-за любого неловкого слова вспыхивает скора, которой оба вовсе не желали.

Итак, я вернулся домой, исполненный благих намерений,— и встретил самый холодный прием. Сюзанна опять стала осыпать меня упреками: и в самом деле, никогда еще я вечерами не являлся так до неприличия поздно. Когда я объяснил, что провел два часа у соседей, она только пожала плечами и намекнула, что уж наверно, тут не обошлось без Мюриэл Уилтон. Я возмущился, и (хоть убейте, не вспомню теперь, каким образом это получилось) не прошло пяти минут, как я уже со всем пылом оскорбленной добродетели выкладывал ей то, что собирался от нее скрыть.

— Уж давай тогда по порядку! — заявил я.— Мюриэл Уилтон потом, поговорим сперва об Адриане Леке.

— Об Адриане? — переспросила Сюзанна с отлично разыгранным равнодушием.— А при чем тут Адриан? Кто о нем поминает?

— Ты.. И еще с какой нежностью!

— Да ты с ума сошел! — крикнула Сюзанна так громко, что негритянка Розита заглянула в дверь, вообразив, будто ее звали.— Ты с ума сошел! Какое мне дело до

Адриана? С тех пор как мы уехали из Франции, я даже ни одной открытки ему не написала.

— Открыток, может, и не писала, а все-таки вчера вечером ты думала, что Адриан был бы в твоих делах куда лучшим советчиком, чем я... И с удовольствием вспоминала свои прогулки с ним по Сен-Ромэнской ярмарке... и некоторые жесты, которые в отношении молодой девушки по меньшей мере неуместны!

Жена, ошеломленная, мгновение смотрела на меня с таким ужасом и ненавистью, что я устыдился и вместе с тем опьянел от ощущения своей власти.

— Я?.. — пролепетала она. — Вчера вечером?..

— Да, вчера вечером, когда читала... или притворялась, что читаешь... Можешь ты мне дать честное слово, что не думала в это время о своих прогулках с Адрианом, и о ярмарочной карусели, и о каком-то синем диване?.. Ты даже говорила себе, что Адриан и нежный, и ласковый, а вот я — резкий и неуклюжий... Не отпираяся, Сюзанна, у тебя все на лице написано...

И в самом деле, видно было, что она поражена и растеряна. Дрожащим, испуганным голосом она спросила:

— Но откуда ты знаешь, Дени? Разве я думала вслух?

Быть может, мне следовало согласиться с этим не слишком правдоподобным объяснением, но я уже не в силах был хитрить и осторожничать. Я выложил все на чистоту: как ошарашил меня Хикки, открыв мне мои же мысли, рассказал про коварный самопишуший «пистолет», который я вчера наставил на Сюзанну, и про говорящую машину молодого Дарнли, и какой пыткой было для меня, в темном подвале, едва освещенном красной лампочкой, слушать однообразное бормотание — голос ее мыслей. Сюзанна слушала молча — сначала с недоверием, потом взволнованно, а потом пришла в ярость и эту ярость обрушила на меня, едва я кончил свой рассказ.

— Какой позор! Это просто подло!

— Но, Сюзанна...

— Подло и низко! Давно ли ты мне читал целую лекцию о том, что такое джентльмен? Ну а сам ты кто? Может, вчера вечером ты поступил честно? Мало того, что ты краде́ць мои мысли, жалкие остатки свободы,— в этой несчастной Америке мне только и оставалось, что помечтать, а ты даже это у меня отнял... нет, тебе все мало, ты еще выдаешь мои секреты совершенно чужим людям, иностранцам,— пускай потешаются!

— Что за вздор, Сюзанна! Дарнли не понимает по-французски, а Хикки при этом не было...

— Почему ты знаешь, может, он где-нибудь спрятался?

— Послушай, Сюзанна, Хикки — порядочный человек, джентльмен...

— Нет уж, уволь... Не желаю я слышать это дурацкое слово! А где пленка? Ты ее принес?

— Пленка?.. О, черт возьми!

Тут только я вспомнил, что оставил пленку на столе в лаборатории, рядом с психографом. Чувствуя, что виноват, я перешел в наступление:

— Ну, знаешь, Сюзанна, это просто бессовестно! Может быть, и не очень похвальным способом, но, уж во всяком случае, очень точным и совершенно безошибочным я обнаруживаю факты, которые ты от меня скрывала, хотя не имела на это никакого права, и ты же делаешь мне сцену! Это уж слишком!

— Но мне нечего скрывать! Что в этом предосудительного, если...

— ...если ты вспоминаешь ласки Адриана Леке? — сухо докончил я.

Сюзанна громко рассмеялась.

— Ну до чего мужчины глупы! Я кокетничала с Адрианом, когда мне было лет пятнадцать, от силы шест-

надцать. Прошло четырнадцать лет, у меня уже двое детей, у него трое. Я о нем и думать забыла и, право, не понимаю, что за преступление...

— Как же ты уверяешь, что и думать о нем забыла, когда я тебе доказал совсем обратное?

— Ничего ты не доказал! Меня не интересуют твои фантастические опыты, говорят тебе, я ни-ко-гда не думаю об Адриане... Просто вчера вечером у меня мелькнула мысль, потому что насчет продажи земли он и правда мог бы дать дальний совет... И опять тебе говорю, тут нет ничего плохого...

— Ничего плохого не было бы, думай ты просто о том, чтоб с ним посоветоваться... Но тут была не одна нужда в практических советах, а еще и воспоминания о весьма странной близости.

— Странной? — повторила Сюзанна. — А что тут странного? Мы с Адрианом двоюродные... он был единственный, с кем мама меня отпускала из дома... Он немножко ухаживал за мной, так ведь все молодые люди ухаживают за всеми девушками на свете... Ну и что?.. А ты сам, Дени, разве ты был святым? Вспомни-ка свою молодость. Можешь ты дать слово, что у тебя нет таких же воспоминаний? Может, ты не ухаживал за девушками, с которыми потом никогда не встречался и вовсе не хотел встречаться?

— Ну, может быть, но...

Я осекся. Сюзанна добилась тактического превосходства: теперь уже не она, а я вынужден обороняться. Мы стали разговаривать спокойнее, и странным образом (так бывает во многих домах, иные супруги даже полагают, что подобные грозы способствуют семейному счастью, ибо разряжают атмосферу) после ссоры ощутили прилив нежности друг к другу.

— Дорогая, — сказал я, — поверь, я вполне с тобой со-

гласен и вовсе не собирался тебя упрекать за твои нечаянные воспоминания... да еще о таком далеком прошлом... по дороге домой я даже решил, что ни слова тебе про все это не скажу. Но так уж получилось, ты не очень-то ласково меня встретила, ты стала злиться, ну и я тоже разозлился... Это все позади... Конечно, ты права, вся эта история не стоит выеденного яйца... Я же знаю, теперь Адриан для тебя просто не очень молодой и довольно нелепый родич, с которым иной раз приятно вспомнить детство...

— Даже и того меньше,— заметила Сюзанна.

— Верю, дорогая... Только в одном я хотел бы тебя упрекнуть, и то любя... все-таки ты слишком мало мне доверяешь... Не стану больше принимать всерьез каждую твою вчерашнюю мысль, но одно я понял: у тебя много разных тревог и огорчений... Почему же ты мне ничего не говоришь? Почему не делишься со мной?

Глаза моей жены были теперь полны слез.

— Потому что ты... ты стал какой-то далекий, Дени. Начну говорить тебе о разных интересных вещах, а ты не слушаешь, все думаешь о своих лекциях, об учениках, о политике... Я же чувствую, тебе со мной скучно... Вот я и молчу, и остаюсь одна со своим пустопорожним бабьим вздором!

— Поди сюда, Сюзанна. Садись ко мне на колени — помнишь, как бывало? — и выкладывай, что у тебя накопилось на душе.

— Ты смеешься? В тридцать-то лет! Я уже не маленькая... и не такая легонькая, как была...

В этот вечер, в постели, голова Сюзанны лежала у меня на плече и мы долго и нежно говорили по душам. Я чувствовал, что рушилась наконец разделявшая нас противоестественная преграда, и благословлял аппарат Хикки. Но не долго мне суждено было его благословлять.

После вечеринки я уснул поздно, однако наутро проснулся в обычное время и вовсе не чувствовал усталости. Напротив, встал на диво бодрый и свежий, с ясной головой, как и полагается мужчине, который мнит себя победителем, и сразу понял, что лекцию сегодня прочту с особенным блеском. Выйти из дома надо было в десять, Сюзанна еще спала, и я с ней не простился, только оставил на столе записку, напоминая, что сегодня среда и я, как всегда в этот день, завтракаю в клубе со своими коллегами — специалистами по романским языкам.

Надежда меня не обманула, я был в ударе. Темой лекции я избрал политические воззрения Бальзака. Чтобы заинтересовать молодых американцев, следовало сначала набросать общую картину — та Франция, что сложилась при старых монархиях, затем революция и империя — и уже на этом фоне определить место Бальзака, показать, сколь своеобразен он и как монархист и как католик. Материалом мне служили «Шуаны», «Темное дело», «Сельский священник», «Сельский врач», «Чиновники». Стارаясь выразить чисто французские проблемы словами, понятными моим слушателям, задеть не только их мысль, но и чувства, я испытывал живейшую радость, знакомую всякому лектору, который на протяжении часа видит перед собой увлеченные, внимательные лица. И, кончив, услышал тот радующий душу шепот, когда полсотни человек повторяют вполголоса: «До чего хорошо!» В такие дни мне кажется, что ремесло мое самое прекрасное на свете; выпадают и такие дни, когда я его проклинаю, но это случается не часто.

В то утро я жалел лишь об одном: на обычном месте я не увидел Мириэл Уилтон. Но могло ли быть иначе? Еще в четыре часа она сидела на затянувшейся вечеринке у Клинтонов и явно не собиралась уходить. Уж навер-

но, она легла на рассвете и, так же как Сюзанна, в час моей лекции спала крепким сном. Я отправился на заседание, потом вместе с коллегами позавтракал. После завтрака мы с Клинтоном прошлись пешком и, наконец, я вернулся домой, радуясь, что сейчас расскажу Сюзанне, какой успех имела сегодняшняя лекция.

К моему немалому удивлению, Сюзанну я не застал. Негритянка Розита сказала, что «миссис» уже час как ушла. Надо сказать, что жена без меня выходила очень редко: почти не владея английским, она ничего не могла одна купить, а если нужно было отдать кому-нибудь визит, по здешним обычаям я опять-таки должен был ее сопровождать. Впрочем, тревожиться о ней сейчас не приходилось, этот тихий университетский городок и его жители не таковы, чтобы тут могло случиться что-нибудь дурное. И я принялся за работу: меня просили в следующем месяце прочитать в Чикаго несколько публичных лекций о французских моралистах, надо было подготовиться.

Сюзанна вернулась в пять часов, и, едва мы обменялись несколькими словами, я понял, что настроение у нее прескверное. Всему виной вчерашняя вечеринка, подумал я: выпили лишнее, засиделись поздно... и сказал весело:

— Видишь, дружок, мы с тобой завзятые французские обыватели-домоседы, обремененные семьей, ложиться привыкли рано, где нам угнаться за американской молодежью... От этого только страдают и наши характеры и наша работа... Хотя, должен сказать, нынче утром я совсем недурно рассказал о политических взглядах Бальзака. Студенты, по-моему, были очень довольны.

— А Мюриэл Уилтон? Она тоже тобой довольна? — насмешливо спросила Сюзанна.

— Ее там не было. Наверно, она тоже не выспалась и чувствует себя неважно. В сущности, такие вечеринки никому не полезны. Человек ведь не ночная птица. С го-

дами я все больше убеждаюсь, что секрет, как стать счастливым, очень прост: надо рано ложиться и рано вставать.

— Ты, кажется, воображаешь, что тебя слушаю не я, а чикагская публика? — с неожиданной горечью сказала Сюзанна. — Уверяю тебя, в этом доме тебе незачем изрекать пошлости и комментировать моралистов.

Как я уже говорил, у нас с женой и раньше случались размолвки и ссоры, в общем безобидные, но чтобы она говорила со мной так враждебно, так презрительно... Остолбенев, я смотрел на нее во все глаза.

— Нет, правда, — сказала она, снимая шляпку. — Это просто смешно: ты берешься читать лекции о морали и с умным видом рассуждаешь о том, что надо умерять свои страсти, а на самом деле только и думаешь об этой Мюриэл Уилтон и как бы устроить с ней в Чикаго свидание.

— Я? Ты с ума сошла?!

И тут у меня мелькнула пугающая и очень правдоподобная догадка.

— Сюзанна! Неужели ты брала у Хикки его дурацкую машинку?

— А почему бы и нет? Тебе можно, а мне нельзя? Я пошла за ней, потому что ты ее там забыл. И попросила профессора Хикки, чтобы он показал мне, как она действует, и дал новую пленку..

— И он дал? Хорош гусь! Ну ничего, я ему еще скажу несколько теплых слов!

У Сюзанны вырвался короткий злой смешок.

— Нет, мужчины просто великолепны! — сказала она. — Выведать *мои* тайны, шпионить за *моими* мыслями, залезть без спроса в *мою* душу — это поступок вполне естественный, весьма интересный опыт, только и всего. Вы с Хикки проделываете все это и остаетесь «джентльменами»... А вот когда жена проникает в священные;

вернее сказать, свинские мысли мужа,— это ужасное преступление. Неужели ты сам не видишь, до чего ты смеши? До чего вы все смешны?..

Как тут оправдываться, когда ясно, что кругом виноват? Я попытался по крайней мере сохранить спокойствие.

— Сюзанна,— сказал я,— криком делу не поможешь. Скажи мне просто и ясно, что произошло? Что ты поняла? В чем меня упрекаешь? Я постараюсь на все ответить.

— Не нужны мне твои ответы,— возразила жена.— Ты мне уже ответил, откровеннее некуда. Что произошло? Очень просто. Я же сказала, вчера я пошла к мистеру Хикки и от твоего имени попросила вернуть этот... как его... психограф. И принесла домой. Конечно, я не стала заворачивать его в газеты, ты бы эту трубу сразу узнал. Но я же знаю, какой ты рассеянный, кроме книг, ничего кругом не замечаешь. И я просто завернула аппарат в нижнюю юбку и положила на столик у твоей кровати. А после этой проклятой вечеринки, пока ты в прихожей вешал пальто и шляпу, я поскорее поднялась в спальню и нажала на кнопку. Через минуту ты пришел, лег в постель и стал думать.

— О чём я думал? Честное слово, не помню!

— А я даю тебе честное слово, что до самой смерти этого не забуду. Ты думал о своей Мириэл. Ты говорил себе: «Как видно, я ей нравлюсь». Эдакая спесь! Вовсе не ты ей нравишься, а твое хваленое красноречие. Потом пробормотал: «Этот поцелуй!..» И каким тоном! А потом стал строить планы насчет поездки в Чикаго, надумал попросить ее, чтоб она тоже в это время поехала, и даже собирался отправить меня во Францию. «В сущности, Сюзанна никак не освоится в здешнем климате. Ей куда полезнее вернуться в Руан. А я приеду к ней через три

месяца». Ты ведь лицемеришь и разыгрываешь жреца морали только на людях, а наедине с собой это ни к чему. Самое смешное — или, если угодно, самое трагичное, — что вперемежку с этим ты готовился к лекциям и весьма добродетельно рассуждал о Вовенарге и Паскале... Ха! Ну и дурацкая штука этот ваш мужской ум!..

Я был совершенно подавлен и смущился тем сильнее, что вспомнил теперь, о чем говорила Сюзанна. С вечеришки я вернулся очень усталый и, как мне казалось, мгновенно уснул. А на самом деле мне грезились какие-то смутные образы, и теперь я вспомнил, что среди этого хаоса словно бы промелькнули неясные желания и даже фантастический план во время поездки в Чикаго встретиться с Мюриэл. Ни на миг я не принимал эту игру воображения всерьез. Нередко в наших снах как бы исполняются неосознанные желания, и злосчастное сновидение оказалось весьма приятной, хоть и призрачной разрядкой для чувств, которые волновали меня в тот вечер. От всего этого не осталось бы никаких следов, даже и желания, чтобы фантазия сбылась, если бы мои бредни не сохранила треклятая пленка.

— Сюзанна, а кто тебе «прочел» эту запись?

— Твой друг Хикки собственной персоной проводил меня в лабораторию и включил аппарат.

— И он все это слушал?

— Все до последнего слова. Мне пришлось краснеть, но ты сам виноват.

— Сюзанна! Это переходит все границы! Что он обо мне подумал?

— Вот-вот, ты весь в этой фразе! Самое главное — что подумал этот англичанин, а что думаю я — это тебя не интересует. Но я тебе все-таки скажу. Я думаю, что ты меня больше не любишь, ты хочешь от меня избавиться, — что ж, если так, лучше нам расстаться. Тебе угодно,

чтобы я вернулась во Францию? Я и сама хочу уехать. Уеду и начну дело о разводе.

— Сюзанна! — голос мой задрожал, и мое неподдельное волнение, видно, тронуло ее. — Не говори так, это безумие, ты сама будешь жалеть. Я тебя люблю, ты это прекрасно знаешь, и прекрасно знаешь, что и ты меня любишь. Ты захватила меня врасплох, подслушала мои мысли, как я твои, но ведь это мысли случайные, мимолетные, они ничего не значат и ничего не решают. Давай хоть завтра уедем во Францию, какое мне дело до Мюриэл Уилтон, хоть бы мне век ее не видать.

— Надо полагать, когда ты с ней целуешься, ты говоришь совсем другое.

— Я с ней не целуюсь! Ты ведь тоже не хочешь стать любовницей Адриана! Мы просто грезим иногда, и, может быть, наши грезы тем ярче, что в жизни мы разумны и верны один другому.

— Правда?! — горячо воскликнула Сюзанна. Такой пылкости я не замечал в ней с той поры, как мы полюбили друг друга. — Это правда? Ты мне верен? Ты никогда меня не обманывал?

— Никогда, Сюзанна... Да это и невозможно. Ты же знаешь, я всегда дома...

— И ты ни разу не хотел... с Анриеттой?

— С твоей сестрой? Что тебе пришло в голову? Разве я поминал ее в этой... исповеди?

— Нет, нет! Но я иногда боялась...

— Глупости! Анриетта — красавица, я смотрю на нее с восхищением. Но так восхищаешься картиной, статуей... Если б ты знала, как я тебя люблю, тебя одну, даже в те минуты, когда ненавижу тебя!..

Сюзанна не ответила. Я подошел, опустился на пол у ее ног и прижался лбом к ее коленям. Она не оттолкнула меня.

НЕ РИСКНУТЬ ЛИ ЗА МИЛЛИОН?

Джон показывал мне рисунки для июньского номера, и тут у меня на столе зажужжал зуммер.

— Все-таки он художник на диво,— сказал Джон.— Нет, правда, Берт, нам здорово с ним повезло, а ведь платим мы ему не бог весть сколько.

— Говорю тебе, мы платим ему слишком много,— сказал я, перегнулся через стол и нажал на кнопку зуммера.— Слушаю.

— Мистер Мерриан?

— Да.

— К вам джентльмен, сэр.

— Кто такой?

— Мистер Дональд, сэр.

— Кто-кто?

— Мистер Дональд.

— Не знаю никакого мистера Дональда.— Я обернулся к Джону.— Ты случайно не знаешь, кто это?

Джон покачал головой, и я вновь наклонился к зуммеру.

— Спросите, по какому делу.

— Слушаю, сэр.

Я ткнул пальцем в рисунок, который в эту минуту разглядывал Джон.

— Только начни платить им безумные деньги — в два счета вылетишь в трубу.

— Безумные? — возмутился Джон.— Да он в других журналах, что посолиднее, получает куда больше. Он ра-

ботает на нас только потому, что мы с ним когда-то вместе учились.

— Никогда не следует доверять художникам,— назидательно сказал я.— Ты и ахнуть не успеешь, как он рас才是真正онит о нашей щедрости по всему городу. У нас просто отбоя не будет от всяческих типов с папками под мышкой. А ведь всем по пятьсот долларов не заплатишь, такие деньги на улице не валяются.

— Говорю тебе, этот парень — исключение.

— Ну ладно, ладно. Ты получил то, о чем мечтал, и, надеюсь, теперь ты наконец успокоишься хотя бы лет на пять.

— Мистер Мерриан,— прервал нас женский голос.

— Слушаю.

— Мистер Дональд хотел бы получить свой миллион долларов.

— Что-о-о?

— Простите, сэр?

— Повторите то, что вы сейчас сказали.

— Я сказала, что мистер Дональд хотел бы получить свой миллион долларов.

— Вот видишь, Джон, уже начинается. Говорил я тебе: художникам доверять нельзя. Ну, с этим я живо разделяюсь.— Я снова повернулся к зуммеру.— Впустите мистера Дональда. Только пусть оставит у вас свою папку.

— У него нет никакой папки, сэр.

— Неважно, пусть пройдет ко мне.

Я со злостью выключил зуммер и свирепо взглянул на Джона. Он равнодушно пожал плечами, словно говоря: я-то тут при чем? Я всего-навсего главный художник.

Я откинулся в кресле и ждал, глядя на дверь. Наконец она отворилась, вошел высокий худощавый человек и сразу же заморгал, ослепленный солнцем, которое

заливало комнату сквозь легкие занавески. Потом заслонил глаза ладонью и сделал несколько осторожных шагов к моему столу.

— Мистер Дональд? — спросил я.

— Да, сэр, — сказал он нерешительно.

— Рад познакомиться. Я — Берт Мерриан, издатель журнала «Принц», а это Джон Гастингс, главный художник издательства. Садитесь, прошу вас.

— Спасибо, сэр, это очень любезно с вашей стороны... принимая во внимание...

Он прошел через всю комнату и сел в кресло перед моим столом. Черные косматые брови нависали над синими, почти фиалковыми глазами. Он непрестанно хмурился, и глаза лишь изредка выглядывали из-под бровей, точно матовые лампочки из-за темных штор. Тонкий нос рассекал костлявое лицо словно ударом мачете. Губы были решительно сжаты. Сразу видно, человеку предстоит дело не из приятных. На художника он уж никак не походил.

— Ну-с, — весело начал я, — чем могу быть вам полезен, мистер Дональд?

Все эти приготовления к казни начинали меня забавлять. Еще немного — и голова его скатится с плеч!

На лице мистера Дональда мелькнула почти застенчивая улыбка.

— Я хотел бы получить миллион долларов, — сказал он.

— Все хотят, — усмехнулся я.

Мистер Дональд приподнял брови и посмотрел на меня с явным удивлением.

— Да, наверно, — отозвался он. Потом тоже хихикнул, за ним Джон, и мы все трое немного посмеялись. Наконец я кашлянул и прекратил этот смех.

— А каким, собственно, образом вы... э-э-э... намерены получить этот миллион? — спросил я с приятнейшей улыбкой.

Косматые брови снова взлетели вверх.

— Ну... от «Принца», конечно.

— Ах, от «Принца», — повторил я, повернулся к моему главному художнику и многозначительно повторил еще раз: — От «Принца», Джон!

— Да, — подтвердил мистер Дональд.

— Да, — повторил я. — А за что именно? Может быть, вы нам объясните, за что?

— Извольте, — отозвался мистер Дональд, располагаясь в кресле поудобнее. — Разумеется, за полет на Луну.

— Куда?!

Мистер Дональд ткнул пальцем в потолок.

— На Луну. Вы же знаете.

— На Луну? Луна, говорите? Лу-на? Спутник Земли? Одним словом, та самая Луна?

— Угу, — сказал мистер Дональд и покивал головой. Я наклонился к Джону и зашептал:

— Мы за последнее время писали что-нибудь про Луну?

Джон покачал головой.

— Что за чушь он порет, этот тип?

Джон опять покачал головой. Я со вздохом обернулся к мистеру Дональду.

— М-м... Что, собственно, вы имеете в виду? Какой полет? — спросил я, делая вид, что все понял.

Мистер Дональд застенчиво пожал плечами.

— Ну... Мой, конечно.

— Ваш? То есть как?

Мистер Дональд опять ткнул пальцем в потолок.

— Я летал на Луну.

— Ах вот оно что, — сказал я.

— Да,— подтвердил мистер Дональд и опять покивал головой.

Я бросил быстрый взгляд на Джона, он ответил мне таким же тревожным взглядом. Оба мы одновременно начали подумывать, что у мистера Дональда, пожалуй, не все винтики на месте.

Посетитель еще раз пожал плечами.

— Так вот,— сказал он небрежно,— я и пришел за своим миллионом. Если вы сейчас мне его дадите, я тут же уйду.

— Значит, вы полагаете, что мы должны вам миллион долларов?

— Конечно,— ответил мистер Дональд.

— Но... почему, собственно?

— А-а-а, верно, это было еще до того, как вы стали издателем,— сказал мистер Дональд. Он порылся у себя в бумажнике и вытащил оттуда тщательно сложенный лист бумаги. Бумага была глянцевая, и на ней что-то было напечатано. Мистер Дональд положил ее на стол и стал бережно и неторопливо разворачивать. Наконец он развернул лист, разгладил его загорелой рукой и с удовлетворением откинулся в кресле.

— Вот,— сказал он.

Я посмотрел на бумагу и заметил, что внизу был вырезан прямоугольник. Я в свою очередь пожал плечами и перевел взгляд на то, что было напечатано вверху.

ЖУРНАЛ «ПРИНЦ» ...СЕНТЯБРЯ 1926 г.

— Я это вырезал, когда был объявлен конкурс,— пояснил мистер Дональд.

Я еще раз взглянул на вырезку. Сентябрь 1926 года. Черт побери, пятьдесят лет назад! Я принялся читать всю страницу.

ВНИМАНИЕ! ВАЖНОЕ СООБЩЕНИЕ!
ВНИМАНИЕ! ВАЖНОЕ СООБЩЕНИЕ!
ВНИМАНИЕ!

Теперь, когда вы прочитали нашу статью «Итак, вы надеетесь добраться до Луны», издатели «Принца» намерены сделать вам поразительное, неслыханное предложение!

За спиной у меня ахнули, и я понял, что Джон читает вырезку через мое плечо и что его ошеломила та же страшная мысль, что и меня. Точно околдованный какой-то неодолимой силой, я впился глазами в протертую на сгибах ветхую страницу старинного номера нашего журнала.

«Принц» готов подкрепить свои выводы звонкой монетой! Мы уплатим ОДИН МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ (\$ 1 000 000)!

ОДИН МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ первому частному лицу, которое достигнет Луны и вернется на Землю живым и невредимым.

У меня закружилась голова. Я ухватился за край стола и заставил себя дочитать страницу до конца. Мистер Дональд наблюдал за нами, расплываясь в счастливой улыбке.

Правила конкурса очень просты:

1. Все претенденты должны быть гражданами Соединенных Штатов Америки.
2. Полет на Луну должен быть совершен не позднее чем через пятьдесят лет после настоящего объявления.
3. Купон, напечатанный под этим объявлением, должен быть выслан в журнал «Принц» по почте не позднее 15 октября 1926 г.
4. Служащие или родственники служащих государственных учреждений не имеют права участвовать в данном конкурсе...

- Я не то и не другое,— сказал мистер Дональд.
- Вы хотите сказать — не родственник,— слабым голосом отозвался я.
- И не служащий.
- Я так и подумал.
- Мистер Дональд блаженно потянулся.
- Ну как, могу я теперь получить мой миллион?
- Гм... э-э-э...
- Я с надеждой посмотрел на Джона.
- На это нужно время,— мигом нашелся Джон.
- Да-да, конечно,— подхватил я.— На это нужно время.
- Гм,— сказал теперь мистер Дональд.
- Нам... нам прежде всего нужно удостовериться, что ваш купон сохранился в архиве журнала,— сказал Джон.
- Конечно,— вставил я.
- Он сохранился,— сказал мистер Дональд, снова вытащил свой бумажник и положил перед нами небольшую карточку. Я вздрогнул и взял ее в руки. Там стояло:

Сим удостоверяется, что

**мистер Дональд сего 28-го дня
октября 1926 г. вступил в число участников кон-
курса «Полет на Луну», объявленного журналом
«Принц». Если же мистер Дональд станет первым частным лицом, которое дос-
тигнет Луны и вернется на Землю живым и невре-
димым, журнал «Принц» уплатит ему сумму один
миллион долларов (\$ 1 000 000) денежными зна-
ми Соединенных Штатов Америки.**

Издатель журнала „ПРИНЦ“

ДЖЕЙ ДЖЕФФРИ ТРИМБЛ

— Нам, разумеется, нужны будут доказательства,— торжествующе сказал я и через стол перебросил ему карточку обратно.

— Они у меня есть.

— Что ж, тащите,— подхватил хитроумный Джон.— Тогда и видно будет насчет миллиона долларов.

— Разумеется,— согласился мистер Дональд и встал.— Завтра они будут в вашем распоряжении.

— Завтра мы не работаем,— чуть не закричал я.

— Значит, в понедельник. Мне не к спеху.

— Никому не к спеху,— сказал я без всякого воодушевления.

Мистер Дональд направился к двери и широко распахнул ее.

— До скорого, друзья! — крикнул он и весело помахал нам рукой.

Он вышел из кабинета, и дверь за ним закрылась. Я поспешил наклонился к зуммеру на столе.

— Слушаю, сэр?

— Мисс Дэвис, мне срочно нужна подшивка журнала за сентябрь 1926 года.

— Простите?

— Неужели я неясно выражаюсь? За сентябрь...

— Да, сэр. Сию минуту, сэр.

Я выключил зуммер и быстро обернулся к Джону. Тот беспокойно шагал по комнате, ломая пальцы.

— Немало всякого я слыхивал про Тримбла,— сказал я.— Говорят, он вообще был какой-то полоумный. Говорят, на все был готов, лишь бы журнал получше расходился.

— Но ведь всему есть предел! — простонал Джон.

— Да, конечно,— сказал я.— Миллион долларов! Господи, сделай так, чтобы это была неправда!

— Боюсь, что это все-таки правда,— жалобно произнес Джон.— Очень боюсь.

Дверь отворилась, и в комнату ввалилась обессиленная мисс Дэвис, прядь белокурых волос свисала ей на глаза.

— Вот, сэр! — сказала она. И протянула мне маленькую металлическую коробочку.

— Что за черт... — начал было я.

— Микрофильм,— гордо объявила она.

— Дайте сюда! — рявкнул я.

Мисс Дэвис подала мне коробочку и вышла. Джон кинулся к стенному шкафу, рывком открыл его, достал портативный проектор, водрузил его ко мне на стол, я вставил первую фотографию и прильнул к окошечку. Это была обложка старого номера «Принца». На ней полууголый мужчина боролся с совершенно голым крокодилом. По всему верху обложки кроваво-красные буквы возвещали: «ПРИНЦ ПРЕДЛАГАЕТ ОДИН МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ ТОМУ, КТО ПЕРВЫМ ДОСТИГНЕТ ЛУНЫ!»

— Значит, это правда! — простонал Джон.

— Так я и знал! Так я и знал!

— Прочтем статью?

— Зачем? Все правда. Джон, мы пропали!

— Но должна же быть хоть какая-нибудь лазейка!

— Давай посмотрим еще раз ту страницу.

Я пробежал глазами несколько фотографий и наконец добрался до объявления о конкурсе. Я вытащил его из пачки и вставил в проектор. Это была та самая страница, которую показывал нам мистер Дональд.

— Должна же быть хоть какая-нибудь лазейка,— повторил Джон.

— Какая? Где?

Джон многозначительно прищурился.

— Какая-нибудь лазейка всегда найдется.

Я нажал на кнопку зуммера.

— Да, сэр?

— Позвоните Стейну, моему адвокату. Скажите, что я прошу его приехать немедленно. И просмотрите все личные дела сотрудников; не работал ли кто-нибудь в журнале еще при Тримбле, в 1926 году?

— В 1926 году, сэр?

— Дорогая моя, неужели я должен десять раз повторять вам каждое слово?

— В 1926 году, сэр. Сию минуту, сэр.

Мисс Дэвис отключилась, и через несколько минут я опять услышал ее голос:

— Мистер Стейн у телефона, сэр.

— Не соединяйте меня. Скажите, чтобы сейчас же ехал сюда.

— Слушаю, сэр.

— Что же теперь делать? — спросил Джон.

— Понятия не имею. Ты думаешь, этот старый псих в самом деле побывал на Луне?

— Исключено! — твердо объявил Джон. — Держу пари на миллион долларов, что никто...

— Ради бога!

— Извини, — пробормотал Джон.

Зажужжал зуммер, и я нажал на кнопку.

— Да?

— У нас тут работает один человек, сэр...

— Отлично, — сказал я. — И пусть себе работает на здоровье...

— Я хочу сказать, что он работает у нас с 1926 года.

— Ах вот что. Как его фамилия?

— Молтер. Эфраим Молтер.

- В каком отделе?
- В отделе распространения.
- Сколько же ему лет?
- Девяносто четыре, сэр. Конечно, ему уже давно пора бы уйти на пенсию, но, как ни странно, он предпочитает работать.
- Он и теперь в отделе распространения?
- Да, сэр. Сидит там с 1926 года.
- Давайте его сюда, живо!
- Слушаю, сэр.

Отдел распространения находился прямо под нами, и я никак не мог понять, почему Эфраим Молтер так долго карабкается на один этаж; тем более что я просил поживее. Но, увидав его, я сразу все понял. Дверь вдруг открылась, и он явился на пороге, чуть покачиваясь, точно сухой листок на осенней ветке. Я с тревогой взглянул на вентилятор, а Джон поспешно нажал на кнопку «стоп»: неровен час старца засосет воздушной струей.

- Мистер Молтер? — спросил я.
- Да, сэр, мистер Тримбл.
- Я не Тримбл, — объяснил я. — Я Мерриан, новый издатель.
- Как? Не можете ли вы говорить чуть погромче, мистер Тримбл?

И старик заковылял к моему столу.

- Я вовсе не Тримбл! — заорал я.
- Как-как, простите? — переспросил Молтер, поптичи склонив голову набок. В его внешности поражали на удивление черные волосы, голубые глаза слезились, и разговаривал он самым дурацким манером, вздергивая одну бровь.

— Ладно, неважно,— ворил я.— Что вы знаете о полете на Луну?

— Прекрасная мысль, мистер Тримбл,— отозвался он.— Я с самого начала так думаю. Миллион долларов! Вот уж это реклама так реклама!

— А какие у фирмы гарантии? — спросил я.— Как они собирались добыть миллион долларов, если кто-нибудь поймет их на слове?

— Как это поймет?

— Возьмет и полетит на Луну.

— Кого поймет?

— Нас. Наш журнал.

— На Луну? Да что вы, мистер Тримбл! Кто же это доберется до Луны? Черт возьми, да я готов побиться об заклад на миллион дол...

— Ладно, ладно! — заорал я.— Так какие, говорите, у фирмы гарантии?

— Прекрасно,— отвечал старик.

— Что прекрасно? О чем вы говорите?

— У фирмы прекрасная агентура. Разнообразные издания. Все будет хорошо, мистер Тримбл.

— А, черт подери!

— Как вы сказали?

Он снова склонил голову набок.

— Выслушайте и попытайтесь меня понять. К какой-то болван утверждает, что он побывал на Луне. И требует с нас миллион долларов. Где нам их взять?

Эфраим Молтер развел руками.

— Да вам-то что, мистер Тримбл? Это уж забота страховой компании, вам-то о чем беспокоиться?

— Вот именно! — завопил Джон.

Я от восторга прищелкнул пальцами и сгреб Молтера в охапку.

— Ну разумеется! Старина Тримбл ни за что не стал бы так рисковать! Страховая компания! Конечно! Конечно!

Я выпустил Молтера из своих объятий, и он чуть не свалился на пол, но кое-как выпрямился, и тут я спросил его в упор:

— Какая?

— Что какая, сэр?

— Какая страховая компания?

— А-а... Дайте подумать.

— Ну, думайте,— поторопил я.

— Да хорошенько,— добавил Джон.

Молтер вдруг захлопал в ладоши.

— Деррик и Дерриксон! Вспомнил, вот это кто!

— Слава тебе господи,— пробормотал я.— Теперь можете идти, мистер Молтер.

— Как вы сказали, сэр?

— Я сказал, можете идти.

— Что?

Я вышел из-за стола и взял старика под локоть.

— Идите,— сказал я.— Идите. Обратно в отдел распространения. Идите к себе. До свидания.

Я довел его до порога и аккуратно выставил за дверь.

— Благодарю вас, мистер Тримбл,— сказал он мне.

— Не за что.

— Как вы сказали?

Я повернулся к нему спиной, и дверь захлопнулась перед самым носом изумленного старца. Джон уже торопливо листал телефонный справочник.

— Нашел,— сказал он наконец.— Деррик и Дерриксон, двадцать три филиала.

— А где ближайший?

— Пятая Авеню, угол Тридцать восьмой улицы.

— Звони сейчас же, Джон. Договорись о встрече. А я бегу прямо туда.

— Ясно,— коротко ответил Джон.

Я пошел к двери, на пороге обернулся и, сознавая всю значительность минуты, поглядел на Джона. Тот напутственно поднял руку.

— Ни пуха ни пера, Берт!

— К черту! — пробормотал я.

И дверь за мной закрылась.

Питер Дерриксон оказался весьма впечатляющим мужчиной в традиционном синем костюме. Волосы у него были белые как снег, над белоснежными усами нависал массивный нос.

Хорошенькая рыжеволосая секретарша провела меня в его просторный кабинет, и он указал мне на кресло возле стола.

— Мне показалось, ваш главный художник чем-то встревожен,— сказал Дерриксон мощным гулким басом, точно выступал по радио перед всем американским народом.

Я поморщился.

— Он, знаете, вообще нервный.

Еще по дороге сюда я решил держаться с ним поосторожнее. И сейчас, пока Дерриксон, открыв ящик, придирчиво выбирал толстую сигару, я украдкой к нему присматривался. Но вот он сунул сигару в рот, отгрыз кончик, повернулся и без всяких церемоний сплюнул куда-то за мою спину. Огрызок просвистел у меня возле самого уха, и я даже глаза вытаращил. Но Питер Дерриксон словно и не заметил моего изумления.

— Итак,— прогудел он,— чем вы озабочены, сэр?

— Когда издателем журнала «Принц» был Тримбл, он заключил с вами страховой договор,— сказал я.

Дерриксон чиркнул спичкой и с удовольствием затянулся; голова его тотчас скрылась в клубах дыма. Потом дымно дохнул на спичку и погасил ее. И сквозь дым загромыхал его голос:

— У нас много клиентов.

— Этот договор был на один миллион долларов.

Дерриксон снова затянулся, и я тщетно пытался разглядеть его лицо сквозь дымовую завесу.

— Многие клиенты застрахованы у нас на миллион долларов,— прогудел голос из дымного облака.

— Наш журнал застраховался от путешествия на Луну.

Из дымного облака вынырнула седая голова.

— А-а, так вы про ту дурацкую рекламу.

— Да,— сказал я.

— Помню, помню,— прогремел Дерриксон своим оглушительным басом.— Ну и что произошло с этой страховкой?

Голова его вновь скрылась в клубах дыма, и мне опять пришлось обращаться к зыбкой дымовой завесе.

— Об этом-то я и хотел вас спросить. Так что же с ней произошло?

— Вот это вопрос! — прогудел Дерриксон.— Помоги, срок полиса уже истек.

— Истек? — упавшим голосом переспросил я.

— Ну да, истек,— гудел Дерриксон.— Как сейчас помню тот день, когда Тримбл заявился ко мне с этой идеей. «Валяйте,— сказал я ему.— Пока мы живы, ни одно частное лицо и не подумает добраться до Луны, мистер Тримбл. Еще военные или какие-либо специально обученные люди — куда ни шло, но частное лицо — и думать нечего. Пожалуйста, я выдам вам страховой

полис на один миллион долларов и уверен, что ничем при этом не рискую». Вот что я ему тогда сказал.

— А теперь срок страховки истек?

— Да, как будто так. Собственно, я в этом уверен. Тримбл давно перестал платить взносы. Уж не знаю почему. Вносить-то надо было чистые пустяки.

— А... сколько именно?

— Я же вам сказал! — закричал Дерриксон. — Сущие пустяки! Вы что, молодой человек, туговаты на ухо или как?

— Нет, нет. Я... Мне просто хотелось узнать, как давно истек срок страховки.

— Лет семь назад. А что?

— Нет, я просто подумал... А можно уплатить взносы за все эти годы и возобновить полис?

— Право не знаю. А зачем это вам? Может, боитесь, что кто-нибудь доберется до Луны раньше, чем наше правительство или русские?

Неизвестно почему, но мысль эта показалась Дерриксону очень забавной. Он громко засмеялся за своим облаком дыма, и я засмеялся вместе с ним.

— Бог ты мой, да вы такой же чудак, как старый Тримбл. Но он, видно, одумался, потому и перестал платить взносы. Нет уж, сынок, ни одно частное лицо и ногой не ступит на Луну, по крайней мере нам с вами до этого не дожить.

— Вы уверены?

— Уверен? — гремел Дерриксон. — Черт возьми, конечно, уверен!

— В таком случае позвольте нам уплатить взносы за все эти годы и восстановить нашу страховку.

Голова Деррикsona снова вынырнула из дыма, и он как бы нацелил на меня свою вонючую сигару.

— Конечно, — сказал он. — А почему бы и нет?

— Вот и прекрасно. Так сколько мне нужно уплатить за все эти годы?

Дерриксон вновь откинулся на спинку кресла, и дым опять поглотил его.

— Пятьсот долларов в год, — сказал он.

— И срок истек семь лет назад?

— Совершенно верно. Если вы хотите покрыть всю задолженность, вам придется уплатить сразу три тысячи пятьсот долларов. И еще мы бы хотели получить взносы за будущий год тоже, авансом. Итого ровно четыре тысячи.

— Устроит вас чек за моей подписью? — спросил я и полез во внутренний карман.

— Разумеется. Но к чему так торопиться?

— Мне хотелось бы покончить с этим делом сейчас же. Терпеть не могу, когда что-то висит над душой.

Теперь, когда я готов был выложить деньги, Дерриксон огромными руцищами отогнал от лица дым. Густые сизые струи поплыли по комнате.

— Выписывайте чек на компанию «Деррик и Дерриксон». Четыре тысячи долларов.

Он нажал на кнопку селектора и закричал:

— Принесите папку журнала «Принц»!

— Слушаю, сэр.

Дерриксон открыл нижний ящик стола и вытащил печатный бланк; вверху стояло: «ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПОЛИСА». Он вздохнул и отвинтил колпачок авторучки.

— Как только я это подпишу, — сказал он, — вы снова будете полностью застрахованы. — Он громко хихикнул. — От неожиданного путешествия на Луну.

Я закивал и торопливо сунул ему чек. Потом взглянул на часы.

- Ну что же вы, подписывайте,— сказал я.
- Сначала нужно заполнить кое-какие графы. Для этого мне и понадобилась папка вашего журнала.
- Может, я могу дать вам все сведения?
- Ну нет. Нужны документы.

Дерриксон пососал сигару и досадливо поморщился — она погасла. Он положил перо, снова зажег сигару и принялся опять изничтожать остатки свежего воздуха в комнате. Через несколько минут вошла рыжая секретарша с папкой в руках.

— Сэр... — начала она.

— Одну минуту, мисс Фрилей.

Она терпеливо остановилась у стола и улыбнулась мне. Дерриксон проворно списывал из папки нужные данные, время от времени выглядывая из дымного облака.

— Ну вот,— сказал он наконец.— Теперь остается только поставить мою подпись...

— Сэр... — опять сказала рыжая, и я вдруг люто ее возненавидел.

— Одну минуту, мисс Фрилей,— сказал Дерриксон.

— Сэр...

— Какого черта, мисс Фрилей, в чем дело?

Я не отрываясь смотрел на его перо, повисшее над бумагой.

— Может быть, вы сначала подпишете... — сказал я.

— Извините, сэр,— сказала рыжая,— я вовсе не хотела вам мешать. Но случилось необыкновенное событие.

— Что такое?

Дерриксон положил перо, с него на бланк упала крошечная капелька чернил. Он вопрошающе поднял глаза.

— Человек слетал на Луну! — взволнованно объявила рыжая.

Дерриксон стиснул в зубах сигару и схватил перо, словно бумага под ним загорелась.

— Что-о-о-о? — загремел он.

— Да, сэр, это уже во всех газетах и по радио тоже. Его зовут Эймос Дональд. Я в жизни не видала такого обаятельного...

Дерриксон медленно повернулся ко мне вместе с креслом, густые клубы дыма рвались у него из ноздрей и из углов рта.

— Вы... уже... знали, — с расстановкой сказал он.

— Нет, мистер Дерриксон, не знал, — мигом нашелся я. — Для меня это полнейшая неожиданность. Ну просто полней...

— Вон! — завизжал Дерриксон. — Вон отсюда, а не то я...

— Но, мистер Дерриксон...

— Вон отсюда, подонок ты эдакий!

— Но...

— Вон, ты... ты... жулик!

Я вскочил и кинулся к двери, а за моей спиной рыжая невинно спросила:

— Разве я что-нибудь не так сказала, мистер Дерриксон?

Еще спрашивает!

На следующий день Эймос Дональд приволок доказательства. Он прихватил с собой и репортеров с фотографиями, и все комнаты редакции оказались битком набиты — такого у нас сроду не бывало.

Дональд принялся выкладывать мне на стол свои доказательства, одно за другим.

— Вещественное доказательство номер один,— объявил он.— Туф. Взят с поверхности Луны.

— А откуда это видно? — спросил Джон.

— Дайте ученым, пускай проверят. На Луне нет атмосферы. Нет эрозии. Нет выветривания. Пусть сравнят с земным туфом. Все так и есть, без подделки.

— Ладно, номер один,— устало согласился я.

— Вещественное доказательство номер два — серебро. Тоже с Луны.

И он грохнул на стол кусок серебра величиной с мою голову.

— Номер два,— подтвердил Джон.

Теперь Дональд поднял мешок. Мешок был большой, и поднимать его пришлось обеими руками. Дональд вывернул его, и на красное дерево посыпалась всякая всячина.

— Вещественное доказательство номер три — лунная пемза. Из кратера Архимеда. Без обмана, уж поверьте.

Мы с Джоном переглянулись. Оба мы думали в ту минуту об одном и том же — о казне «Принца», которая насчитывала двадцать одну тысячу четыреста пятьдесят шесть долларов и тридцать один цент. До миллиона долларов далековато. Прямо-таки очень и очень далеко.

Мистер Дональд открыл чемодан и вынул оттуда нечто бесформенное, состряпанное из нейлона и резины.

— Мой космический скафандр, в нем я ходил по Луне,— преспокойно пояснил он.

В комнате поднялся гомон, засверкали вспышки магния. Я посмотрел на скафандр и на гермошлем, который виднелся в глубине чемодана.

— У меня их два,— сказал Дональд.— Один запасной. Он у меня там, на корабле.

— Где-где? — переспросил я.

— Да на корабле же. На котором я летал,— пояснил мистер Дональд.— Ведь тут уж без корабля не обойдешься, знаете ли.

— Конечно,— подтвердил Джон и кивнул.— Без корабля тут никак не обойтись, Берт.

— Да, разумеется.

— А вот это я приберег на закуску,— сказал мистер Дональд.— Вещественное доказательство номер восемнадцать.

— Восемнадцать?

— Ну да, у меня ведь их полно.

Он показывал еще и еще — богатейший улов для репортеров и фотографов. Наконец он выложил все, до последнего камушка, и у меня на столе скопилось больше образцов, чем в геологическом отделе музея естественной истории. И он уверял, что привез все это с Луны. И еще он уверял, что некоторые из этих минералов — химические соединения, которые существуют только на Луне, где нет ни воздуха, ни воды. Наконец он удалился в сопровождении целой оравы репортеров, а мы с Джоном в ужасе и отчаянии вызвали ученых, которые согласились дать заключение обо всей его добыче.

Джон похлопал меня по плечу.

— Я тебя в беде не оставлю, Берт,— сказал он.— Уж если пропадать, так вместе.

— Спасибо, старина. Я очень это ценю,— сказал я.

В глазах у Джона блеснули слезы, но, может быть, это мне только показалось.

Зато, когда ученые произнесли свой приговор, уж у меня-то в глазах стояли самые настоящие слезы.

Тот из них, что держал речь, с шумом втянул носом воздух, как гончая, и объявил:

— Никаких сомнений. На Земле мы никогда неви-

дели ничего подобного. Если прибавить к этому фотографии, так любезно предоставленные нам мистером Дональдом...

— Что-что? Как вы сказали?

— Фотографии,— повторил оратор.— Те самые, что мистер Дональд привез с Луны. Он был так любезен, что прислал их прямо нам. Считал, что они нам помогут прийти к правильному заключению. Они тоже, вне всякого сомнения, подлинные. Самые мощные наши приборы никогда не смогли бы сфотографировать поверхность Луны с такими подробностями. Итак, повторяю: эти фотографии вкупе с образцами не оставляют ни малейшего сомнения в том, что мистер Дональд действительно побывал на Луне.

Оратор смущенно откашлялся.

— Мы... э-э-э... Мы хотели бы дать вам совет, мистер Мерриан.

— Какой?

— Уплатите мистеру Дональду его миллион долларов.

Мистер Дональд приберег свой космический корабль напоследок. Мы с Джоном настояли на том, чтобы осмотреть его потихоньку, без репортеров. Дональд согласился: ведь теперь его миллион был почти у него в руках. К тому же он хотел отнести туда свой скафандр и весь набор вещественных доказательств. В кабине он повесил скафандр в шкаф рядом с запасным, убрал на место экспонаты и устроил нам подробнейшую экскурсию по кораблю.

— Единственный в своем роде,— гордо заявил он.— Я его строил целых двадцать лет. Другого такого нет на свете.

— Наверно, им очень трудно управлять,— заметил я.

— Ничуть,— возразил мистер Дональд.— Напротив, ничего не может быть легче. Вот смотрите: в него вмонтирован орбитный вычислитель. Я-то хотел лететь только на Луну. Так что мне оставалось при помощи вот этих кнопок задать машине год и день полета, а она сама вычислила, где в этот день и час находится Луна и по какой орбите надо лететь. Потом я включаю зажигание и корабль летит,— он многозначительно поднял палец вверх,— прямиком на Луну.

— Значит, это было не сложно,— сказал Джон.

— Проще простого. На этой малютке ничего не стоит добраться до любой планеты. Кто угодно с этим справится без малейшего труда.

— Что ж,— сказал я Джону.— Видно, придется выдать ему его миллион.

— Видно, так,— устало согласился Джон.

— Теперь нам, пожалуй, пора обратно в редакцию. Позвоните нам завтра, мистер Дональд, ваш чек будет готов.

— Надеюсь, теперь вы больше не сомневаетесь?

— Нет, конечно,— сказал я и слабо улыбнулся.— Как же иначе? Всё нас убедили.

Мистер Дональд просиял. Он вывел нас из кабины, и мы спустились по трапу. Взлетная площадка была пустынна, и под черным беззвездным небом мы зашагали к ожидавшему нас автомобилю.

— Как-то пусто тут у вас,— заметил Джон.

— Так и должно быть,— ответил мистер Дональд.— Ведь реактивная струя — штука опасная. Люди могут пострадать.

— Ну, понятно,— сказал я.

— Угу,— промычал Джон.

В молчании мы вернулись в город.

У самой редакции мистер Дональд вышел из машины.

— Надеюсь, вы приготовите мне чек к завтрашнему дню, — сказал он. — Я собираюсь слетать туда еще разок. А с Луны, может, махну на Марс. Но для этого понадобятся всякие припасы, прорва всего. Часть моего миллиона как раз на это и пойдет.

— А как насчет горючего? — спросил Джон.

— У меня там полные баки. Вот только получу деньги, закуплю все, что надо, — и можно лететь.

Я вспомнил наш тощий банковский счет — двадцать одна тысяча четыреста пятьдесят шесть долларов и тридцать один цент — и подумал, много ли припасов накупит на них мистер Дональд. Джон поглядел на меня, и я понял, что и он думает о том же.

— Что ж, спокойной ночи, мистер Дональд, — сказал я.

— Доброй ночи, друзья. Завтра увидимся.

— Ну ясно! — крикнул Джон уже ему вдогонку.

Тут мы с Джоном поглядели прямо в глаза друг другу и оба расплылись до ушей.

— А вдруг мы с тобой дурака свалили? — озабоченно спросил меня Джон два дня спустя.

— А миллион долларов у тебя есть?

— Это после всех-то расходов? Черта с два, скажи спасибо, если у нас осталась хоть тысяча.

— Значит, все правильно, — просто сказал я.

— Да, видно так.

— Быют — беги.

— А вдруг он нас догонит?

— Никогда в жизни, — ответил я. — Как ни говори,

он уже стариk. И потом, мы ведь можем лететь куда угодно — у нас богатый выбор.

— И вполне можем основать новый журнал, — с надеждой сказал Джон. — Где-нибудь в другом месте.

— Ясно, и волноваться не о чем.

Мы откинулись на спинки кресел и с наслаждением потянулись.

Трюмы битком набиты, баки полны горючего, и космический корабль послушен и кроток, как дитя.

Мы откинулись в наших креслах и смотрели, как среди звезд плывет нам навстречу Луна.

КОРОЛЬ В ХОРМ ЭЛЬ-ХАГАРЕ

Это произошло в Хорм эль-Хагаре, за Долиной царей, на раскопках дворца Менефтаха II.

Руководитель раскопок Жан Леклерк, очень талантливый уже немолодой ученый, получил письмо от секретаря Управления по охране древностей, в котором тот сообщал о предстоящем важном визите: раскопки посетит известный зарубежный археолог граф Мандранико и ему следует оказать наилучший прием.

Леклерк не помнил археолога по фамилии Мандранико. Вмешательство Управления по охране древностей, подумал он, вряд ли объясняется подлинными заслугами этого человека перед наукой — просто у него есть какой-нибудь высокопоставленный родственник. Однако это не вызвало у Леклерка досады, скорее наоборот. Уже дней десять он томился в одиночестве: помощник его уехал в отпуск. Мысль, что он увидит в этой глухи новое лицо, человека, которого могут хоть немного заинтересовать его старые камни, была ему даже приятна. Как истый джентльмен, он отправил грузовичок за продуктами в самый Акхимим, а на дощатой террасе, откуда открывался вид на весь район раскопок, устроил столовую — получилось даже-изысканно.

И вот наступило то летнее утро, душное, наполненное тяжелым зноем; и, как всегда в пустыне, вместе с новым днем в душе родилась несмелая надежда, которая — увы! — рассеивается под лучами солнца. Накануне на

краю второго внутреннего двора, где громоздились бесформенные глыбы обрушившихся колонн, показалась из-под песка стена с весьма интересной надписью. До сих пор для ученых оставалось загадкой царствование Менефтаха II — именно о нем говорилось в этих строках, пришедших из тьмы веков. «Дважды цари, носившие имена севера и болот, приходили и простирались перед фараоном, его могуществом, жизнью, здоровьем и силой,— речь шла, по-видимому, об изъявлении покорности мятежными властителями номов Нижнего Нила,— и, побежденные, ожидали его у двери храма. На них были новые, умощенные благовониями парики, в руках они несли венки из цветов, но глаза их не могли вынести источаемого фараоном света, уши — его голоса, руки и ноги их дрожали, когда он отдавал приказания, слова застrevали в горле при виде великолепия Менефтаха, сына Амона — жизни, здоровья, силы...» Ученый про-работал при свете керосинового фонаря всю ночь, но дальше надпись расшифровке не поддавалась.

Леклерку эта находка доставила подлинную радость, хотя он уже не придавал своим научным открытиям, своей славе такого значения, как прежде. Там, на востоке, где несла свои воды невидимая река, терялась среди занесенных песком скалистых террас автомобильная дорога. Всматриваясь в бескрайнюю даль, археолог предвкушал удовольствие объявить гостю о своей находке — так ожидаем мы минуты, когда сможем сообщить ближнему радостную новость.

Еще не было восьми утра, когда он увидел на горизонте легкое облачко. Оно поднялось, потом опустилось, вновь заклубилось, становясь все плотнее и вздымаясь все выше в недвижном прозрачном воздухе. Вскоре дуновение ветерка донесло шум мотора — автомобиль с заморским гостем был уже близко.

Леклерк ударил в ладоши и подал знак двум прибывшим феллахам. Они бросились к ограде и распахнули тяжелые ворота. Машина въехала на территорию раскопок. Леклерк с легкой досадой заметил на ней знак дипломатического корпуса. Автомобиль остановился почти прямо перед ним. Первым выскочил вылощенный молодой человек — Леклерку показалось, что он уже когда-то встречался с ним в Каире; затем вышел высокий смуглый господин с серьезным, даже скорбным выражением лица; наконец с большим трудом вылез поддерживаемый смуглым господином маленький сухонький старичок с физиономией абсолютно невыразительной, в складках и морщинах, как у черепахи. Леклерк понял, что это и есть высокий гость. Опираясь на трость, граф Мандранико направился к раскопкам. Леклерка, казалось, никто не замечал, хотя он, с его импозантной внешностью, одетый в белый просторный костюм, должен был бы сразу привлечь внимание. Наконец к нему подошел вылощенный молодой человек и объявил по-французски, что он, лейтенант дворцовой гвардии Афге Кристани, и барон Фантин (по-видимому, он имел в виду смуглого господина) имеют честь (непонятно, к чему такая торжественность?) сопровождать месье графа Мандранико в этом посещении, которое, они уверены, окажется в высшей степени интересным.

И вдруг Леклерк узнал гостя: слишком часто египетские газеты помещали фотографии чужеземного короля, живущего в изгнании в Каире. Видный археолог? Впрочем, это было не так уж далеко от истины. В юности — вспомнил египтолог — король действительно проявлял живой интерес к истории этрусков и даже официально покровительствовал ее изучению.

Слегка смущенный, Леклерк сделал несколько шагов вперед и, покраснев, поклонился. Гость, рассеянно

улыбаясь, пробормотал несколько слов и протянул руку. Затем представил своих спутников.

Вскоре Леклерк обрел обычную непринужденность.

— Сюда, сюда, господин граф,— проговорил он, указывая дорогу,— лучше начать осмотр сразу же, прежде чем станет слишком жарко.

Краешком глаза Леклерк заметил, как барон Фантиин, по-прежнему хранящий чрезвычайно серьезный вид, предложил графу руку, но тот чуть ли не гневно оттолкнул его и мелкими шажками — каждый давался ему, видно, с трудом — двинулся вперед. Молодой Кристани, неопределенно улыбаясь, шел за ним следом; под мышкой он нес белый кожаный портфель.

В центре каменистой возвышенности, к которой они направлялись, уходил глубоко вниз длинный раскоп; его крутые склоны были срезаны с поразительной точностью. На самом дне, посреди очень широкой и плоской ямы, мертвое застыла разрушенная колоннада — главный фасад древнего дворца. За ним, на первый взгляд, казалось, в беспорядке, сталкивались углы, геометрически правильные тени, темнели прямоугольные глазницы входов и окон, словно свидетельствуя о том, что и здесь, в этой вымершей пустыне, некогда царил человек.

Из присущей ему скромности Леклерк лишь мельком упомянул о трудностях, с которыми пришлось столкнуться при раскопках. Пока не начались работы, все — до самых верхушек колонн и главного фасада — было погребено под песком и обломками. Поэтому пришлось вынуть, поднять и переместить горы песка и камня; а чтобы добраться до первоначального уровня здания, надо было снять в отдельных местах слой глубиной не меньше двадцати метров. Все эти работы были выполнены еще только наполовину.

— Ка... дно... н... лись... копки? — спросил клохчущим

голосом граф Мандранико, забавно открывая и закрывая рот.

Не разобрав ни слова, Леклерк метнул быстрый взгляд на барона. Тот, должно быть, давно привык к трудностям подобного рода, ибо с бесстрастным выражением лица тотчас объяснил:

— Граф желает знать, как давно начались раскопки.

Чуть заметное возмущение прозвучало в его словах, словно само собой разумелось, что старый король должен говорить именно так и нечего этому удивляться.

— Семь лет назад, господин граф, мне повезло самому начать их... Вот здесь, нам лучше спуститься здесь, дальше будет везде ровно... — сказал он, словно желая скрыть своим смущением замешательство дряхлого графа: им предстояло спуститься по крутому осыпающемуся склону.

Барон вновь предложил руку и на этот раз не был отвергнут: они начали осторожно спускаться вниз — барон подлаживался под шажки старика. Леклерк из чувства почтения тоже спускался очень медленно. Спуск был крут, воздух нагревался все сильнее, тени становились короче; с противоположного края раскопа доносились размеженные глухие удары, словно там кто-то трамбовал землю. Знатный гость слегка волочил левую ногу, и его белый кожаный ботинок запылился.

Когда они достигли конца спуска, высокая насыпь скрыла бараки на огороженной площадке раскопок. Вокруг были лишь древние камни и почти отвесные осыпающиеся известковые склоны. К западу они постепенно повышались, крутые уступы образовали настоящую гору, голую и выжженную солнцем, как и все вокруг.

Леклерк любезным тоном давал пояснения, и граф Мандранико каждый раз поворачивался к нему и легонько кивал головой, но как-то механически, лицо его

по-прежнему ничего не выражало,— наверно, он не слушал Леклерка. Вот колоннада перед входом, туловище сфинкса с отбитой мужской головой, тщательно выполненные, но почти стершиеся от времени барельефы, на которых угадываются фигуры богов и царей. Глухие, почти отвесные склоны, древние стены хранили свои тайны от человеческих глаз.

И тут внимание чужеземного гостя привлекли странные облака в небе, медленно поднимавшиеся из самого сердца Африки. Они были обрублены сверху и снизу, будто кто-то ровно обрезал их ножом, а по бокам бурно пенились и пузырились, образуя причудливые воронки и водовороты. С детским любопытством граф указал на них тросточкой.

— Облака пустыни,— объяснил Леклерк,— без головы, без ног... Похоже, будто их сплющили между двумя крышками, не правда ли?

Граф, позабыв о фараонах, несколько секунд не отрываясь смотрел на облака, потом с живостью обернулся к барону и что-то у него спросил. Барон, не в силах скрыть смущения, стал пространно извиняться, но лицо его продолжало хранить торжественное и скорбное выражение. Нетрудно было понять, что Фантин забыл захватить с собой фотоаппарат. Не скрывая раздражения, старик повернулся к нему спиной.

Они вошли в первый двор, полностью разрушенный. Только симметричное расположение руин приблизительно указывало, где выселились некогда колоннады и стены. В глубине двора сохранились две покосившиеся массивные плоские башни, соединенные невысокой стеной. Стена слегка отступала назад, и в центре ее открывался проход. Это был фасад здания. Леклерк обратил внимание своих спутников на барельефы — две огромные человеческие фигуры, каждая занимала две стены: фараон

Менефтах II был изображен охваченным благородной яростью битвы.

На пороге храма появился пожилой мужчина в феске и длинном белом бурнусе; подойдя к Леклерку, он начал взволнованно говорить ему что-то по-арабски. Леклерк отвечал, покачивая головой и улыбаясь.

— Извините, что он говорит? — не сдержав любопытства, спросил лейтенант Кристани.

— Это один из моих помощников, грек, который знает теперь больше меня: он ведет раскопки по крайней мере лет тридцать.

— Что-нибудь случилось? — не отставал Кристани, уловивший несколько слов из их разговора.

— Обычные выдумки, — сказал Леклерк, — он говорит, что сегодня боги неспокойны... Он всегда говорит так, когда дело не ладится... Им никак не сдвинуть каменную глыбу, она сползла с катков, и теперь придется снова устанавливать лебедку.

— Хм... хм... Они неспокойны!.. — неожиданно оживившись, вскричал граф Мандранико, однако какой смысл он вкладывал в это восклицание, было неясно.

Они перешли во второй двор — и здесь та же печальная картина разрушения. Только справа еще высились циклопические каменные пилоны, из которых выступали обезображеные временем могучие фигуры, напоминающие атлантов. В глубине двора работали десятка два феллахов; при появлении начальника и гостей они начали кричать и суетиться, изображая невиданное рвение.

Граф Мандранико вновь посмотрел на странные облака пустыни. Они стремились елиться в одно огромное тяжелое облако и неподвижно застыть в небе. По белесой гряде гор на западе пробежала тень.

Леклерк — за ним следовал теперь и его помощник — провел гостей в боковое крыло, единственную часть по-

стройки, которая хорошо сохранилась. Это был погребальный храм; уцелела даже крыша, лишь кое-где прорыянная. Все встали в тень. Граф то и дело снимал свой колониальный шлем, и барон тотчас протягивал ему платок, чтобы он отер лоб. Солнце проникало сквозь отверстия в крыше, и узкие ослепительно яркие лучи то здесь, то там высвечивали барельефы. Вокруг царил полумрак, тишина и тайна. По сторонам смутно вырисовывались очертания высоких статуй, недвижимо застывших на своих тронах; некоторые были без голов, у других сохранилась лишь нижняя часть туловища, но все они выражали жажду власти, ее мрачное и торжественное могущество.

Леклерк указал на одну из статуй; она была без рук, но голова сохранилась почти в неприкосновенности; приблизившись, граф разглядел, что голова у нее птичья, только клюв наполовину отбит. Вид у истукана был хмурый и злобный.

— Очень интересная статуя,— сказал Леклерк.— Это бог Тот. Она относится по крайней мере к двенадцатой династии и считалась, вероятно, весьма ценной, раз ее перенесли сюда. Фараоны приходили спрашивать у нее...— Он приостановился и застыл, словно прислушиваясь. В самом деле, откуда-то, непонятно, с какой стороны, доносился глухой шум, вернее, шорох.

— ...Прошу прощения, ничего нет, это песок, проклятый песок, наш постоянный враг,— продолжал, видимо успокоившись, Леклерк.— Так вот, говорят, что цари, прежде чем отправиться на войну, спрашивали у этой статуи совета... Она была вроде оракула... Если статуя оставалась неподвижной, значит, ответ был отрицательный... Если она шевелила головой, это выражало одобрение... Иногда эти статуи говорили... Кто знает, какой

у них был голос... Его в силах были вынести только цари, монархи... Потому что они ведь тоже были богами...

Леклерк, замолчав, обернулся: а вдруг он допустил бес tactность, сказал не совсем то, что нужно? Но граф Мандранико с неожиданным интересом уставился на истукана и кончиком трости ткнул в порфировый постамент, словно желая проверить его прочность.

— ...начит... ца... одили... шивать... вета... ми? — наконец спросил он недоверчивым тоном.

— Господин граф интересуется, приходили ли цари спрашивать совета сами,— перевел барон, догадываясь, что Леклерк не разобрал ни слова.

— Вот именно,— с довольным видом подтвердил археолог,— бог Тот, во всяком случае, так говорят, отвечал... А вот здесь, в глубине, стена, о которой я вам говорил... Вы первые видите ее...

И Леклерк, сделав широкий, немного театральный жест рукой, вновь замер, к чему-то прислушиваясь.

Все невольно умолкли. Вокруг вновь слышалось таинственное шуршание, какой-то странный шорох, точно минувшие века медленно осаждали раскопанное погребение, пытаясь опять засыпать его песком.

Солнечные лучи, падавшие прежде косо, спускались теперь почти отвесно, параллельно ребрам колонн и пилонов, но стали не так ослепительно ярки, словно небо затянуло облаками.

Не успел Леклерк начать объяснения, как барон поднес руку к самым глазам и посмотрел на часы: половина одиннадцатого. Жара становилась невыносимой.

— Быть может, я вас немного задержал, господа? — любезно спросил Леклерк.— Я распорядился приготовить завтрак к половине двенадцатого...

— Завтрак? — обращаясь к Фантину, переспросил

граф довольно сухо и наконец-то вполне отчетливо.— Но ведь нам в одиннадцать надо ехать... самое позднее, самое позднее...

— Значит, вы не окажете мне чести? — огорченно спросил Леклерк.

Барон облек отказ в возможно более дипломатическую форму:

— Мы поистине вам очень благодарны... глубоко тронуты... но ранее принятые обязательства...

Египтолог неохотно сократил свои объяснения, пропуская многие в высшей степени важные и дорогие его сердцу подробности. И вот прежним путем они двинулись назад. Солнце скрылось, небо затянуло красноватой мглой, раскаленное марево неподвижно застыло, словно перед какой-то страшной катастрофой.

Вдруг граф прошептал что-то Фантину, и тот, оставив его, пошел вперед. Леклерк, полагая, что старик хочет на минуту задержаться, тоже прибавил шаг и вслед за Фантином направился к выходу. Граф остался один среди древних статуй.

Выйдя из храма, Леклерк остановился и поглядел на небо: какого странного оно было цвета! В эту минуту на руку ему упала капля — пошел дождь.

— Дождь! — воскликнул он.— Вот уже три года, как здесь не было дождя, ни капли влаги... В далекие времена это считалось дурным предзнаменованием. Если шел дождь, фараоны откладывали походы, не начинали никакого дела...

Леклерк обернулся, чтобы сообщить удивительную новость графу. Но граф Мандранико еще не вышел из храма: он стоял перед статуей Тота и что-то говорил. Голос его не долетал до Леклерка, но археолог отчетливо видел, как граф забавно, точно черепаха, открывает и закрывает рот.

Разговаривал ли граф сам с собой? Или действительно вопрошал божество подобно древним фараонам? Но о чём? Для него не было больше ни войн, которые он мог бы вести, ни законов, которые он мог бы обнародовать, ни планов на будущее, ему даже не о чём было мечтать. Королевство его осталось далеко за морями и было для него навсегда потеряно. Все хорошее и все плохое в жизни истрачено до конца. Он мог рассчитывать только на какие-то несколько лишних месяцев или лет жизни — последний короткий отрезок долгого пути. Откуда же эта настойчивость, как осмеливается он испытывать терпение богов? Или он совсем выжил из ума — просто забыл обо всем случившемся и вообразил, что живёт в добрые старые времена? А может быть, он вздумал пошутить? Нет, вряд ли — не такой он человек.

— Господин граф! — окликнул его Леклерк, внезапно охваченный каким-то смутным беспокойством. — Господин граф, мы здесь... Пошёл дождь...

Слишком поздно. Внутри храма раздался ужасающий грохот. Леклерк побледнел, барон Фантин инстинктивно отступил на шаг назад, у молодого человека выпал из рук белый портфель. Неожиданно дождь прекратился.

Грохот, раздавшийся в храме бога Тота, напоминал стук катящихся деревянных бревен или зловещий бой барабанов. А потом он перешел в хриплый вой, в котором чудились какие-то невнятные слова, слышались душераздирающие жалобные вопли, напоминавшие крики рожающих верблюдиц. Кровь стыла в жилах от этих звуков.

Граф Мандранико стоял неподвижно, уставившись прямо перед собой. Он, по-видимому, не собирался бежать и даже ни на шаг не подался назад. Божество,

казалось, скалило зубы: обломки его клюва свирепо открывались и закрывались, и это выглядело особенно страшным потому, что туловище статуи было недвижимо, безжизненно. Из клюва выходил голос.

Истукан говорил. Его глухие проклятия — ибо издаваемые им звуки казались именно проклятиями — зловеще разносились в тишине храма.

Леклерк был не в силах двинуться с места — сердце его сжимал смертельный ужас. А что же граф? Как он это выносит? Но, быть может... ведь он тоже монарх, не потому ли не боится он испепеляющего глагола богов, как и погребенные здесь фараоны?

Голос, то усиливаясь, то затихая, перешел теперь в бормотание и постепенно совсем умолк; наступила гнетущая тишина. Только тогда старый граф вскрикнул и пошел осторожными шажками к застывшему в ужасе Леклерку. Кивая головой в знак одобрения, стариик говорил:

— Изумительно... Поистине гениально... жаль, что пружина, наверное, сломалась... адо... лать... том... щение...

На этот раз барон, однако, не поспешил прийти на помощь, и последние слова, которые пролепетал старый граф, так и остались без перевода. Барон тоже хранил молчание; и его изумил этот черствый стариик, глухой к тайнам жизни и такой жалкий: он даже не понял, что с ним говорило божество.

— Но, ради всего святого... — произнес наконец Леклерк чуть ли не умоляюще. — Разве вы не слышали?

Старый король надменно задрал голову.

— Упости! Упости!

И потом, неожиданно нахмурясь, добавил:

— Машина отова? Уже оздно... оздно... Фантин, что вы там делаете?

Граф казался рассерженным.

Леклерк, сдержавшись, пристально смотрел на него со странным чувством — не то изумления, не то ненависти. Вдруг хор испуганных голосов прорезал тишину. Вопли неслись с самого края площадки, где работали феллахи, — видимо, они обезумели от ужаса. Со стороны храма сломя голову бежал и что-то кричал помощник Леклерка.

— Что он кричит? Что случилось? — встревоженно спросил Фантин.

— Обвал, — перевел молодой Кристани. — Засыпало одного из феллахов.

Леклерк сжал кулаки. Почему этот иностранец не уезжает? Неужели ему все еще мало? Зачем ему понадобилось воскрешать колдовские чары, которые оставались погребенными целые тысячелетия?

Однако граф Мандранико уже собрался уезжать — волоча ногу, он поднимался к ним по откосу. И в эту минуту Леклерк заметил, что все кругом, начиная с выжженных склонов раскопа, шевелится. Пустыня пришла в движение. Там и здесь, словно осторожные животные, бесшумно двигались небольшие оползни. По оврагам, канавам, ямам, с уступа на уступ, то приостанавливаясь, то вновь продолжая свое движение, они со всех сторон ползли вниз, сжимая кольцо вокруг раскопанного храма. И ни дуновения, ни ветерка в неподвижном воздухе... Шум включенного автомобильного мотора на несколько минут вернулся к реальной действительности. Прощание и изъявления благодарности были официально сухи. Граф оставался невозмутимым, но явно торопился. Он не спросил, почему кричали феллахи, не взглянул на пески, не поинтересовался, отчего так бледен Леклерк. Машина выехала за ограду, прошелестела по шоссе меж воронок песка и скрылась из виду.

Оставшись один на насыпи, Леклерк обвел взглядом свои владения. Барханы ползли исыпались, словно их тянула вниз какая-то неведомая сила. Он увидел, как из дворца, толкая друг друга, выбежали феллахи и в панике бросились прочь, непонятным образом почти тотчас исчезнув из виду. Помощник, в белом бурнусе, носился взад и вперед и яростно кричал, тщетно пытаясь остановить их. Но вскоре и он умолк.

И тогда Леклерк услышал голос наступающей пустыни — приглушенный хор, тысячи еле слышных шорохов. Вот тонкая струйка песка, соскользнув вниз по откосу, лизнула основание одной из колонн, за ней устремилась другая, потом целый ручеек песка, и вскоре вся нижняя часть колонны была засыпана.

— Боже,— прошептал Леклерк.— Боже мой!..

ДУРАК

Селение было таким древним, что здесь, на берегу, никто не знал, что древнее — селение или море.

Селение видело финикийцев и карфагенян, греков и римлян. В нем были развалины замка и арена для боя быков, был рынок, суд, начальная школа и отделение банка. Было все, что полагается селению, и даже дурак.

Пепе-дурак был предметом гордости односельчан. На любые попытки соседей набить себе цену местные патриоты отвечали: «Но у вас нет дурака!», и на этом разговор кончался.

У Пепе-дурака были карие глаза, очень красивые, кроткие, лучившиеся любовью. Временами даже сильные духом люди не могли выдержать взгляда этих ласковых и покорных глаз. Пепе-дурак был тружеником, трудолюбивее которого, похоже, что и во всем свете не было. Он с готовностью выполнял всякие мелкие поручения, безотказно грузил багаж в автобус. Еще ребенком он повредился в разуме — а может, и родился таким. Бывало, ходит целое утро с корзинкой из-под рыбы и не знает, где оставить ее и к чему приспособить. А то, бывало, целый божий день ищет что-то на пляже между водорослей. Остановится (для того, быть может, чтобы дать отдых своим больным почкам), поглядит на небо и повторяет снова и снова:

— Было на этом месте, а теперь нет. Было на этом месте, а теперь нет.

Временами Пепе не прочь был опрокинуть стаканчик.

Смеха ради его поили допьяна — и тогда Пепе мучился. Как будто он обретал разум, а слов, чтобы сказать об этом, у него не было. Как будто где-то внутри (это могло быть любое место, кроме мозга) что-то смутно говорило ему, что над ним нависает угроза обрести разум.

Местных жителей кормили земля и море, но еще более — лето. Летом приезжали дачники, и Пепе просто-душно верил, что лето было делом их рук, что они-то и привозили его с собой, устилали им землю и море, поднимали его к небесам, эти дачники, снимавшие летние домики у пляжа и на горе. Дачники очень хорошо относились к Пепе, и еще лучше относились к нему их дети. Лето было золотым временем для селения, и в силу какого-то странного парадокса (как будто Пепе-дурак олицетворял собой селение) это было золотое время и для Пепе. Летом у него всегда водились деньги, по крайней мере до тех пор, пока с этим мирились самые бессовестные из его земляков.

Лето уже стучалось в двери, и в кабачке у пляжа, куда сходились по вечерам хозяева дач, только и было разговоров, что о наступающей поре. До календарного лета оставались считанные дни. Уже появились его предвестники — первые дачники, бродившие в поисках дачи, небольшого отельчика, постоянного двора у моря. И владельцы сдававшихся дач на велосипедах спускались к морю, чтобы перекрасить фасады, подновить черепицу на крышах, отремонтировать водопровод и электричество.

С первых чисел июня кабачок на пляже всегда ожидал. Здесь устраивались пирушки не без расчета на барыш, здесь функционировала дачная биржа, здесь играли по мелкой и пропускали по маленькой. Пепе был неизменным участником этих пирушек, но однажды вечером он не пришел.

Отсутствие Пепе было очень заметно. Без него было меньше смеха и меньше серьезности. Рядом с ним каждый испытывал особое удовольствие от мысли, что сам он в здравом уме и твердой памяти,— простые люди от этого проникались к себе уважением. Любая глупая шутка над Пепе (правда, почти всегда они были беззлобными) вызывала всеобщее веселье, и такое же веселье вызывала любая фраза Пепе, любая из его безобидных глупостей.

Только что кончилась очередная партия. Водитель автобуса Хулиан попросил, чтобы ему дали отыграться. Публика вокруг стола молча курила, наблюдая за игрой.

— Странно, что Пепе нет,— сказал Хулиан.

Каждый, обрачиваясь и обшаривая комнату глазами, думал: этого не может быть. Но Пепе среди них не было. Сомневаться в этом больше не приходилось.

Сколько разговоров было в тот вечер о наступающем лете! Вдруг водопроводчик Серафин залился хохотом.

— С Пепе можно сыграть хорошую шутку,— сказал он.

Веселая компания потягивала вино, а Серафин говорил. Что, если внушить Пепе, что в этом году будет праздник прощания с весной? Если сказать ему, что все пойдут на южную дорогу прощаться с ней? Если уверить его, что весну встречают иногда на ее пути к морю и что она — прекрасная девушка, имеющая обыкновение являться детям или простым душам, подобным ей самой, и дарить им подарки?

— Весной буду я,— сказал сообразительный Хулиан.

Кабачок ответил ему взрывом хохота.

Пепе-дурак поверил. Пепе-дурак верил всему, что ему говорили. Сколько раз доводилось ему брести из одного конца селения в другой, сгибаясь под тяжестью

никому не нужной ноши. Как клоун, как один из этих умнейших «дураков» цирка, Пепе, бывало, по целым дням таскал большую корзину, полную камней, от селения к пляжу и от пляжа к селению — до тех пор, пока какая-нибудь добрая душа, сжалившись над ним, не снимала с него чар злой шутки, называясь получателем корзины, и не давала Пепе на стаканчик.

Пепе поверил. Пепе-дурак верил всему, что ему говорили.

Они сказали, что зайдут за ним в тот вечер, когда весна уступит свое место лету и отправится к морю. Опаздывать нельзя: когда церковные часы пробьют двенадцать, нужно быть у начала южной дороги, откуда весна выйдет в путь, чтобы закончить его на морском дне, где она будет спать до марта будущего года.

Ночь была тихой и безлунной. Мягко сияли бесконечно далекие звезды. Водопроводчик Серафин, Марсиаль из правления взаимопомощи, хозяин кабачка Габриэль и еще шестеро или семеро собрались вместе. Все, в том числе и Пепе, уже перебрали немногого, но на всякий случай захватили с собой почти полный бурдюк.

— Ты, значит, понял, — втолковывали они дураку. — Проси у нее что хочешь. Конечно, если ее увидишь, а то может статься, что и не увидишь...

— И не забудь встать перед ней на колени, — напомнил Габриэль.

— И сказать ей «ваше превосходительство», — добавил Марсиаль.

Они чуть не лопнули со смеху, но Пепе верил — и ждал, чтобы его кротким и ласковым карим глазам поскорее явилось чудо.

Южная дорога начиналась у дремучего леса. Здесь царил мрак, и толстые стволы высоких деревьев казались колоннами строящегося храма. Они сели, и из бур-

дюка весело побежало вино. Пил и Пепе, задумчивый, ушедший в себя. Зато глаза остальных искрились весельем. Наконец Серафин потребовал тишины и внимания. Все встали под непроглядной тьмой звездной ночи, трепещущей от близости моря. Медленно и торжественно прокатился в неподвижном воздухе первый из двенадцати ударов церковных часов.

— Внимание,— негромко сказал Серафин,— раскройте глаза пошире!

Все сделали вид, что напряженно вглядываются в темноту, а Пепе-дурак широко открыл свои темные, с поволокой доверчивые глаза.

Между деревьями появилась тень, и Пепе увидал ее первым.

— Вон она! — воскликнул он.

Остальные прикинулись, будто ничего не видят.

— Где, где?

— Вон, вон она идет! — дрожа, ответил Пепе и показал рукой.

— Так беги же за ней! — не допускающим возражений тоном сказал Серафин.— Мы не видим ничего. Да смотри не забудь встать на колени и попросить у нее что-нибудь!

Пепе-дурак двинулся вслед за тенью, а остальные, еле сдерживая смех, крадучись последовали за ним. Приглядевшись, он увидел, что это длинноволосая женщина в тунике с охапкой цветов в руках. Пепе побежал. Догнав женщину, он бросился перед ней на колени со словами:

— Сеньора весна, сеньора весна!.. Я Пепе-дурак. Дайте мне подарок!

Грянул оглушительный хохот, и Пепе поднял глаза. Вокруг него и весны, которая тоже гоготала, держась обеими руками за грузный живот, стояли его приятели.

Сеньора весна была как две капли воды похожа на водителя Хулиана. Шутка закончилась громким хохотом и веселой суматохой у бурдюка. О Пепе тут же забыли.

Пепе-дурак сидел на земле. При всей своей доверчивости не такой уж он был дурак, чтобы поверить, что водитель Хулиан и есть весна и что от него можно ожидать каких-либо подарков, кроме постоянных пинков.

— Пепе, пойдем, это же была шутка,— позвали его.

Впервые Пепе ответил им молчанием и не пожелал пойти с ними. Ну и что за беда? Ночь была изумительная, в бурдюке еще оставалось вино, и шутка удалась. Они ушли и уже издалека позвали еще два-три раза.

Пепе-дурак остался один у начала южной дороги, один среди могучих деревьев, наедине с шепотом звезд и журчанием ручья. Прошло полчаса, а может быть, больше. Внезапно все вокруг осветилось странным светом. Пепе открыл глаза и увидел: цветущая и нагая, с цветком в руке, к морю шла красавица. Пепе побежал, бросился к ее ногам, обхватил их, и она мелодичным голосом спросила его:

— Чего бы ты хотел от меня?

Дурак поднял темные глаза и, остоубенело глядя на ее сияющую и чистую красоту, попросил:

— Подари мне что-нибудь, что хочешь подарить.

— Скажи мне сначала, кто я,— проговорила она, улыбаясь.

— Ты весна,— с беззаветной верой ответил Пепе.

— Ты получил свой подарок,— сказала она и пошла дальше.

Пепе пошел за ней вслед, держась поодаль. Она шла легко, будто не касаясь ногами земли.

Потом Пепе остановился и начал искать подарок. Руки его были пусты, пусты были и карманы. Красави-

ца исчезла — она ушла к морю. Пепе-дурак медленно побрел к селению.

На следующее утро, когда Пепе, проснувшись, пришел в кабачок у автобусной остановки, Серафин обхватил его за плечи и вывел на улицу. Он чувствовал неловкость за то, что произошло ночью.

— Пепе, хочешь стаканчик? — тихонько спросил он дурака. — Пойдем, а о шутке позабудь.

И, совсем не подумав о том, что Пепе уже давным-давно обо всем позабыл, он заглянул ему в глаза. Они были такие же, как всегда, — чистые, ласковые, прозрачные, большие, полные любви. Но только зеленые. Зеленые светлой зеленью моря, светлой зеленью весны, светлой зеленью невинности.

— Зеленые! Они у него стали зеленые! — кричал Серафин, кричал как помешанный, в ужасе мчась по улице.

ЗЛОЙ РОК

Стук ее каблуков по мрамору фойе навел ее на мысль о кубиках льда, позякивающих в стакане, и о цветах, о тех осенних хризантемах в вазе у входа, которые разбоятся вдребезги, едва их тронешь, рассыплются студеной пылью; а ведь в доме тепло, даже слишком, и все же это холодный дом (Сильвия вздрогнула), холодный, как эта снежная пустыня — пухлое лицо секретарши, мисс Моцарт, она вся в белом, точно сиделка. А может, она и вправду сиделка... и тогда все сразу стало бы на место. Вы сумасшедший, мистер Реверкомб, а она за вами присматривает. Но нет, едва ли... В эту минуту дворецкий подал ей шарф. Его красота тронула ее — стройный, такой обходительный негр, в веснушках, и глаза красноватые, бездумные. Когда он отворял дверь, появилась мисс Моцарт, ее накрахмаленный халат сухо прошелестел в прихожей.

— Надеюсь, мы вас видим не в последний раз, — сказала она и вручила Сильвии запечатанный конверт. — Мистер Реверкомб крайне вам признателен.

На дворе синими хлопьями опускались сумерки; по ноябрьским улицам Сильвия дошла до пустынного безлюдного конца Пятой авеню, и тут ей подумалось, что можно ведь пойти домой через парк — это почти вызов Генри и Эстелле, они вечно требуют, чтобы она прислушивалась к их советам, они ведь знают, как вести себя в таком большом городе, вечно твердят: Сильвия, ты не представляешь, как опасно ходить через парк вечером,

вспомни, что случилось с Миртл Кейлишер. И еще они говорят — это тебе не Истон, милочка... Говорят, говорят... Господи, до чего надоело. И однако, если не считать машинисток, с которыми она вместе работает в фирме, торгующей нижним бельем, кого еще она знает в Нью-Йорке? А, все бы ничего, если б только не жить с ними под одной крышей, если б только хватило денег снять где-нибудь комнату; но там, в этой тесной, ситцевой квартирке, она подчас, кажется, готова задушить их обоих. И зачем только она приехала в Нью-Йорк? Но, каков бы ни был повод, не все ли равно, теперь не вспомнишь, а вообще-то она уехала из Истона, прежде всего чтобы избавиться от Генри и Эстеллы, вернее, от их двойников, хотя Эстелла и в самом деле родом из Истона, городка севернее Цинциннати. Они с Сильвией вместе росли. Самое ужасное — это как Генри и Эстелла ведут себя друг с другом, просто смотреть тошно. Эдакое жеманство, эдакие пуси-муси, и все в доме окрестили на свой лад: телефон — тилли-бом, тахта — наша Нелл, кровать — Медведица, да-да, а как вам понравятся эти полотенце-он и полотенце-она, эти подушка-мальчик, подушка-девочка? Господи, да от одного этого можно спятить.

— Спятить, — громко сказала она, и тихий парк поглотил ее голос.

Славно здесь. Хорошо, что она пошла через парк: ветерок колышет листья, в свете круглых фонарей, что зажглись совсем недавно, вспыхивают ребячью рисунки цветными мелками на асфальте — розовые птицы, синие стрелы, зеленые сердца. Но вдруг, точно два похабных слова, на дорожке выросли двое парней — прыщавые, ухмыляющиеся, они возникли из темноты, будто два грозных огненных языка, и, когда Сильвия проходила мимо, ее словно ожгло. Они повернули и пошли за ней,

вдоль безлюдной спортплощадки, один колотил палкой по железной ограде, другой свистал; звуки эти наступали на нее, точно грохот приближающегося локомотива, и, когда один из парней с хохотом крикнул: «Эй, чего несешься?», у нее перехватило дыхание. Не смей, приказала она себе, чувствуя, что вот сейчас бросит сумочку и кинется бежать. Но тут на боковой дорожке показался человек, прогуливающий собаку, и Сильвия пошла за ним до самого выхода. Интересно, если рассказать об этом Генри и Эстелле, они, наверно, будут торжествовать, мол, мы же тебе говорили? Да еще Эстелла напишет домой, оглянется не успеешь, а уже весь Истон болтает, что тебя изнасиловали в Центральном парке. Весь оставшийся путь до дома Сильвия презирала Нью-Йорк: безликость, добродетельные страхи; пищат водосточные трубы, ночь напролет горит свет, и никогда нет покоя от шарканья ног — туннель метро, нумерованная дверь — № 3С.

— Шш, милочка, — сказала Эстелла, выскользнув из кухни, — Пуся занимается.

И правда, Генри, который изучал право в Колумбийском университете, прилежно сгорбился над книгами, и Сильвия, по просьбе Эстеллы, скинула туфли и прошла через гостиную на цыпочках. У себя в комнате она бросилась на постель и закрыла глаза руками. Да был ли он, сегодняшний день? Неужто в высоком доме на Семьдесят восьмой улице она и в самом деле говорила с мисс Моцарт и мистером Реверкомбом?

— Ну, какие новости, милочка? — в комнату без стука вошла Эстелла.

Сильвия приподнялась на локте.

— Да никаких. Напечатала девяносто семь писем, только и всего.

— О чём же, милочка? — спросила Эстелла, приглаживая волосы щеткой Сильвии.

— Ну о чём, по-твоему, они могут быть? Шорты нашей фирмы верой и правдой служат виднейшим деятелям науки и промышленности.

— Ну-ну, милочка, не злись! Ума не приложу, что это на тебя находит. Ты так злишься. Ой, отчего ты не купишь новую щетку? В этой полно волос.

— Главным образом твоих.

— Что ты сказала?

— Неважно.

— А мне послышалось, ты что-то сказала. Так вот, я всегда говорю, хоть бы тебе не ходить в эту контору, тогда бы ты не злилась и не возвращалась домой сама не своя. Лично я вот что думаю, я только вчера вечером говорила об этом Пусе, и он со мной согласен на все сто процентов,— Пуся, говорю, по-моему, Сильвии нужно выйти замуж: если девушка такая нервная, ей требуется разрядка. И в самом деле, ну почему бы тебе не выйти замуж? Понимаешь, тебя, может, хорошенькой и не назовешь, но у тебя красивые глаза и взгляд умный и такой искренний. В общем любой адвокат, учитель, врач рад будет заполучить такую жену. И, по-моему, ты тоже должна хотеть... Ты только погляди, ведь с тех пор, как я вышла за Генри, я будто заново на свет родилась. Несужто ты не чувствуешь себя одинокой, когда глядишь на наше счастье? Можешь мне поверить, милочка, это ни с чем не сравнимое ощущение, когда лежишь ночью в объятиях мужчины и...

— Эстелла! Бога ради! — Сильвия порывисто села на постели, щеки вспыхнули гневом, точно их нарумянили. Но тотчас же прикусила губу и опустила глаза.— Извини,— сказала она,— это у меня сорвалось. Только, пожалуйста, не заводи больше таких разговоров.

— Как хочешь,— ответила Эстелла, ошарашенно улыбаясь. Потом подошла и поцеловала Сильвию.— Я понимаю, милочка. Просто ты переутомилась. И даю голову на отсечение, у тебя за весь день маковой росинки во рту не было. Пойдем в кухню, я поджарю тебе яичницу.

Когда Эстелла поставила на стол яичницу, Сильвия почувствовала себя пристыженной: в конце концов, Эстелла ведь старается ради ее же блага. И, желая как-то загладить свою резкость, она сказала:

— Сегодня у меня и вправду есть новости.

Эстелла налила себе кофе и села напротив.

— Не знаю, как и рассказать,— продолжала Сильвия.— Это так странно. Ну да ладно... я завтракала сегодня в кафе-автомате, и за моим столиком сидели трое мужчин. Они говорили о своем, да так, будто я в шапке-невидимке. Один сказал — его подружка ждет ребенка и он не знает, где достать денег, чтобы что-то предпринять. Другой спросил: а может, тебе что-нибудь продать? Он ответил: продавать нечего. Тогда третий (с довольно тонким лицом, с виду совсем из другого теста, чем те двое) сказал: нет, кое-что можно продать — сны. Я и то рассмеялась, но он покачал головой и так серьезно сказал: нет, это чистая правда, тетка его жены, мисс Моцарт, работает у одного богатого человека, который скупает сны, самые обыкновенныеочные сны, скупает у всех без разбору. И он написал имя этого человека и адрес и отдал своему приятелю. Но приятель бумажку не взял, так и оставил ее на столе. Уж больно попахивает сумасшедшим домом, сказал он.

— По мне тоже,— тоном оскорбленной добродетели вставила Эстелла.

— Не знаю,— сказала Сильвия, закутивая.— А у меня это не шло из ума. На бумажке стояло имя — Рे-

веркомб и адрес — Восточная Семьдесят восьмая улица. Я только мельком взглянула, но... Не знаю, адрес застрял в памяти, прямо как заноза. Даже голова заболела. Так что я пораньше ушла с работы и...

Медленно, со значением Эстелла отставила чашку.

— Да ты что, милочка, неужто ты ходила к этому психу?

— Я не собиралась,— Сильвия вдруг пришла в замешательство. Напрасно она стала рассказывать. У Эстеллы нет воображения, ей ни почем не понять. И тут глаза у Сильвии сузились — так бывало всякий раз, когда она готовилась солгать.

— Собственно, я и не пошла,— решительно заявила она.— Хотела было пойти, но потом поняла, что это глупо, и просто прошлась пешком.

— Вот и умница,— сказала Эстелла, принимаясь складывать посуду в мойку.— Только подумай, чем бы это могло кончиться. Покупать сны! Слыханное ли дело! Ну и ну, дружок, это ведь и вправду не Истон.

Перед сном Сильвия приняла сиконал; она не часто прибегала к снотворным, но сегодня иначе не уснуть: в голове такая сумятица, все мысли кувырком, да еще какая-то странная печаль одолела, ощущение утраты, словно ее и вправду обокрали, словно повстречавшиеся в парке молодчики и в самом деле выхватили у нее сумочку. (Она поспешило зажгла свет.) А конверт, который ей вручила мисс Моцарт... он ведь в сумочке, она про него совсем забыла! Сильвия разорвала конверт. Внутри лежала записка на голубой бумаге, а в ней — чек; на листке стояло: *плата за один сон* — пять фунтов. Так, значит, это правда, она в самом деле продала мистеру Реверкомбу свой сон. Неужели это так просто? Сильвия тихонько засмеялась и снова погасила свет. Подумать только, что можно бы себе позволить, если

продавать всего два сна в неделю: можно снять отдельную комнату и ни от кого не зависеть, думала она, засыпая; точно теплом из камина, ее обволокло покоем, а потом вспыхнул волшебный фонарь, замелькали сумеречные картинки, она все глубже погружалась в таинство сна... К ней тянулись его губы, охватывали холодные руки... она с отвращением отбросила ногой одеяло. Так это и есть те мужские объятия, о которых говорила Эстелла? Мистер Реверкомб глубоко вклинился в ее сон и губы его коснулись ее уха. «Расскажешь?» — прошептал он.

Прошла неделя, прежде чем она отправилась к нему снова — в воскресенье днем, в самом начале декабря. Она собралась было в кино, но почему-то, сама того не заметив, оказалась на Мэдисон-авеню, в двух кварталах от дома мистера Реверкомба. Был один из тех холодных дней, когда небо морозно серебрится и порывами налетает резкий ветер, колючий, точно розовый куст; в витринах среди россыпей снежных блесток мерцала рождественская мишуря, и на душе у Сильвии стало еще чернее: она терпеть не могла праздники, дни, когда все-го острее ощущаешь свое одиночество. Одна из витрин приковала ее внимание, и она встала как вкопанная. В неистовом электрическом веселье, хватаясь за живот, покатываясь со смеху огромный, в человеческий рост, механический Санта-Клаус. Из-за толстого стекла доносился его визгливый безудержный хохот. Чем дольше стояла перед ним Сильвия, тем более зловещим казался ей этот гогочущий манекен; ее передернуло, она оторвалась наконец от этого зрелища и свернула на улицу, где жил мистер Реверкомб. Снаружи дом его ничем не выделялся — обычновенный городской дом, разве что не такой элегантный, не такой внушительный, как некоторые другие, но все равно достаточно внушительный. По-

битый холодом плющ корчился на свинцовых переплетах окон и, точно спрут, нависал щупальцами над дверью; а по бокам ее два небольших каменных льва глядели на мир слепыми глазницами. Сильвия перевела дух и позвонила. Тускло-черный очаровательный негр встретил ее уткливой улыбкой, как старую знакомую.

В прошлый раз в гостиной, где она дожидалась приема, кроме нее, не было никого. Сегодня здесь оказались и другие посетители: несколько женщин разного возраста и наружности и один чрезвычайно взволнованный молодой человек, глаза у него были как у загнанного зверя. Будь эти люди и в самом деле теми, на кого они походили, то есть пациентами в приемной врача, можно было бы подумать, что молодой человек либо будущий папаша, либо страдает пляской святого Витта. Сильвия села подле него, и его беспокойные глаза мигом ее раздели; то, что открылось его взору, видно, ничуть его не заинтересовало, и Сильвия вздохнула с облегчением, когда он вновь задергался, терзаемый своими заботами. Однако постепенно она ощутила, с каким острым интересом отнеслись к ее появлению все присутствующие. В тусклом, неверном свете уставленной комнатными растениями гостиной взгляды их были жестче стульев, на которых они сидели; одна из женщин глядела особенно неумолимо. Ее лицо, обычно, должно быть, самое зуриданое, милое и мягкое, сейчас, когда она наблюдала за Сильвией, обезобразили недоверие и ревность. Словно желая смирить зверя, который вот-вот кинется, обнажив клыки, она поглаживала траченный молью меховой воротник и все пронизывала Сильвию взглядом, пока в прихожей не послышались шаги мисс Моцарт, подобные землетрясению. И все, кто ждал, мигом насторожились, будто перепуганные школьники,— каждый забыл об остальных и замкнулся в себе.

— Теперь вы, мистер Покер,— грозно распорядилась мисс Моцарт.— Проходите!

И мистер Покер, судорожно сжимая руки и нервно мигая, последовал за ней. А в сумеречной комнате все вновь осели, точно потревоженные солнцем пылинки.

Пошел дождь, расплывающиеся отражения окон трепетали на стене, молодой дворецкий мистера Реверкомба, проскользнув в комнату, помешал угли в камине, накрыл стол для чаепития. Было тепло, мерно шумел дождь, и Сильвию, ближе всех сидевшую к огню, клонило ко сну; глаза ее слипались, она клевала носом, не то спала, не то бодрствовала. Долгое время полированную тишину дома царапало лишь прозрачное тиканье часов. Но вдруг в прихожей поднялась невероятная суматоха и гостиную захлестнуло шквалом звуков — громким, точно красный цвет, голосом кто-то ревел:

— Не пускать Орилли? Кто это тебе велел, красавчик в ливрее? — Обладатель этого голоса, приземистый багровый толстяк, отпихнув дворецкого, возник на пороге гостиной, он пьяно раскачивался и едва стоял на ногах.— Так, так, так,— пропитым голосом басил он, постепенно утихая,— значит, все эти дамы передо мной? Что ж, Орилли — джентльмен, Орилли дождется своей очереди.

— Ну, нет, здесь вам не место,— заявила мисс Моцарт.— Она прокралась у него за спиной и крепко ухватила его за ворот. Лицо его еще больше побагровело, глаза чуть не вылезли из орбит.

— Вы меня задушите,— задыхаясь, прохрипел он, но мисс Моцарт еще сильнее дернула его за галстук зеленовато-бледными руками, могучими, как корни дуба, и толкнула к порогу; дверь тут же захлопнулась за ним, звякнула чайная чашка, на пол посыпались сухие листья георгинов. Женщина с меховым воротником сунула

в рот таблетку аспирина. «Какая мэрзость», — сказала она, и все, кроме Сильвии, деликатно и восхищенно посмеялись вслед мисс Моцарт, которая прошествовала по комнате, отрясая прах со своих рук.

Когда Сильвия вышла из дома мистера Реверкомба, было мрачно и дождь лил как из ведра. Она поглядела по сторонам в поисках такси, но улица была пуста, нигде ни души; нет, кто-то есть... тот пьяный, что поднял переполох у Реверкомба. Точно бездомный мальчишка, он прислонился к машине на стоянке и подкидывал резиновый мячик.

— Погляди, малышка, — заговорил он с Сильвией, — погляди-ка, я нашел мячик. Как по-твоему, это к счастью?

Сильвия улыбнулась ему; несмотря на все его напускное молодечество, он казался безобидным, и было что-то в его лице, какая-то усмешливая печаль, будто у клоуна, стершего грим. Жонглируя мячом, он вприпрыжку поспешал за ней по направлению к Мэдисон-авеню.

— Ей-богу, я свалял там дурака, — сказал он. — Вот натворю что-нибудь эдакое, а потом тошно, хоть плачь. — Простояв так долго под дождем, он, видно, основательно протрезвел. — А все-таки она не смела меня душить, черт бы ее побрал, уж слишком грубая. Знавал я грубых женщин, взять хоть мою сестру Беренис — бешено-го быка могла укротить, но такой, как эта, я еще не встречал. Вот тебе мое слово, слово Марка Орилли: она кончит на электрическом стуле, — сказал он и причмокнул. — Не смеют они так со мной обращаться. Он сам во всем виноват. У меня и поначалу-то мало что было за душой, а потом он все отобрал, все до капельки, и теперь ничего у меня нет, малышка.

— Плохо дело, — сказала Сильвия, хотя и не знала, чему сочувствует. — Вы клоун, мистер Орилли?

— Бывший,— ответил он.

Они уже дошли до Мэдисон-авеню, но Сильвия забыла и думать о такси. Ей хотелось идти и идти под дождем рядом с этим человеком, который был когда-то клоуном.

— Когда я была маленькая, я из всех кукол любила только клоунов,— сказала она ему.— Моя комната была точно цирк.

— Я был не только клоуном. И страховым агентом тоже, кем только не был.

— Да что вы? — протянула Сильвия разочарованно.— А сейчас чем вы занимаетесь?

Орилли усмехнулся и особенно высоко подбросил мячик, потом поймал, но все шел, задрав голову.

— Я обозреваю небеса,— ответил он.— Закину за спину вещевой мешок и витаю в облаках. Когда человеку некуда больше пойти, он устремляется в небеса. Ну, а чем я занимаюсь на земле? Я воровал, просил милостыню, продавал свои сны — и все ради выпивки. Без виски в облаках не повитаешь. А отсюда вывод: как тебе понравится, детеныш, если я попрошу у тебя взаймы доллар?

— Очень нравится,— ответила Сильвия и замолчала, не зная, как продолжать. Они шли так медленно, плотная стена дождя отгораживала их от всего мира, и Сильвии казалось, что она гуляет с куклой-клоуном из своего детства, с куклой, которая выросла и может творить чудеса. Она нащупала руку Орилли и сжала ее в своей... милый клоун, витающий в облаках.— Но у меня нет доллара. У меня всего только семьдесят центов.

— Я не в обиде,— сказал Орилли.— Но по чести, это он теперь так мало платит?

Сильвия сразу поняла, о ком речь.

— Нет, нет... по правде сказать, он не купил мой сон.

Она и не пыталась объяснить, она сама не понимала, что произошло. Оказавшись один на один с этой леденящей душу непроницаемостью (мистер Реверкомб был непогрешим, точен как весы, окружен запахом больницы; безжизненные серые глаза, опечатанные тускло-стальными стеклами, точно вросли в безлиное лицо), она тут же начисто забыла все свои сны и стала рассказывать о двух жуликах, которые гнались за ней в парке, по площадке для игр, вокруг качелей.

— Он велел мне замолчать. Разные бывают сны, сказал он, но это не настоящий сон, вы все выдумали. Ну, скажите, как он догадался? Тогда я рассказала ему другой сон, про него, как он задержал меня на всю ночь, а вокруг поднимались воздушные шары и с неба сыпались луны. Он сказал: сны про него самого ему не интересны. И велел мисс Моцарт, которая стенографировала сны, вызвать следующего. Наверно, я туда больше не пойду,— докончила Сильвия.

— Пойдешь,— возразил Орилли.— Погляди на меня, даже я хожу, а ведь он уже давно все из меня высосал, Злой Рок.

— Злой Рок? Почему вы его так называете?

Они дошли до угла, где вонил и покатывался со смеху одержимый Санта-Клаус. Гогот его отдавался эхом на залитой дождем улице; в радужных расплывах фонарей на мокрой визжащей под шинами машин мостовой металась его неугомонная тень. Повернувшись к Санта-Клаусу спиной, Орилли сказал с улыбкой:

— Я его называю Злым Роком, потому что это он и есть. Злой Рок. Только, может, ты его зовешь как-нибудь иначе. Но все равно это он, и ты, конечно, с ним знакома. Все матери рассказывают про него своим малышам: он живет в дупле дерева, поздней ночью забирается в дом через трубу, прячется на кладбище, а ино-

гда слышно, как он бродит по чердаку. Он сукин сын, он вор и разбойник, он отберет у тебя все до последнего и в конце концов оставит ни с чем, сны, и те отнимет. У-у! — воскликнул Орилли и расхохотался еще громче Санта-Клауса.— Ну, теперь поняла, кто он такой?

Сильвия кивнула.

— Поняла. У нас дома его звали как-то иначе. Не помню как. Это было давно.

— Но ты-то его помнишь?

— Да.

— Тогда называй его Злым Роком,— сказал Орилли и, подкидывая мячик, пошел прочь.— Злой Рок,— чуть слышный, затихал вдалеке его голос.— Злой Рок...

Смотреть на Эстеллу было трудно: она стояла у окна, а в окно было яростное солнце, от которого у Сильвии ломило глаза, и стекло дребезжало, так что ломило виски. К тому же Эстелла сердито ей выговаривала. Голос ее, и всегда гнусавый, сейчас звучал так, будто в горле у нее был склад ржавых лезвий.

— Ты только посмотри на себя,— говорила Эстелла. Или, может, она это не сейчас говорила, а давным-давно? Ну, пусть ее.— Ума не приложу, что с тобой сделалось. Да ведь в тебе и ста фунтов нет, кожа да кости, а волосы на что похожи!.. Лохматая, как пудель.

Сильвия провела рукой по лбу.

— Который час, Эстелла?

— Четыре,— ответила та, замолчав ровно на секунду, только чтобы посмотреть на часы:— А где же твои часы?

— Продала,— сказала Сильвия. Она слишком устала, чтобы лгать. Не все ли равно? Она столько всего продала, даже свою бобровую шубку и вечернюю сумочку золотого плетения.

Эстелла покачала головой.

— Я теряюсь, милочка, просто теряюсь. И ведь эти часы мама подарила тебе в честь окончания школы. Стыдно,— сказала она и жалостно поцокала языком, точно старая дева,— стыд и срам. Не понимаю, почему ты от нас переехала. Конечно, это твое дело, но как ты могла променять нашу квартиру на эту... эту...

— Дыру,— подсказала Сильвия, с умыслом подбрав слово погрубее. Она жила в меблированных комнатах на одной из Восточных Шестидесятых улиц, между Второй и Третьей авеню. В ее каморке только и хватало места для тахты да потрескавшейся старой шифоньерки с мутным зеркалом, точно-в-точь глаз с бельмом; единственное окно выходило на огромный пустырь (под вечер оттуда доносились грубые крики мальчишек), а в отдалении, на горизонте, точно восклицательный знак, вздымалась черная фабричная труба. Эту дымовую трубу Сильвия часто видела во сне; и всякий раз мисс Моцарт оживлялась, вскидывала глаза от своих записей и бормотала: «Фаллический образ, фаллический». Пол в комнате был точно мусорный ящик — тут валялись начатые, но так и не доцитанные книги, старые-престарые газеты, даже кожура апельсинов, фруктовые косточки, белье, пудреница с рассыпанной пудрой.

Эстелла ногой отбросила с дороги весь этот хлам и прошла к тахте.

— Ты не понимаешь, милочка,— сказала она, садясь,— но я безумно волновалась. У меня, конечно, есть своя гордость и все такое, и если ты меня разлюбила, что ж, ладно. Но ты просто не имела права уехать вот так и целый месяц не подавать о себе вестей. Ну вот, и сегодня я сказала Пусе: Пуся, я чувствую, с нашей Сильвией случилось что-то ужасное. Звоню к тебе на службу, а мне говорят, ты уже месяц, как не работаешь. Представляешь, что со мной было?! В чем дело, тебя что, уволили?

— Да, уволили,— Сильвия приподнялась.— Пожалуйста, Эстелла... Мне надо привести себя в порядок. У меня свидание.

— Успокойся. Никуда ты не пойдешь, пока я не узнаю, что случилось. Хозяйка квартиры сказала мне внизу, что ты ходишь во сне, как лунатик...

— С какой стати ты с ней разговаривала? Чего ради ты за мной шпионишь?

Эстелла сморщила лоб, будто собираясь заплакать. И легонько похлопала Сильвию по руке.

— Признайся, милочка, тут замешан мужчина?

— Да, тут замешан мужчина,— ответила Сильвия, с трудом сдерживаясь.

— Что ж ты сразу не пришла ко мне? — вздохнула Эстелла.— Я-то знаю мужчин. Тут стыдиться нечего. Бывает, встретится такой ловкач, что женщина совсем теряет голову. Не знай я, что из Генри выйдет прекрасный, прямой и честный адвокат,— что ж, я бы все равно его любила и делала бы для него много всякого разного, а раньше, когда я еще не понимала, что значит быть с мужчиной, многое показалось бы мне ужасным, прямо скандальным. Но, милочка, этот человек, с которым ты связалась... он из тебя все соки выжимает.

— Это совсем не те отношения,— сказала Сильвия, поднялась и начала искать чулки в ящиках, где царил неистовый кавардак.— Это не имеет ничего общего с любовью. Ну ладно, забудь все это. В общем иди себе домой и начисто забудь обо мне.

Эстелла посмотрела на нее в упор.

— Ты пугаешь меня, Сильвия. Прямо пугаешь.

Сильвия рассмеялась и продолжала одеваться.

— Помнишь, я давно говорила — тебе пора замуж?

— Угу. Ну, вот что.— Сильвия обернулась, изо рта у нее торчали шпильки, и, отвечая Эстелле, она вынимала

их по одной.— Ты говоришь о замужестве так, словно это разрешает сразу все проблемы. Хорошо, в какой-то мере так и есть. Конечно же, я хочу, чтобы меня любили, а кто не хочет, черт возьми? Но, даже если бы я с тобой согласилась, где он, этот мужчина, за которого я бы пошла замуж? Провалился в тартарары, надо думать. Я не шучу, в Нью-Йорке нет мужчин... а если и есть, где с ними встретиться? А уж если и встретишь мало-мальски приятного человека, так он либо женат, либо слишком беден, чтобы жениться, либо чокнутый. И вообще, здесь не место для любви, сюда надо приезжать, когда хочешь покончить с любовью. Ну конечно же, я могла бы выйти за кого-нибудь. Может, я просто не хочу? Вот в чем вопрос!

Эстелла пожала плечами.

— Тогда чего же ты хочешь?

— Большего, чем выпадает на мою долю.— Сильвия сунула в волосы последнюю шпильку и, глядя в зеркало, пригладила пальцем брови.— У меня свидание, Эстелла, а тебе пора идти.

— Не могу я так тебя оставить,— сказала Эстелла, беспомощно обводя рукой комнату.— Мы ведь подруги детства, Сильвия.

— В том-то и дело! Мы больше не дети. Я, во всяком случае, уже не ребенок. Нет, Эстелла, иди домой и больше не приходи. Забудь, что я существую на свете.

Эстелла прижала к глазам платок, а у двери расплакалась в голос. Сильвия не могла себе позволить угрызений совести: раз уж поступила подло, назад ходу нет. И, идя по пятам за Эстеллой, она говорила: — Уходи, уходи и можешь писать обо мне домой все, что тебе взбредет в голову.

Громко всхлипнув, так что из дверей с любопытством

выглянули другие жильцы, Эстелла кинулась вниз по лестнице.

Сильвия вернулась к себе и пососала кусочек сахара, чтобы прогнать досаду: таким способом лечилась от дурного настроения ее бабушка. Потом стала на колени и выудила запрятанную под тахтой шкатулку для сигар. Когда шкатулку открывали, она играла немножко нескладно и невпопад песенку «Ах, не люблю я вставать поутру». Этот музыкальный ящик смастерили ее братишко и подарил на день рождения, ей тогда исполнилось четырнадцать. Когда Сильвия сосала сахар, она думала о бабушке, а слушая песенку, всегда вспоминала брата. Перед глазами у нее закружились комнаты родного дома, темные-темные, она бродила по ним, освещала, точно фонариком, одну за другой. Вверх по ступенькам, вниз, через весь дом, ласковые сиреневые тени населяли весенний воздух, поскрипывали качели на веранде. Все умерли, сказала она себе, перебирая в памяти их имена, и теперь я одна как перст. Музыка смолкла. Но Сильвия все слышала ее — она заглушала крики мальчишек на пустыре. Она мешала читать. Сильвия читала записную книжечку — подобие дневника, — которую хранила в этой же шкатулке. Сюда она коротко записывала сны, им теперь не было конца, и они так плохо запоминались. Сегодня она расскажет мистеру Реверкомбу о трех маленьких слепцах. Ему это понравится. Он оценивает сны по-разному, и этот сон стоит по меньшей мере десять долларов.

Лестница, потом улицы, улицы... а песенка из сигарной шкатулки все звучит у нее в ушах — когда же она наконец смолкнет.

В витрине, где прежде стоял Санта-Клаус, теперь новая выставка, но и она тоже лишает душевного равновесия. Витрина эта всегда притягивает точно магнит, и, даже когда, как сегодня, опаздываешь к мистеру Реверком-

бу, все равно нет сил пройти мимо. Гипсовая девица с яркими стеклянными глазами сидит на велосипеде и бешено крутит педали — спицы мелькают, колеса вертятся, будто заколдованные, но велосипед, понятно, не двигается с места. Бедняжка старается изо всех сил, а толку чуть. Грустно это, совсем человеческая судьба и так напоминает ее собственную, что при взгляде на велосипедистку Сильвию всякий раз пронзает острые боль. Вновь зазвучала музыкальная шкатулка — та песенка, брат, родной дом, школьный бал, родной дом, песенка! Неужто мистер Реверкомб не слышит? Его сверлящий взгляд так хмуро подозрителен. Но сон ему как будто понравился, и, когда она уходила, мисс Моцарт вручила ей конверт с десятью долларами.

— Мне приснился сон на десять долларов, — сказала она Орилли, и тот, потирая руки, отозвался:

— Отлично, отлично! Но какой же я невезучий, малышка... что бы тебе прийти пораньше... я сдуру отмочил штуку. Зашел в винный магазин, схватил бутылку и давай бог ноги.

Сильвия не поверила своим ушам, но он достал из застегнутого булавками пальто уже наполовину пустую бутылку виски.

— Ты рано или поздно угодишь за решетку, — сказала она, — а как же тогда я? Как я буду без тебя?

Орилли рассмеялся и плеснул в стакан немного виски. Они сидели в ночном кафетерии — в огромной, ярко освещенной обжорке с голубыми зеркалами и аляповатой росписью на стенах. Сильвия терпеть не могла это заведение — и все же они часто обедали здесь; ведь даже если бы ей было по карману место получше, куда еще они могли пойти вдвоем? Очень уж странная они пара: молоденькая девушка и пожилой пьяничужка, который еле держится на ногах. Даже здесь, и то на них нередко таращат

глаза, и, если кто-нибудь глядит чересчур назойливо, Орилли с достоинством выпрямляется и заявляет:

— Эй, губошлеп, давненько я тебя не видал. Все работаешь в мужской уборной?

Но обычно они предоставлены самим себе и порой засиживаются за разговором до поздней ночи.

— Хорошо, что все прочие поставщики господина Злого Рока не знают про эти десять монет. Не то кто-нибудь уж обязательно завопил бы, что твой сон краденый. Со мной один раз так было. Отребье. Сроду не встречал такой стаи акул. Хуже актеров, хуже клоунов, хуже дельцов. Если подумать, так все это просто безумие: неизвестно, заснешь ли, да приснится ли что, да запомнится ли. Вечно как в лихорадке. Получаешь несколько монет, кидаешься в ближайший винный магазин... или к ближайшему автомату за таблеткой снотворного. Послушай, малышка, а ты знаешь, на что это похоже? Это в точности как жизнь.

— Нет, Орилли, это совсем не жизнь. Ничего общего. Это куда больше похоже на смерть. Чувство такое, словно у меня все отняли, обокрали, раздели до нитки. Понимаешь, Орилли, у меня не осталось никаких желаний, а ведь их было так много! Что же это такое? Как жить дальше?

Орилли усмехнулся.

— И ты еще говоришь, это не похоже на жизнь! А кто что-нибудь понимает в жизни? Кто знает, как жить?

— Не паясничай, — сказала Сильвия. — Не паясничай, убери виски и ешь суп, а то он будет холодный как лед.

Она закурила сигарету, от дыма защипало глаза, и она еще больше нахмурилась.

— Если бы только понять, на что ему наши сны, целая картотека снов. Что он с ними делает? Ты верно говорил, он и правда Злой Рок... Конечно же, он не просто

безмозглый шарлатан, и это не просто бессмысленная чепуха. Но вот зачем ему сны? Помоги мне, Орилли, ну, подумай, пошевели мозгами: что все это значит?

Скосив глаза, Орилли плеснул себе еще виски. Распущенные в шутовской гримасе губы подобрались, лицо сразу стало серьезное, вдумчивое.

— Вот это всем вопросам вопрос, малышка. Что бы тебе спросить о чем попроще, ну, например, как лечить простуду. Ты спрашиваешь, что все это значит? Я много думал об этом, детеныш! Думал, когда любился с женщиной, думал и посреди игры в покер.— Он проглотил виски, и его передернуло.— Любой звук может породить сон. Прокатит ночью одинокая машина — и толкнет сотни спящих в глубь самих себя. Смешно подумать, вот летит сквозь ночь один-единственный автомобиль и тащит за собой такой длинный хвост снов. Секс, внезапная перемена света, хмель — это все тоже ключики, ими тоже можно отворить наше нутро. Но по большей части сны снятся потому, что внутри нас беснуются фурии и распахивают настежь все двери. Я не верю в Иисуса Христа, но верю, что у человека есть душа. И я так думаю, детеныш: сны — память души и потайная правда о нас. А Злой Рок — может, он вовсе без души, вот он и обирает по крохам наши души, обкрадывает — все равно как украл бы куклу или цыплячье крыльышко с тарелки. Через его руки прошли сотни душ и сгинули в ящике с картотекой.

— Не паясничай, Орилли,— повторила Сильвия с досадой; ей казалось, что он все шутит.— И погляди, твой суп... Она осеклась, испуганная, такое странное стало у него лицо. Он смотрел в сторону входной двери. Там стояли трое — двое полицейских и еще один, в холщовой куртке продавца. Продавец показывал на их столик. Точно загнанный, Орилли обвел зал отчаянным

взглядом, потом вздохнул, откинулся на стуле и с напускным спокойствием налил себе еще виски.

— Добрый вечер, господа,— сказал он, когда те трое остановились перед ним.— Не желаете ли с нами выпить?

— Его нельзя арестовать,— закричала Сильвия.— Клоуна нельзя арестовать!

Она швырнула в них бумажкой в десять долларов, но полицейские даже не поглядели на нее, и она принялась колотить кулаком по столу. Посетители пялили на них глаза, ломая руки, подбежал хозяин кафетерия. Полицейский велел Орилли встать.

— Извольте,— сказал Орилли,— только совестно вам подымать шум из-за такой малости, когда всюду кишмя кишат настоящие грабители. Вот возьмите хоть эту девчушку,— он стал между полицейскими и показал на нее,— ее совсем недавно ограбили куда пострашнее: бедняжка, у нее украли душу.

Два дня после ареста Орилли Сильвия не выходила из комнаты — в окно вливалось солнце, потом тьма. На третий день кончились сигареты и она отважилась добежать до закусочной на углу. Купила чайного печенья, банку сардин, газету и сигареты. Все это время она ничего не ела и оттого чувствовала себя невесомой и все ощущения были блаженно обострены. Но, поднявшись по лестнице и с облегчением затворив за собой дверь, она вдруг безмерно устала, даже не хватило сил взобраться на тахту. Она опустилась на пол и пролежала так до утра. А когда очнулась, ей показалось, что прошло всего минут двадцать. Она включила на полную катушку радио, подтащила к окну стул и развернула на коленях газету — *Лана отрицаet, Россия возражает*,

Шахтеры идут на уступки. Вот это и есть самое грустное: жизнь продолжается. Если расстаешься с возлюбленным, жизнь для тебя должна бы остановиться, и если уходишь из этого мира, мир тоже должен бы остановиться, но он не останавливается. Оттого-то большинство людей и встает по утрам с постели: не потому, что от этого что-то изменится, но потому, что не изменится ничего. Правда, если бы мистеру Реверкомбу удалось наконец отнять все сны у всех людей, быть может... мысль ускользнула, переплелась с радио и газетой. *Похолодание.* Снежная буря захватывает Колорадо, западные штаты, она бушует во всех маленьких городках, облекает снегом фонари, заметает следы, она повсюду и везде, эта буря; как быстро она добралась и до нас: крыши, пустырь, все, куда ни глянь, утопает в снегу, погружается глубже и глубже. Сильвия посмотрела на газету, потом в окно. Да, снег валил, наверно, весь день. Не может быть, чтоб он только что начался. Совсем не слышно уличного шума — ни колес, ни гудков; на пустыре в снежном водовороте кружатся вокруг костра ребята; у обочины машина, заметенная по самые окошки, мигает фарами — на помощь! на помощь! — немая, как отчаяние. Сильвия разломила печенье и покрошила на подоконник — пусть прилетят птицы, ей будет веселее. Она не закрыла окно: пусть летят; пахнуло холодным ветром, в комнату ворвались снежинки и растаяли на полу, точно фальшивые жемчуга. *Жизнь может быть прекрасна.* Прикрутим это проклятое радио! Ага, ведьма уже стучит в дверь. Хорошо, миссис Хэллоран, отозвалась Сильвия и совсем выключила радио. Снежно-покойно, сонно-молчаливо, только вдалеке ребячими песенками звенит зажженный им на радость костер; а комната посинела от холода, что холоднее холодов из волшебных сказок,— усни, мое сердце, среди ледяных цветов.

Отчего вы не переступаете порога, мистер Реверкомб?
Входите же, на дворе так холодно.

Но пробуждение оказалось теплым и праздничным. Окно было затворено, она лежала в объятиях мужчины. И он напевал ей тихонько, но весело: «Сладкий, золотой, счастливый на столе пирог стоит, но всего милей и слаще тот, что нам любовь сулит».

— Орилли, ты?.. Неужели это правда ты?

— Малышка проснулась. Ну и как она себя чувствует?

— Я думала, я умерла,—сказала Сильвия, и в ее груди трепыхнуло крылом счастье, точно раненая, но еще летящая птица. Она хотела его обнять, но сил не хватило.— Я люблю тебя, Орилли. Ты мой единственный друг, а мне было так страшно. Я думала, никогда больше я тебя не увижу.— Она замолчала, вспоминая.— А как же это ты не в тюрьме?

Орилли заулыбался и слегка покраснел.

— А я и не был в тюрьме,—таинственно сообщил он.— Но сперва надо перекусить. Я кое-что купил нынче утром в закусочной.

У нее вдруг все поплыло перед глазами.

— А ты здесь давно?

— Со вчерашнего дня,—ответил он, хлопотливо разворачивая свертки и расставляя бумажные тарелки.— Ты сама меня впустила.

— Не может быть. Ничего не помню.

— Знаю,—только и сказал он.— Вот, будь умницей, выпей молочка, я расскажу тебе презабавную историю. Умора!— он радостно хлопнул себя по бокам. Никогда еще он так не походил на клоуна.— Ну вот, я и правда не был в тюрьме, мне повезло. Волокут меня эти бродяги по улице и вдруг — кого я вижу? — навстречу эдак враскачу шагает та самая горилла, ну, ты уж догада-

лась — мисс Моцарт. «Эй, — говорю я, — в парикмахерскую идете, бриться?» «Пора, пора вам за решетку», — говорит она и улыбается одному из фараонов. — «Исполняйте свой долг, сержант». Ах вот как, говорю. А я вовсе не арестованный. Я... я иду в полицию рассказать всю вашу подноготную. И заорал: держи коммунистку! Представляешь, как она тут заверещала? Вцепилась в меня, а фараоны — в нее. Я их предупреждал, это уж точно. «Осторожней, ребята, — говорю, — у нее вся грудь шерстью поросла». А она и впрямь лупила их почем зря. Ну, я и пошел себе дальше, вроде мое дело сторона. Не люблю я эту здешнюю привычку — пялить глаза на всякую драку.

Орилли так и остался у нее на эту субботу и воскресенье. Никогда еще у Сильвии не было такого прекрасного праздника, никогда она столько не смеялась, и никогда, ни с кем на свете, тем более ни с кем из родных не чувствовала себя такой любимой. Орилли был отличный повар и на маленькой электрической плитке стряпал восхитительные кушанья; а однажды он зачерпнул снегу с подоконника и приготовил душистый шербет с земляничным сиропом. К воскресенью Сильвия уже настолько пришла в себя, что могла танцевать. Они включили радио, и она танцевала до тех пор, пока, смеясь и задыхаясь, не упала на колени.

— Теперь я уже никогда ничего не испугаюсь, — сказала она. — Даже и не знаю, чего я, собственно, боялась.

— Того самого, чего испугаешься в следующий раз, — спокойно ответил Орилли. — Это все Злой Рок виноват: никто не знает, какой он, даже дети, а ведь они знают почти все.

Сильвия подошла к окну. Город был нетронутобе-

лый, но снег перестал и вечернее небо прозрачно, как лед. Над рекой всходила первая вечерняя звезда.

— Вот первая звезда! — сказала она и скрестила пальцы.

— А что ты загадываешь, когда видишь первую звезду?

— Чтобы скорей выглянула вторая, — ответила Сильвия. — Прежде я всегда так загадывала.

— А сегодня?

Она села на пол, прислонилась головой к его колену.

— Сегодня мне хочется вернуть мои сны.

— Думаешь, тебе одной этого хочется? — сказал Орилли и погладил ее по голове. — А что ты тогда станешь делать? Что бы ты делала со своими снами, если бы тебе их вернули?

Сильвия помолчала, а когда заговорила, взгляд у нее стал печальный и отчужденный.

— Уехала бы домой, — медленно сказала она. — Это ужасное решение, мне пришлось бы отказаться почти от всего, о чем я мечтала. И все-таки, если бы Реверкомб вернул мне мои сны, я бы завтра же уехала домой.

Орилли ничего не сказал, подошел к стенному шкафу и достал пальто Сильвии.

— Зачем? — спросила она, когда он подал ей пальто.

— Надевай, надевай, — сказал он, — слушайся меня. Мы нанесем визит мистеру Реверкомбу, и ты попросишь его вернуть твои сны. Чем черт не шутит!

Уже у двери Сильвия заупрямилась.

— Пожалуйста, Орилли, не веди меня туда. Ну, пожалуйста, я не могу, я боюсь.

— Ты, кажется, говорила, что больше уже ничего не побоишься.

Но, когда они вышли на улицу, он так быстро повел ее против ветра, что не оставалось времени пугаться. День был воскресный, магазины закрыты, и, казалось, светофоры мигали только для них: ведь по утонувшим в снегу улицам не проезжала ни одна машина. Сильвия даже забыла, куда они идут, и болтала о разных разностях: вот на этом углу она однажды видела Грету Гарбо, а вон там переехало старуху. И вдруг она остановилась ошеломленная: она разом все поняла, и у нее перехватило дыхание.

— Я не могу, Орилли,—сказала она, попятившись.—Что я ему скажу?

— Пусть это будет обыкновенная сделка,—ответил Орилли.—Скажи ему без обиняков, что тебе нужны твои сны, и если он их отдаст, ты вернешь ему все деньги. В рассрочку, разумеется. Это проще пареной репы, малышка. Отчего бы ему, черт подери, их не вернуть? Они у него все хранятся в картотеке.

Эта речь странным образом убедила Сильвию, и она осмелилась и пошла дальше, притоптывая окоченевшими ногами.

— Вот и умница.

На Третьей авеню они разделились: Орилли полагал, что ему сейчас небезопасно находиться по соседству с домом мистера Реверкомба. Он укрылся в подъезде и время от времени чиркал спичкой и громко распевал: «Но, всего милей и слаще тот, что виски нам сулит!» Длинный тощий пес неслышно, словно волк, прокралялся по залитой лунным светом мостовой, исчерченной тенями эстакады, а на другой стороне улицы маячили смутные силуэты мужчин, толпившихся у бара. При мысли, что у них можно бы выклянчить стаканчик, Орилли почувствовал слабость в ногах.

И, когда он совсем было решился попытать счастья, вернулась Сильвия. Он еще даже не успел узнать ее, а она уже кинулась к нему на шею.

— Ну, ну, все не так худо, голубка,— сказал он, бережно ее обнимая.— Не плачь, детеныш. Слишком холодно, у тебя потрескается кожа.

Она пыталась одолеть душившие ее слезы, заговорить и плач вдруг перешел в звянящий, неестественный смех. От ее смеха в воздухе заклубился пар.

— Знаешь, что он сказал? — выдохнула она.— Знаешь, что он сказал, когда я попросила вернуть мои сны? — Она откинула голову, и смех ее взвился и полетел через улицу, точно пущенный на произвол судьбы, нелепо раскрашенный воздушный змей. В конце концов Орилли пришлось взять ее за плечи и хорошенько встряхнуть.— Он сказал, что не может их вернуть, потому что... потому что уже все их использовал.

И она замолчала, лицо ее разгладилось, стало безжизненно спокойным. Она взяла Орилли под руку, и они двинулись по улице; но казалось — это двое друзей меряют шагами перрон и каждому не терпится, чтобы отошел поезд другого; когда они дошли до угла, Орилли откашлялся и сказал.

— Пожалуй, я здесь сверну. Не все ли равно, тут или на другом углу.

Сильвия вцепилась в его рукав.

— Куда же ты пойдешь, Орилли?

— Буду витать в облаках,— сказал он, пытаясь улыбнуться, но улыбка не давалась.

Сильвия открыла сумочку.

— Без бутылки в облаках не повитаешь,— сказала она, поцеловала его в щеку и сунула ему в карман пять долларов.

— Спасибо тебе, детеныш.

Что из того, что это последние ее деньги и теперь ей придется идти домой пешком, совсем одной. Снежные сугробы были точно белые волны белого моря, и она плыла, уносимая ветром и приливом. Я не знаю, чего хочу, и, быть может, так никогда и не узнаю, но при виде звезды единственное мое желание всегда будет — увидеть еще одну; и ведь я теперь и вправду не боюсь, подумала она. Двое парней вышли из бара и уставились на нее; давным-давно, где-то в парке, она вот так же встретила двоих, быть может, вот этих самых. А ведь я и вправду не боюсь, подумала она, слыша у себя за спиной приглушенные снегом шаги; да и все равно, больше у нее уже нечего украсть.

БАЛЛАДА О ЧЕРДАЧНИКЕ

Под утро похолодало, выпала роса. Он осторожно выполз через приоткрытую раму слухового окна, мохнатыми крючками на заостренных пятках ухватился за черепицу и с блаженным вздохом подставил лунным лучам тощие конечности, похожие на паучьи. Погреться иной раз в лунном свете — вот единственное, что доставляло ему неподдельную радость. Насекомых, попадавших на чердак через слуховое окно, и росу, которую можно слизывать с мха, покрывавшего древние черепицы, он вовсе не почитал лакомством. Ему немного было надо. Анатомически он так был приспособлен к тому образу жизни, который вел, что ему не приходилось затрачивать почти никаких усилий. Тощие, несоразмерно длинные ноги помогали ему легко перескакивать с одной крыши на другую или пробегать по мосткам, соединявшим трубы, а мохнатые крючки на пятках не давали скользить; что касается длинных рук, то, раскинув их в стороны, он мог пользоваться ими, как канатоходец шестом.

Прозрачные шары огромных глаз более чем наполовину выставлялись из орбит. Зато голова у него была сравнительно маленькая. Не так уж была она ему нужна. Он действовал без долгих раздумий, почти машинально, довольствуясь, в общем, тем, что просто существует. Днем он спал, забившись между стропилами, — знал, что тут никто его не потревожит; просто из любви к движению он прыгал по окрестным кровлям, а по-

том отдыхал, подыскав ровное местечко, открытое лунным лучам. Давно уже ему не доставляло удовольствия, уцепившись ногами за карниз, свешиваться к мансардным окнам, чтобы протяжным воем «у-у-у!» и сверканием шаровидных глаз испугать семью, сидевшую за ужином, или бедную служаночку, которая, зажав в руке снятый чулок, мечтала о гусарах. Мир изменился, но Чердачник оставался прежним, потому что обладал весьма небогатой фантазией. Он был прост. Он был старой школы.

И никогда он не ломал голову, зачем это люди время от времени лазают под покровом ночи через слуховые окна, таская на себе какие-то узлы. Он полагал, что это доставляет им удовольствие,— ведь он сам испытывал удовольствие оточных прогулок по крышам; правда, прежде чем окончательно примириться с таким явлением — что произошло уже очень давно,— Чердачник нет-нет да и задумывался, почему люди выбрали именно это развлечение, когда они так плохо видят в темноте. Однажды, много лет назад, он крикнул «у-у-у!» одному такому человеку с узлом; глупец перепугался и слетел с крыши. Потом Чердачнику пришлось долго кричать свое «у-у-у!», чтобы прогнать множество людей, которые под водительством толстяка в шляпе с пером и с лентой на поясе поднялись на чердак и принялись тыкать в щели между балками своими безобразными острыми алебардами. Но все это было очень давно. С тех пор Чердачник так больше не шутил. Он хотел покоя и обрел его.

В соседнем слуховом окне ёкристнули навесные петли, рама медленно поднялась. Опять кто-то лезет. Ясно! Вот он высунул голову из окна, озираясь глупыми невидящими глазами, выволок за собой узел и — смешной, неуклюжий! — пополз по мосткам, ведущим от тру-

бы к трубе; хочет перебраться на крышу соседнего дома, а там через наружные галереи спуститься вниз. Чердачнику противно было смотреть на него. Вот крикнуть «у-у-у!» — и конец человеку...

Но Чердачник даже не пошевелился. Темно-серый от пыли и паутины, он почти совершенно сливался с темной кровлей, оставаясь неразличимым под ласковыми, ясными и теплыми лучами месяца. Лежать ему было удобно. Задумай он изменить позу — загремел бы суставчатым телом по неровной крыше...

Не успел Чердачник вволю понежиться в месячном сиянии, как в слуховом окне показалась вторая голова. Что-то они сегодня оживились... Чердачник ждал, что и этот потащит за собой узел. Нет, узла не было. Человек вылез налегке, он двигался более ловко, чем предыдущий; брызнув впереди себя противным желтым светом, он пошел по мосткам. В лунном свете поблескивали пуговицы, начищенные сапоги и еще что-то на плечах. Шел он осторожно.

Он был совсем близко, над головою Чердачника, который следил, как передвигаются блестящие сапоги. Человек пройдет мимо, и опять настанет покой. Много их уже проходило...

И тут трухлявая доска треснула у самого края и сломалась. Нога человека повисла в воздухе.

— У-у-у! — что было мочи закричал Чердачник и, вцепившись локтями в балки, поднялся во весь свой рост. — У-у-у! — выл он как можно громче. — У-у-у!

Он ужасно испугался, что человек упадет и наступит ему на голову.

Но человек, к счастью, удержал равновесие. Он покачался на одной ноге, потом прижался спиной к железным перилам мостков, вынул какую-то блестящую штуку — и что-то щелкнуло.

— Стой! — сказал он.— Руки вверх, или стрелять буду!

Чердачник сжался в комочек; он скользнул под мостками на другую сторону, но и там его подстерегал противный желтый свет, а человек повторил свой приказ. Чердачник медленно воздел руки к месяцу.

Он знал, что означает слово «стрелять», и не любил этого. Ему от этого делалось страшно. Не так давно люди гонялись друг за другом по его крышам, влезали на самый верх и падали вниз, и брызгами разлетались черепицы, и что-то странное свистело, грохотало и не давало ему спать. Один раз что-то пролетело над самой его головой, проделав в крыше дырочку, в которую можно было просунуть большой палец. Потом люди прекратили это занятие. Но уж очень все это было неприятно, и, чем доводить дело до «стрелять», лучше выполнить то бессмысленное требование человека.

— У-у-у! — еще раз на всякий случай взвыл Чердачник: а вдруг подействует.

Нет, не подействовало. Тогда он вышел на свет.

Подпоручик ойкнул и чуть не выронил пистолет и фонарик. То, что предстало перед ним, было так неожиданно и так безобразно — нечто вроде огромного паука с четырьмя лапами или вроде старого, непомерно разросшегося скелета... Глазища были как матовые лампочки, а по обеим сторонам маленькой круглой морды свисали чуть не до плеч длинные пыльные пряди — впрочем, настоящих плеч у страшилища и не было. Поднятые руки росли будто прямо из шеи. И грудной клетки, как таевой, не замечалось. В общем, было это не приведи господи что такое.

Подпоручик тоскливо подумал, что нечего было ему лезть на крышу, а тем более одному. Но чердачных воров развелось в последнее время более чем достаточно,

и не так уж приятно поминутно выслушивать брюзжание Старика: «Да,уважаемый товарищ, как ни странно, чердачные воры орудуют преимущественно на чердаках. Возможно, вам трудно себе представить, но это факт, поверьте!» Может быть, какому-нибудь старому служаке, которому через год все равно на пенсию выходить, такое брюзжание как с гуся вода, потому что ему уже на все... и так далее, но молодой человек, как правило, хочет расти. Хотел расти и подпоручик. Он как-то привык к мысли, что вырастет. Божена тоже привыкла и все говорила: надо стараться, чтоб добиться успеха, раз уж взялся за такое дело. Двадцативосьмилетнему парню очень грустно опростоволоситься на том, что кто-то очищает чердаки, да еще так ловко. У него с Боженой наверняка будут еще дети, а подпоручик вовсе не хотел, чтобы у его детей был отец, так и не сумевший вырасти. Всегда очень выгодно иметь отца, который вырос. И каждый отец обязан думать о своих детях. Это его долг.

Да, но нет никакого смысла торчать на крыше и держать под прицелом какую-то нежить, тем более что она и не сопротивляется. Подпоручик сунул оружие в кобуру.

— Можете опустить руки,— сказал он.

Чердачник свесил лапы вдоль жердеобразного туловища. Теперь он мог бы удрачить. Стоит вскочить на гребень крыши и переметнуться на ту сторону, а там, по карнизу, можно добраться куда угодно. Но происшествие развлекло его. Еще никто никогда не обращался к нему прямо. Никто и никогда, собственно, не заговаривал с ним. Порой его досада брала. Он часто слышал разговоры людей, знал смысл слов, даже сам пробовал иногда поговорить. Выходило неплохо, только ведь разговаривать с самим собой — совсем не то...

Подпоручик откашлялся. Он был явно растерян. Вынул пачку сигарет, протянул страшилищу. Чердачник не двинулся. Он не принял и не отверг дара. Просто он не знал, чего от него хотят. Подпоручик спустил протянутую руку, сам взял сигарету, чиркнул спичкой. Чердачник съежился. Может быть, человек все-таки хочет причинить ему вред? Он не любил огня. Не доверял огню.

Подпоручик еще раз кашлянул и затянулся.

— Простите, — сказал он, — видно, я впопыхах спутал вас с другим. Смешно, правда! Я видите ли, выслеживаю воров. Кто-то тут, в районе, систематически делает чердаки. Непонятно это мне, ведь на такие тряпки нынче мало кто позарится, тем более риск-то какой! А ваше мнение? Впрочем, у каждого свой вкус. Будьте добры, скажите, тут никто не вылезал недавно из слухового окна?

— Вылезал, — промолвил Чердачник.

Человек на мостках импонировал ему, потому что не боялся его и разговаривал с ним вежливо. Он хотел еще добавить, что тот, кто недавно вылез из окна, тащил на себе узел, да раздумал. Этот умный человек, который не боится привидений, конечно, знает, что почти все люди, появляющиеся на крышах ночью, обязательно тащат узлы.

— Как он выглядел? Вы можете описать его?

— Выглядел как человек, — молвил Чердачник. — Думаю, это был человек. Очень похоже на то.

— Почему вы так думаете?

— Нес узел.

— Ага. Откуда он вылез?

— Отсюда, потом прошел по мосткам и на другой стороне спустился по галереям.

Подпоручик задумался. Он был не дурак. И его, естественно, занимало, что тут делает это чучело и вообще что оно такое. Подпоручик оказался достаточно умен, чтобы не расспрашивать о вещах, которые не сулят ничего хорошего. И ему поручили ловить не чердачных домовых, а чердачных воров. Насчет домовых Стариk ничего не говорил.

— Так вы здесь всегда проживаете?

— Всегда,— ответил Чердачник.

Нет, пожалуй, этот человек не так уж умен, если спрашивает о том, что само собой разумеется.

Подпоручик присел на мостки.

— Садитесь и вы поближе, чтоб глотку не надсаживать!

Он закурил еще одну сигарету. Из опасения — думал, что такое страшилище, наверно, ужасно смердит.

Чердачник одним прыжком преодолел разделявшее их расстояние, уцепился лапой за мостки, взметнулся наверх и уселся возле человека с блестящими пуговицами. Подпоручик отметил про себя, что хотя страшилище омерзительно, но, как ни странно, совсем не воняет.

— Видите ли, у меня к вам просьба,— сказал подпоручик.— Я попал в трудное положение. Вот вы говорите, что всегда здесь живете, а я не могу, у меня дела внизу. К тому же семья, знаете ли. Парню моему уже восемь месяцев. Вот он, смотрите.— И подпоручик вытащил фотографию.

Чердачник знал, что люди страшно носятся со своими детенышами. Они подчиняются их тиранию, сюсюкают «тю-тю-тю, ти-ти-ти», хотя сами друг другу очень редко говорят «тю-тю-тю» и «ти-ти-ти», и вообще скачут перед своим потомством на задних лапках. Этого Чердачник никак не мог понять, потому что никогда не был

детенышем. Теперь он не знал, что сказать, и очень смутился: а вдруг человек не захочет с ним больше разговаривать?

Подпоручик спрятал фотографию в нагрудный карман. Он полагал, что проявил достаточно простых человеческих чувств к собеседнику и можно приступать к делу.

— Короче говоря, мне нужна ваша помощь. Надо узнатъ, кто обворовывает чердаки, а вам ведь... Конечно, все останется между нами; вы, возможно, имеете на этот счет предрассудки, но в то же время вы обязаны нам помочь.

Он чуть было по привычке не заговорил о гражданском долге, да удержался. Привидение вряд ли можно причислить к гражданам.

Чердачник был польщен: ведь это первый человек, заговоривший с ним.

— Что я могу сделать? — спросил он.

Эти слова казались ему верхом вежливости. Он слышал, как их произносил художник, живший под самой крышей, когда к нему приходил судебный исполнитель. Правда, художник давно умер.

— Мне надо узнать, как зовут вора, — сказал подпоручик, — об остальном мы уж сами позаботимся.

— Почему вы его сами не спросите? — удивился Чердачник. Он был наивный и сказал это без всякой задней мысли.

— Ха-ха! Вряд ли я с ним встречусь. У вас больше шансов застукать его.

Чердачник понял, что, уставив имя человека с узлом, он принесет пользу человеку с золотыми пуговицами. Но он не понимал, что разделяло обоих. Больше всего он дрожал за свой покой. Ему казалось, что все люди защищают тех, с узлами, — он думал так потому,

что в ту давнюю ночь, когда один из них свалился с крыши от испуга, много народа пришло на чердак: хотели, наверное, отомстить за упавшего. А Чердачнику меньше всего хотелось, чтобы на его чердаке сутились с факелами и алебардами.

— Что сделал вам тот человек с узлом? — осторожно спросил он.

— Мне — ничего, — улыбнулся подпоручик наивности чудища. — Он просто вор. Берет вещи, которые ему не принадлежат.

Чердачнику никогда ничего не принадлежало. Поэтому он считал, что если у кого-нибудь есть особо ценная вещь, то он должен сам за ней следить. Он попытался как можно вежливее выразить эту мысль. Подпоручика передернуло. Его собеседник оказался не только уродиной, но вдобавок и совершенно аморальным... созданием. Но ничего не поделаешь. Он был ему нужен.

— Штука, видите ли, вот в чем, — стал объяснять подпоручик, — если у кого есть добро, заработанное собственным трудом, то никто не смеет у него это отнять. Хочешь чего-нибудь, будь любезен заработай денежки честным трудом, а следовательно, нельзя отнимать ни у кого и нельзя никого заставлять на себя работать.

Чердачник слушал затаив дыхание. Ему это нравилось. Оказывается, мир куда интереснее, если понять, что им движет.

— А чего еще нельзя делать?

Опять подпоручик несколько растерялся. Не излагать же призраку уголовный кодекс. И времени много потребуется, да, кроме того, в этом подпоручик был не особенно тверд.

— Много чего нельзя, — вывернулся он, — но по большей части вас это не касается. Нельзя воровать ни на чердаках, ни в других местах, убивать нельзя и нельзя

говорить неправду. И нельзя обманывать людей, если вы им что-то пообещали, или пользоваться их трудом в корыстных целях...

— И все люди об этом знают?

— Знают-то все, только некоторые *нарушают*. Это и есть отсталые элементы, и все должны помогать нам пресекать их образ жизни.

Подпоручику никогда еще не приходилось объяснять таких вещей, и потому он объяснял так, будто разговаривал с малым ребенком.

Теперь Чердачнику стало ясно: все люди, которые за долгие годы прошли мимо него с узлами на спинах, были «отсталые элементы», и он пожалел, что не знал этого раньше. Он сказал себе, что тот, кто как-то давно свалился с крыши, испугался его потому, что был «отсталый элемент», а этот, с пуговицами, его не боится, потому что он человек хороший и наверняка не делает ничего такого, чего не подобает хорошим людям.

Следствием таких рассуждений явилось самоотверженнейшее предложение, на которое он только был способен:

— Когда он еще раз придет, я крикну «у-у-у!»...— Чердачник взвыл с таким рвением, что подпоручик чуть не упал с мостков.— Он испугается, свалится и больше не будет нас беспокоить. Хотите?

— Не надо,— возразил подпоручик.— Достаточно установить его имя. Так будет лучше.

Дело было не в полном отсутствии кровожадности в характере подпоручика — просто он руководствовался чисто практическими соображениями. Слов нет, лесника, например, награждают, даже если он принесет одни уши волка, и никто не спросит его, каким образом погиб хищник. Но Старик требует чердачного вора живьем. И, конечно, выставит за дверь подпоручика, явись он

с ушами чердачного вора, разбившегося при падении с крыши.

— И вам будет приятно?

— Я что... Это — в интересах общества. Но, конечно, и мне будет приятно. Итак, договорились. Я буду приходить сюда каждую ночь в эту пору и ждать вас здесь, на мостках, а вы мне будете рассказывать, что вам удалось узнать.

Подавляя отвращение, он протянул страшилищу руку в кожаной перчатке. Чердачник не понял, но он уже не боялся, потому что человек, рассказавший ему о жизни людей, стал его другом. Он позволил руке в кожаной перчатке сжать свою лапу. Подпоручик поднялся, потирая озябшие колени. Приближалось утро. Небо между трубами светлело.

В следующие две ночи ничего не произошло. Подпоручик приходил напрасно и уходил разочарованным. Это было очень досадно Чердачнику, но в то же время он был рад, что его навещает друг. Он уже входил во вкус разговоров о том, что хорошо и что плохо. Если бы привидения обладали способностью расцветать, он расцвел бы за эти две ночи, как розовый куст. Впервые почувствовал он, что бытие имеет какой-то смысл: ведь теперь он знал, что всякое начинание на что-нибудь да направлено, и, кроме того, на него была возложена теперь задача.

На третью ночь он эту задачу выполнил. Все оказалось обескураживающе легко.

Чердачник услышал скрип оконных петель на одной из соседних крыш — было это вскоре после того, как друг его удалился. Скачками помчался Чердачник на звук. Недавно прошел дождь, крыши были мокрые. Чердачник даже ушиб колено. Он никогда еще не бегал так быстро по скользким от дождя крышам, зато подо-

спел как раз в тот момент, когда человек закрыл за собой раму слухового окна и наклонился к лежавшему у его ног узлу. Чердачник не собирался пугать его. Ведь друг не хотел, чтобы человек с узлом упал с крыши. Поэтому он спрятался за трубой и, вспомнив, как надо действовать в подобных случаях, крикнул:

— Руки вверх, или стрелять буду!

Человек с узлом всмотрелся в темноту, но не мог различить того, кто произнес эти слова. Чердачник был довольно далеко от него.

— Не валяйте дурака, начальник! — весело сказал человек.

Он был большой рутинер и знал, что редко кто в этой стране носит оружие, да и тот, кто носит, слишком благоразумен, чтобы из-за нескольких штук белья или разобранной швейной машинки сбить выстрелом человека с крыши.

— Руки вверх, — повторил Чердачник заклинание, в действенности которого был твердо уверен.

— Пошел ты к черту, — произнес человек с узлом.

Сверху, от трубы, из-за которой доносился голос Чердачника, крыша спускалась круто, без единого выступа, и ухватиться было не за что. Преследователю пришлось бы катиться до самого края крыши, и если бы ему не удалось ухватиться за карниз — чего человек с узлом никому не посоветовал бы делать, — то вся эполея могла окончиться внизу во дворе, между мусорными баками. Там утром могли бы подтереть мокре место, которое осталось бы от преследователя.

Поэтому человек спокойно поднял узел и перекинул его на спину. Он вполне сознавал свое преимущество, — ведь он великолепно знал место действия. Если только никто не подстерегает его внизу — а его никто не подстерегал, в противном случае Тонда свистнул бы, — то этот

парень за трубой так же для него опасен, как черт из марципана. Он ступил на мостки.

Чердачник был в отчаянии. Если человек с узлом удерет, друг наверняка рассердится и никогда больше не придет поболтать с ним. А человек с узлом, быть может, не вернется, он, наверное, перепугался, и теперь Чердачник потеряет друга только оттого, что не выполнил своего обещания. Чердачник мог в несколько прыжков догнать человека с узлом. А если тот от страха свалится? Друг этого не желает...

Тем временем человек с узлом перешел мостки. Он был так уверен в успехе, что даже не оглядывался. Потом он повесил узел себе на шею и стал спускаться по железной лесенке к небольшой площадке, разделявшей две островерхие кровли старинного дома. Чердачник раскинул руки и побежал по гребню крыши. Единственное, что ему теперь оставалось,— это спрыгнуть на ту же площадку. Спрыгнуть так, чтобы очутиться между ее краем и человеком и подхватить того, если он с перепугу упадет.

Площадка была мала, к тому же скользкая от дождя, старый цемент отваливался по краям целыми кусками. Чердачник не знал, может ли он разбиться до смерти. Он никогда над этим не задумывался. Но по опыту знал, что может, как и всякий другой, удариться и причинить себе боль, если забудет об осторожности или если его не выручит врожденное умение сохранять равновесие и хвататься когтями за поверхность крыши. До сих пор он никогда не шел на риск. В этом не было нужды. Теперь такая необходимость настала. Он пригнулся и спрыгнул.

Человек с узлом заметил, как что-то сорвалось с конька крыши, пролетело по воздуху и упало у самых его ног,— что-то похожее на огромного, поджавшего лапы

паука. Потом оно вытянулось во весь рост, озаряяное лунным светом.

— У-у-у! — завыл Чердачник. Для этого воя он все время, пока бежал, старался сэкономить дыхание.

Человек выпустил узел из рук и приkleился спиной к мокрой штукатурке пожарной стены. Он чувствовал, как крошится штукатурка под его пальцами, судорожно царапавшими стену. Потом он тоже закричал. Он никогда еще не видел ничего страшнее той фигуры, что выросла перед ним на краю площадки.

— У-у-у! — все выл Чердачник. Он даже радовался, что одержал победу с помощью традиционного своего оружия.

Человек уже не кричал, он хрипло сипел от ужаса. И он поднял руки. Он сдавался. Чердачник смотрел на него с известным удовлетворением. «Отсталый элемент» боялся его.

— Как вас зовут? — спросил Чердачник и повторил вопрос, потому что «отсталый элемент» перепугался до такой степени, что не в силах был отвечать.

Наконец он пролепетал:

— Богумил Кепка...

Вот и все. Чердачник выполнил свою задачу. Он подхватил узел, вбежал по крыше и положил его за трубой. Узел затруднял движения, силы Чердачника были невелики, он не привык носить тяжести. После этого он спустился на ближний чердак, залез за стропила и мгновенно уснул: до утра оставалось много времени. И Чердачнику было совершенно безразлично, что Богумил Кепка без малого час сползal во дворик — так тряслись у него руки и ноги.

На следующую ночь Чердачник с триумфом доложил своему другу имя преступника. Он весь трепетал от за-

таенной гордости. Подпоручик, услышав имя, стал очень серьезным.

— Подумать только, это Богумил Кепка... А вы не ошиблись? Он живет в соседнем квартале, работает кровельщиком... Что ж, разберемся!

Когда через сутки, вскоре после наступления темноты, подпоручик снова явился на свидание, Чердачнику, очень чувствительному к свету, показалось, что глаза у его друга сверкают ярче, чем пуговицы, сапоги и все остальное, вместе взятое.

— Парень не только признался во всем,— объявил подпоручик,— но мы еще нашли у него остатки добычи от прежних походов. Только он божился,— тут подпоручик хихикнул,— что все равно уже собирался оставить это занятие, потому как встретил вчера, говорит, привидение и больше ни за что на свете не полезет на крышу. Ну, знаешь...— Впервые друг называл Чердачника на «ты»,— ну, знаешь, без тебя мы ждали бы его до второго пришествия! Ох, как он *раскололся!* Нет, просто здорово, что ты нам помог.

При таких обстоятельствах подпоручик имел привычку класть руку собеседнику на плечо, но, поскольку в данном случае плечо отсутствовало, он рукой в кожаной перчатке слегка потрепал страшилище по костлявому затылку.

— Это был мой долг,— сказал Чердачник.

Он рад был похвале, рад был, что помог людям,— ведь теперь он знал правила того мира, в котором ему дано было существовать.

— Ну, ладно,— молвил подпоручик.— Я знаю. Но кроме того: кто трудится, достоин, как говорится, награды. С тобой, правда, тяжеленько будет решить этот вопрос в обычной форме, но ты сам подумай, нет ли у тебя какого желания? Конечно, в пределах моих воз-

можностей... Ну и вообще — уж я замолвлю словечко... Понимаешь, я, может быть, еще буду просить у тебя помощи. В Праге осталось несколько чердачных ворюг, и после такого успеха мне поручили... Но я тебе все расскажу, когда нужно будет. А теперь к делу. Скажи, чего тебе хочется?

Чердачник ощутил, как под слоем пыли и паутины напрягается и дрожит его кожа. Было у него желание. До сих пор он никогда ничего не желал. И вот он впервые испытывал чувство, какое бывает у нас, когда мы вдруг видим, что может исполниться то, чего мы еще не так давно начали желать. Это совсем особое чувство, потому что возможность исполнить желание нам слаще всего, пока время и рассуждения не поцарапали его новенькую блестящую поверхность.

— Ну, что ж ты молчишь? — спросил подпоручик.

Чердачник обратил на него взгляд, полный преданности и нерешительности.

— Если б мне... — И, не в силах долее сдерживаться, он выложил все: — Я хотел бы как-нибудь побывать среди людей. Хоть один раз. Увидеть, как они живут, услышать их разговоры, только не с крыши, и самому поговорить с ними, потому что... мне кажется, это должно быть очень приятно.

Подпоручик рассмеялся счастливым мальчишеским смехом. Он рад был, что желание оказалось таким простым.

— Ну, это я могу тебе обещать. Это уж точно. Ты это заслужил. Если тебе хочется, я, конечно, буду приходить сюда, даже когда мы $\tilde{\text{не}}$ будем больше работать вместе. До тех пор пока ты захочешь. А когда справимся с тем делом, которое нам сейчас предстоит, я как-нибудь вечерком возьму тебя к себе и мы поболтаем до утра. И нашему малышу ты расскажешь про крыши,

про все, что видел и всякое такое. Рад? Ага? Вот видишь, все в порядке. Ну пока!

Подпоручик еще раз потрепал Чердачника по затылку и влез в слуховое окно.

Наступила ночь. Ярко светила луна, но Чердачник чувствовал, что сегодня не сможет недвижно лежать греясь в ее свете. Слишком уж переполняло его счастье. Случилось слишком многое, чтобы он мог сегодня оставаться в одиночестве. Он соскользнул к карнизу, наклонился над улицей и увидел, как его друг вышел из подъезда, как закурил сигарету. Чердачник последовал за ним, прыгая с крыши на крышу; придерживаясь за коньки, он переметывался на соседние кровли, один раз даже перебежал по телефонным проводам на противоположную сторону улицы, танцуя с расставленными руками на проволоке. Так миновал он несколько кварталов и увидел наконец, как его друг отпирает дверь своего дома.

На третьем этаже, если считать от крыши вниз, светились три окна. Чердачник спустился с карниза, повиснув на руках, оперся спиной о водосточную трубу и, ухватившись когтями за провод громоотвода, точными движениями соскользнул к освещенным окнам, а затем спрыгнул на карниз приоткрытого окна. Прячась за выступом стены, он уселся на карнизе, упервшись в него длинными руками.

Молодая женщина в переднике, со стрижеными светлыми волосами и круглым лицом, сидела за столом и что-то шила. Открылась дверь, и в комнату вошел друг. На нем была серая вязаная куртка, а на ногах вместо блестящих сапог — шлепанцы. Женщина подняла голову.

— Разулся? Вот и ладно. Слушай, я купила на воскресенье телятины.

Друг поцеловал ее, сел к столу и закурил.

— Старик похвалил меня за этого Кепку,—довольным тоном сказал он. Пододвинул к себе пепельнице и откинулся на спинку стула.

— И правильно,—сказала жена.—Вообще пусть раздается, что ты у него служишь. Только не сразу он это сообразил.—Она сделала стежок.—Малыш сегодня плохо кушал.

— С чего бы это?—Друг поднялся и, подойдя к белой деревянной кроватке, приоткрыл одеяльце, под которым спал детеныш.

Чердачник равнодушно относился к человеческим детенышам, но этот составлял исключение. Когда-нибудь он расскажет ему все, что видел на крышах. Он как следует подготовится к рассказу, чтобы вышло хорошо. И этот детеныш вырастет таким же честным и славным человеком, как его отец, друг Чердачника.

— Вид у него неплохой,—сказал друг, разглядывая своего детеныша.

— А с чего ему выглядеть плохо?—отозвалась женщина.—Только он мало кушал. Обычно он кушает больше. Вообще он кушает больше, чем другие дети.

Она подошла в кроватку и взяла детеныша на руки.

— Тю-тю-тю,—пропищал друг и пощекотал детеныша по кругленькой щечке. Потом продолжал серьезно:—Старик говорил, что теперь можно подумать и о моем повышении. С Кепкой, говорит, вышло знаменито.

— Ну и слава богу,—сказала женщина, забавляя детеныша.—Мы с Иржичком очень рады. Надеюсь, ты не рассказывал, как было дело? Или рассказывал?

— С ума ты сошла? Я не такой болван.

— Я знала, что ты сообразишь. А как ты объяснил?

— Что это был результат наблюдения. Что у меня возникли подозрения и я проверил их. Старик любит, чтоб так говорили. А что еще я мог ему сказать?

— Конечно,— согласилась женщина,— что с ним за разговор.— Он такой сухарь, никогда не учит, что у человека семья. Надо бы тебе перевестись куда-нибудь в другое место. Возьми хотя бы Ванечка — уже старший поручик!.. Иржичек, смотри, а вот наш папа!.. Но знаешь, что я тебе скажу, не очень-то мне по душе эта история с твоим призраком или как-его там. Не вздумай вообще об этом где-нибудь болтать! Что о нас соседи подумают? И так уж Кучериха говорила мне, что ты шляешься по ночам и ей меня, видишь ли, жалко — понимаешь? — неужели у тебя ночная служба и так далее. Ну, я ей ответила как надо, говорю: знаете, товарищ,— она не любит, когда ее называют «товарищ», так я нарочно,— знаете, товарищ, я своему мужу доверяю, потому что он честный и порядочный человек и ничего ему не надо скрывать, не то что другим, которые дома тише воды, ниже травы, а как зайдут за угол, так и щерятся на каждую юбку, будто выломанный гребешок... Правда, здорово я ее отбила? Дело в том, что у ее женщины спереди нет зуба, ты ведь знаешь его, верно? И все-таки пора тебе бросить ночные походы. Вот и Иржичек папу совсем не видит, и не дай бог кто узнает про этого... про привидение! Пока он тебе нужен, конечно, ничего не поделаешь, но потом постараися как-нибудь от него избавиться. Потому что не будет тебе от этого добра. Место у тебя приличное, еще позавидует кто...

Друг Чердачника улыбнулся женщине и погладил ее по голове.

— Да, конечно! Хорошо, что тебе все можно рассказывать, ты не то что другие жены, не начнешь подозревать мужа бог весть в чем. Ничего, я хорошо знаю свои обязанности перед тобой и малышом. Не позволю я, чтобы все отделение меня дурачило. Но скажу тебе:

иной раз мне здорово приходилось себя пересиливать. Ох, какой же этот призрак уродина!

— Брр,— передернулась женщина и прильнула к подпоручику.— Не говори об этом! Я всегда радуюсь, что я не мужчина, когда слышу о таких вещах.

— Ничего, не ломай себе голову, я уж потом как-нибудь от него отделаюсь. Он не может спускаться с крыш, и вообще, знаешь, какой-то он уже старый. Такой... шелудивый вроде. И до чего простофиля, всему верит. Нет, затруднений мне с ним никаких не будет, за это ручаюсь. Иначе я бы с ним и не связывался. Ну, хватит, нечего портить себе вечер разговорами о нем, ведь он такой безобразный, а ты такая хорошенъкая... Ну-ка, скажи, чья ты?..

Чердачник уперся руками в согнутые колени и медленно выпрямился. Он не был возмущен. Слово за слово повторил он про себя кодекс человеческого мира и понял, что уже вряд ли сумеет от него отречься. Жить без закона можно лишь до тех пор, пока не войдешь с ним в соприкосновение. Чердачник знал теперь, что дурно и что хорошо. Ему это сказали. И теперь он несколько растерялся. Как же так? Ведь обещать и не выполнить обещания, воспользоваться в личных целях трудом другого — все это дурно. Так ему сказали. И еще сказали, что все должны бороться против тех, кто хочет так жить, потому что в противном случае весь мир будет заражен тем, что он научился почитать дурным.

Чердачник понимал, что должен выразить протест. Но как это делается, он не знал. Ему ужасно хотелось заглянуть в окно, завыть свое «у-у-у!» и скрить самую страшную гримасу, какую только удастся, чтобы проснулся толстый детеныш и на всю жизнь запомнил это явление, а когда вырастет, спросил бы обо всем. Но Чердачник не сделал этого. Еще выстрелят. Хотя нет, они ведь думают, что он им еще пригодится. К тому же

побоятся устраивать шум — как бы не обнаружилось, из чего они строят гнезда для своих детенышей. И вообще это не то, что нужно...

Чердачник медленно взобрался по водосточной трубе на крышу. Он не торопился. Открыл слуховое окно и влез на чердак. Снял с веревки большую белую простыню, расстелил на полу, набросал на нее остальное белье, сколько смог стянуть с веревок, потом снова вылез на крышу и, сгибаясь под тяжестью узла, пошел куда-то. Он еще не знал, куда отнесет узел, но знал одно: он унесет его в такое место, где никто его не найдет. И завтра сделает то же самое, и послезавтра. Он считал это своим долгом, потому что все ему стало ясно. Ведь у него не было никакой фантазии. Он был только привидением. И слишком маленькая была у него голова.

Артур Лундквист

ПУТЕШЕСТВИЕ В КОСМОС

Я сидел у окна космического корабля, забыв обо всем на свете,— такие картины проносились у меня перед глазами.

Толстое оконное стекло играло роль линзы — оно увеличивало все раз в десять, если не больше. Отдаленные предметы казались значительно ближе, в них обнаруживались детали, не различимые простым глазом.

Корабль двигался с ровным жужжанием, ласкавшим слух, как музыка. Я знал, что на борту есть еще люди, но каждый был занят своим делом и я не думал о них.

Я потерял представление о времени. Как долго мы находимся в полете, что было до того, как мы покинули Землю? Чтобы вспомнить, требовалось усилие, а мне все не хотелось его делать.

Настроение у меня было приподнятое, и я не ощущал страха: если космическому кораблю и угрожали какие-нибудь опасности, я этого не знал или давно к ним привык.

Я был готов лететь так целую вечность, как будто вне времени, в какой-то совершенно иной действительности, неподвластной его принуждению и гнету.

Зрелище за окном все время менялось, не переставая вызывать изумление и восторг.

Пространство по большей части было мягкого, глубокого темно-синего цвета — гигантский бархатный футляр со сверкающими драгоценностями созвездий. Где-

то вдалеке переливались всевозможными оттенками мерцающие мглистые полосы звездных туманностей.

Иногда пространство освещалось розовым сиянием, похожим на космическую утреннюю зарю. Были области лиловые и фиолетовые, а порой наш путь лежал сквозь томительный изумрудно-зеленый полумрак.

Звездная пыль и осколки метеоритов низвергались каскадами огромных искр. Казалось, по обшивке корабля барабанит необыкновенной силы дождь.

К нам то приближались, то удалялись солнца. Курс корабля был проложен на безопасном расстоянии, но палящий жар все-таки ощущался.

Солнца находились в состоянии непрерывного мятежа — вся их жизнь была нескончаемой чередой взрывов. Они могли существовать, лишь уничтожая, пожирая самих себя, постепенно превращаясь в пылающие газы. И я видел в окно эти взрывы — ослепительные языки пламени, то и дело вспыхивавшие на солнцах.

Какое потрясающее зрелище эти титанические проявления космической вражды! А может быть, не вражды, а космической страсти?

Так или иначе, солнца были неизмеримо, бесконечно далеки от всего живущего, недоступны не только пониманию, но и воображению человеческому.

Но интереснее всего были планеты, их виды и формы, неожиданные, причудливые. Иногда они подходили к кораблю так близко, что на какое-то время занимали все поле зрения, зато можно было разглядеть их во всех подробностях.

О некоторых планетах, самых удивительных, я расскажу, не пытаясь построить из своих наблюдений какую-то систему и, разумеется, коротко.

Одна планета вся заросла кувшинками, огромными кувшинками, плававшими в черной воде — почти вся ее

поверхность была покрыта листьями, лишь кое-где виднелись прогалины. Листья напоминали сцепленные словно новыи уши, только зеленого цвета, а кувшинки — ветряные двигатели, сложные, как турбины, — медно-золотистые, ярко-голубые, красноватые, в цветистых пятнах и полосах.

Это был кувшиночный мир, и единственный смысл его существования, был, казалось, в этой девственной, холодной кувшиночной красоте. Или в черной воде под листьями таилось еще нечто, может быть, какая-нибудь новая форма жизни? Возможно, здесь произошла катастрофа — извержение вулкана или падение метеорита.

Видел я и планету болот, где земля и вода сливались в сплошное, пузырящееся изжелта-красное море грязи с разбросанными на нем островками кустистой травы.

Длинные искривленные стволы, по обеим сторонам которых ветвились не то корни, не то кроны без листьев, показались мне плавучими деревьями.

Почти не отличались от них полузывери или полурыбы, жившие в иле, — время от времени они показывались на поверхности, возможно для того, чтобы набрать воздуху; полужидкая грязь стекала с них, они были безглазые, с щупальцами, как у моллюсков, шевелившимися в воздухе.

Болото было чувствительно к силе притяжения обеих лун, которые обращались вокруг планеты в противоположных направлениях. Под их воздействием перемещались целые горы грязи, вздымались могучие волны с рыжими пенистыми гребнями, расходились в разные стороны, сшибались друг с другом, разбрызгиваясь фонтанами.

Была еще грибная планета — страшно сырая, там

постоянно моросил мелкий дождик. Только на короткие мгновения завеса туч раздвигалась, давая возможность заглянуть в грибной лес.

Грибы росли на этой планете несметными массами, некоторые величиной с газгольдер,— грибы всевозможных видов: с опущенными шляпками, будто зонтики, с вогнутыми шляпками, вроде чаш для сбирания воды,— время от времени они наклонялись, выливая воду через край,— грибы, похожие на пучки черных трубок и на клубки бледно-желтых червей, грибы с синими иглистыми шипами и грибы, напоминавшие воздушные шары из черного шелка. Слоистые грибы — точно ряды черных тарелок, поставленных на ребро, и грибы как гигантские фарфоровые ролики цвета позеленевшей меди; а белесые грибы-слизняки, грибы-прыщи, грибы — раковые опухоли, грибы-бородавки, похожие на сгустки запекшейся крови,—ими планета кишмя кишила.

Грибы паразитировали друг на друге, карабкались, топтали один другого, рождались из собственного стремительного разложения, разбухали и съеживались. Быть может, в молчаливой жестокой схватке — битве за существование — они пускали в ход яды, но это я мог лишь предполагать.

Небольшое небесное тело представляло собой, насколько я понимал, одно-единственное дерево шарообразной формы, с корнями, скрытыми внутри шара. На поверхности древесного шара росли редкие ветки с каким-то подобием листвы. В разных частях этой планеты-дерева можно было наблюдать разные времена года: летняя зелень перемежалась с голыми по-зимнему ветвями.

Некоторые планеты состояли из одной лишь воды, которая непрерывно испарялась и снова конденсировалась вокруг ледяного ядра.

Я видел планеты из льда; кое-где лед давал трещины и вздымался остроконечными башнями, разламывался осколками и глыбами; а сверкающие ледяные пустыни были гладкие как зеркало — лишь метеор прочертил на них когда-то длинную белую борозду.

Мне даже казалось, что я различаю планеты из воздуха, прозрачные и почти невидимые, — из воздуха, сжатого под неслыханным давлением; это были какие-то массы уплотненного воздуха в разреженной атмосфере — там цвели бесчисленные цветы, сотканные из кислорода и солнечного света, нежные цветочные облака отбрасывали слабую тень в воздушные глубины.

Одна планета состояла из мелкой бело-серой пыли, похожей на твердый туман, из какого-то сухого вещества, клубившегося, как пыль или мука.

Плоские планеты вращались на лету. Веретенообразные, заостренные с обоих концов сновали туда-сюда, как челноки в ткацком станке. Мчались планеты (если их еще можно назвать планетами) из металлических стержней, скованных электрическим напряжением.

Свободные электрические разряды, казалось, носились вокруг, подобно огненным цепочкам, пучкам лучей, светящейся бахроме, клубкам искр. А может быть, это летели скопления невидимых простым глазом металлических частиц, находивших выход своей ни на что не направленной энергии в страстном самосожжении.

Еще много больших и маленьких небесных тел мне пришлось видеть: из чистого золота, из серебра и других металлов, голые шары планет, лишенных атмосферы и влаги, быстро вращающиеся, отполированные до блеска, светящиеся отраженным светом, как умершие

солнца, небесные тела — гробницы, которые появились, возможно, в результате неконтролируемых атомных реакций.

Со свистом проносились мимо кометы и метеоры. Корабль пробирался сквозь них, очевидно, благодаря какой-то магнитической способности от них отталкиваться.

О протяженности этого путешествия во времени и в пространстве у меня весьма смутное представление; вокруг стало медленно чернеть, как будто наступила космическая ночь. А может быть, я просто заснул.

СЫН СВОЕГО ВЕКА

Сегодня я снова предпринял небольшую прогулку в машине времени. На этот раз решил заглянуть в прошлое. Ровно в полдень я включил мотор и помчался в глубь веков со скоростью шесть месяцев в секунду; спустя четверть часа я уже был на месте.

Датометр показывал 8 февраля 1487 года.

Машина финишировала на придунайском холме — там же, откуда взяла старт.

Я огляделся. Невдалеке плотники возводили мост под надзором солдат в железных латах. За Дунаем, в Буде, поблескивали кольчуги и длинноствольные ружья воинов, которые в походной колонне двигались к крепости.

Выпрыгнув из машины, я подошел к стражнику у моста.

— Скажите, пожалуйста, что там за армия? — вежливо спросил я.

— Протри свои очи, — ответил он высокомерно. — То войско из Вышеграда под водительством славного Матиаша.

Ну, разумеется, ведь сейчас здесь правит король Матиаш. Но почему он оставил свой Вышеград? Должно быть, тут что-то готовится?

— А зачем собралась такая армия? — продолжал я любопытствовать.

— Идем походом на турок, — ответил воин.

Ого, значит, война! Это становится интересно. В мо-

ем мозгу мгновенно пронеслась уйма блестящих идей: стоит мне воспользоваться хоть малой толикой знаний, принесенных с собой из ХХ века, как я войду в историю величайшим человеком, стану гением той далекой эпохи. Известно, что король Матиаш был неглупым малым. Он, несомненно, извлечет пользу из тех открытий и изобретений, которыми я, человек ХХ столетия, с ним щедро поделюсь. Что для него Вена! Вооружившись моими знаниями, он сможет завладеть Парижем и Лондоном, завоюет весь мир и прославит мое отечество на века, превратив его в величайшее государство земного шара. Мировая история будет изменена. Более того, придется перекроить курсы истории в университетах. Вот поднимется кутерьма!

Не хочу утомлять читателя излишними подробностями. Буду краток: через два часа благодаря принятым энергичным мерам я добился аудиенции у монарха.

Его величество производил впечатление весьма симпатичного, толкового и светского человека. Говорили, что у него орлиный нос. Ничего подобного, нос как нос, вполне обычный.

Он обратился ко мне по-латыни. К сожалению, я кончил гимназию, что на улице Марко, и посему попросил его объясняться по-венгерски. Он соизволил дать милостивое согласие, и я коротко ему изложил, что, узнав о его военных намерениях, добился аудиенции, дабы поведать его королевскому величеству о некоторых выдающихся изобретениях, с помощью которых он сможет за несколько дней вдребезги разбить турецкую орду. Я только просил предоставить в мое распоряжение известное количество стройматериалов и сотню-другую рабочих рук, после чего я берусь изготовить такие вещи, о которых он не смел и мечтать.

Его величество благосклонно выслушал мою пылкую

горячую речь, а потом проводил в большую мастерскую, где мне дали рабочих. Монарх пожелал лично наблюдать за моими усилиями и велел поставить свой трон в центре мастерской.

— Первым делом,— начал я,— мы сконструируем такое ружье, которое способно в одну минуту сделать шестьдесят выстрелов. С его помощью можно косить ряды врагов, как траву в поле. Это изобретение называется ружьем-автоматом.

Мастеровые слушали меня, затаив дыхание, и ожидали распоряжений.

— Итак,— сказал я,— прежде всего возьмем эту... как ее... («Ай-яй-яй... как же делают автоматы?»)

— Значит,— глубоко вздохнул я,— мы берем эту самую... что называется...

Нет, черт подери, ведь я, оказывается, не знаю, как делают автоматы. Помню только, что-то надо крутить и вертеть... Однажды в газете, в разделе «Всякая всячина», я читал, как их делают, но это было очень скучное описание, без единой схемы и без чертежей.

Я почувствовал, как кровь прилила к щекам.

— Вообще говоря,— непринужденно перебил я сам себя,— автомат не самое важное. Давайте лучше соорудим аэроплан, на котором можно летать над войском противника и сбрасывать бомбы. За какой-нибудь час мы разгоним всех турок.

Меня слушали не дыша. Я старался говорить конкретно.

— Аэроплан делают так: берут два больших куска парусины, складывают наискось, вот так, как я показываю, потом привинчивают к нему пропеллер, который и приводится в движение мотором...

— Постой, мой друг,— благосклонно прервал меня его величество король,— что ты называешь мотором?

— Мотор — это пустяк,— опрометчиво выпалил я.— Одним словом...

В конце концов, что он ко мне пристал? Почему я должен знать, как делается мотор? Ведь я не инженер и не механик, я всего-навсего журналист.

Как теперь выкрутиться? Дело нешуточное, этим людям надо показать что-то конкретное... Вон тот детина с злым, багровым лицом (наверно, какой-нибудь полководец!), почему он так подозрительно поглядывает на меня? Стой! Я спасен! Покажу им, как наладить телеграф, и они от изумления ахнут.

— Прежде чем заняться аэропланом,— быстро переменил я тему,— предлагаю соорудить приспособление, с помощью которого можно вести переговоры на сотни километров... Наши передовые отряды смогут сообщать обо всех передвижениях вражеских войск... Понимаете?

— Понимаем! Делай хоть что-нибудь, черт возьми,— изрек краснолицый полководец, как будто без особого расположения ко мне.

— Да, разумеется... — ответил я почему-то задрожавшим голосом.— Единственное, что мне нужно,— это, как вы понимаете, электрический аккумулятор...

— Само собой... Валяй! — прорычал краснолицый.

Нет, он был мне решительно несимпатичен. Во-первых, на каком основании он говорит мне «ты»? Какое он имеет право «тыкать»?! Впрочем, главное сейчас — сделать аккумулятор... Только бы знать, из чего он состоит. Черт побери, ведь в школе мы это проходили, но я, помнится, в тот день не выучил урока, да-да, меня даже вызывали к доске... Уф...

Я несколько раз открывал было рот и тут же его захлопывал. Какое унижение! Краснолицый взглянул на короля. Его величество — на краснолицего.

— Думается мне, государь,— проговорил царедво-

рец,— что этот словоблуд ни на что не годен и просто издевается над твоим величеством.

Король вспыхнул, поднялся с трона и, ни слова не вымолвив, удалился.

Краснолицый кивнул страже.

— Вздернуть,— приказал он.

Через две минуты я убедился, что во времена короля Матиаша вешать умели не хуже, чем в наше время. Меня успокаивало лишь одно: в конце XIX столетия я все равно опять появлюсь на свет божий и благодарное отечество воздаст мне за то, что в 1487 году я не помог королю Матиашу в борьбе против турок, ибо в мое время они стали нашими верными союзниками и друзьями.

Примо Леви

„ВЕРСИФИКАТОР“

ПРОЛОГ

Открывается дверь, и входит поэт.

Секретарша. Добрый день, маэстро.

Поэт. Добрый день, синьорина. Прекрасное утро, не правда ли? Первое за весь этот дождливый месяц. А нам придется сидеть взаперти! Какая программа на сегодня?

Секретарша. Работы немного. Две застольные оды, небольшая поэма по случаю бракосочетания графини Ди Митрополос и графа Мериги, четырнадцать рекламных объявлений и кантата в честь воскресной победы команды «Милан».

Поэт. Пустяки. Часа за три управимся. Вы включили «Версификатор»?

Секретарша. Да, он уже разогрелся.

Слышно легкое потрескивание.

Можно начинать хоть сейчас.

Поэт. Если бы не он... А ведь вы и слышать о нем не желали. Помните, как тяжко нам приходилось два года назад?

Потрескивание становится все громче. На втором этаже раздается дробный стук пишущей машинки.

Поэт (*тоскливо и мрачно говорит вполголоса*). Ох, когда только этому придет конец?! Ну и работенка! Где уж тут разыграться воображению? Свадебные песнопения, рекламные вирши, священные гимны — и так весь день. Вы уже перепечатали, синьорина?

Секретарша (*не переставая стучать на машинке*).
Да, сию минуту.

Поэт. Прошу вас, поторопитесь.

Секретарша (*еще яростнее стучит по клавишам, затем ловко извлекает машинописный лист*). Готово. Разрешите только перечитать.

Поэт. Не надо, я сам все откорректирую. Заложите чистый лист, интервал две строчки. Я буду диктовать, так удобнее и быстрее. Похороны состоятся завтра, и нам нельзя терять ни секунды. Нет, лучше заложите сразу лист гербовой бумаги с траурной рамкой. Помните, нам ее отпечатали в день смерти герцога Саксонского. Только ради бога не ошибитесь, а то не избежать перепечатки.

Секретарша (*вынимает из ящика листы бумаги, вставляет в машинку*). Я готова. Диктуйте.

Поэт (*лирично, торопливым голосом*). Похоронные стансы на смерть маркиза Зигмунда фон Элленбогена, преждевременно почившего в бозе. Ах, забыл. Все должно быть написано в октавах. Таково пожелание родственников.

Секретарша. В октавах?

Поэт (*презрительно*). Да, и притом в красивых и звучных. Переставьте ограничители. (*Пауза. Поэт ищет вдохновения*.) Гм-м, начнем. Небо черно, солнце померкло, трава никнет... Я без тебя, маркиз Сигизмундо...

Секретарша печатает.

Его звали Сигизмунд, но мне приходится величать его Сигизмондо, иначе — прощай рифма. Черт бы их побрал, этих остготов. Будем надеяться, что родственнички усопшего возражать не станут. Впрочем, надо свериться с генеалогическим древом. А, вот... Сигизмундус. Ну, тогда все в порядке. (*Пауза.*) Никнет, крикнет... Дайте мне, пожалуйста, словарь рифм. (*Листает словарь.*) Хмыкнет...

И когда он снова хмыкнет. О, черт, что мне только в голову лезет! И потом, «хмыкнет» — просторечие! «Возникнет»? (Задумчиво.) И когда новый маркиз возникнет...

Секретарша печатает.

Нет, нет, не надо. Это же лишь набросок. И вообще получается абсолютная чушь. При чем здесь «возникнет»!? Забейте, все забейте. А еще лучше вставьте чистый лист. (С внезапной яростью.) Хватит! Выбросьте всю эту ерунду! Я по горло сыт своей работенкой. Я поэт, а не жалкий ремесленник. Поймите, я не платный менестрель! К дьяволу маркиза и его генеалогическое древо! Пишите. Наследникам маркиза фон Элленбогена... адрес, дата и так далее. В ответ на вашу просьбу от такого-то числа восславить в подобающих стихах доблести усопшего мы вынуждены в связи с неотложными делами отказаться от сего приятного поручения. Весьма сожалеем...

Секретарша (*прерывает его*). Простите, маэстро, но вы не можете отказаться. Мы уже дали письменное подтверждение и получили аванс. В противном случае вам придется платить большой штраф.

Поэт. Ну конечно, еще и штраф. Приятное положеньице, нечего сказать! Да это же каторга! (*После недолгой паузы, решительным тоном.*) Вызовите по телефону синьора Симпсона.

Секретарша (*удивленно*). Симпсона? Торгового агента фирмы НАТКА?

Поэт (*резко*). Да, его. Другого Симпсона, насколько мне известно, там нет.

Секретарша (*набирает номер телефона*). Будьте любезны, попросите синьора Симпсона... Да-да, я подожду.

Поэт. Скажите ему, чтобы он немедленно пришел и

захватил с собой описание «Версификатора». Впрочем, лучше я сам с ним поговорю.

Секретарша (*вполголоса, с нескрываемой досадой*). Вы хотите купить это устройство?

Поэт (*тоже вполголоса*). Не надо волноваться, синьорина. Что за странные идеи вас посещают? (*Медоточиво*.) Но вы сами понимаете, мы не можем отставать от новых веяний. Нужно шагать в ногу с временем. Мне самому крайне жаль, но когда-нибудь необходимо решиться. А вы зря так переживаете. Вам работы всегда хватит. Помните, три года назад мы купили арифмометр?..

Секретарша (*по телефону*). Да, синьорина. Попросите, пожалуйста, синьора Симпсона. (*Пауза.*) Да, очень срочное. Спасибо.

Поэт (*продолжает вполголоса*). Вы тогда тоже были недовольны. А теперь, признайтесь честно, вы обошлились бы без него? Нет, верно ведь? Он столь же необходим для нашей работы, как копировальная машина. У нас немало конкурентов, и мы волей-неволей должны перепоручить машинам всю самую утомительную, черную работу. Одним словом, всю механическую работу, которую человек...

Секретарша (*в телефонную трубку*). Синьор Симпсон? Подождите, пожалуйста.

Поэт (*берет трубку*). Это вы, Симпсон? Привет. Послушайте, вы, конечно, помните рекламную брошюруку, которую вы мне вручили... вручили... а, ну да, в конце прошлого года? (*Пауза.*) Да-да, о «Версификаторе». Вы мне очень красочно расписали все его достоинства. Я бы хотел еще раз просмотреть эту брошюруку. (*Пауза.*) Да, верно, ибо сейчас, пожалуй, самое время сделать окончательный выбор. (*Пауза.*) Да, срочно... Десять минут? Конечно, вы крайне любезны. Жду вас в моем бюро. До скорой встречи. (*Кладет трубку. Секретарше.*) Удивитель-

ный человек этот Симпсон. Превосходный торговый агент высшего класса. Он приезжает мгновенно, по первому требованию клиента, в любой час дня или ночи. Не понимаю, как ему это удается? Жаль, что он плохо знаком с моей сферой деятельности, иначе я...

Секретарша (*вначале неуверенно, затем все смеется*). Маэстро, я... я... работаю с вами уже пятнадцать лет. Простите за смелость... но я никогда не купила бы этот «Версификатор». Мне самой, в конце концов, безразлично. Но ведь вы истинный поэт, большой мастер... Как вы можете примириться с бездушным устройством, пусть даже весьма современным и удобным? Ни одна машина не в состоянии сравниться с вами в тонкости вкуса и чувств... Нам вдвоем было так хорошо. Вы диктовали, я печатала. И не только печатала — это любая машинистка умеет, — но и правила ваши сочинения. Иной раз вы, уж простите, допускаете синтаксические ошибки... Конечно, по чистой рассеянности.

Поэт. О, как я вас понимаю! Поверьте, с моей стороны это мучительный, но, очевидно, неизбежный выбор. Меня одолевают сомнения. В нашей работе столько радостей. Испытываешь ни с чем не сравнимое счастье творчества; из ничего, рожденное фантазией, возникает нечто совершенно новое, облекается в живую плоть и кровь. (*Деловито.*) Пишите, синьорина. «Из ничего, рожденное фантазией, возникает нечто совершенно новое, облекается в живую плоть и кровь». Это может пригодиться.

Секретарша (*взволнованно*). Уже напечатала, маэстро. Я всегда так делаю, и, заметьте, без вашего напоминания. (*Со слезами в голосе.*) Я знаю свое дело. Посмотрим, сумеет ли этот ваш «Версификатор» быть столь же полезным и преданным вам...

Раздается звонок.

Поэт. Войдите.

Симпсон (*театрально, с преувеличенной веселостью; в его речи слышится легкий английский акцент*). Итак, мы прибыли, я, кажется, побил все рекорды, не правда ли? Вот вам описание, вот рекламная брошюра, а вот инструкция по уходу и пользованию прибором. Но это еще не все. Не хватает самого главного. (*Громогласно.*) Одну минуточку! (*Обращаясь к двери.*) Джованни, мы ждем. Подтолкни его посильнее. Осторожнее, ступеньки. (*Поэту.*) Счастье еще, что вы живете на первом этаже. (*Слышен шум приближающейся тележки.*) Соблаговолите принять мой личный «Версификатор». В данный момент он мне совершенно не нужен. Вы ведь собираетесь проверить его в работе?

Джованни. Где здесь выключатель?

Поэт. Вон там, за письменным столом.

Симпсон (*на едином дыхании*). Напряжение двести двадцать вольт, пятифазное, не так ли? Отлично. Вот шнур. Осторожнее, Джованни, осторожнее... Да, да, лучше всего на ковре, но его можно поставить в любом месте, в любом углу комнаты. Он не вибрирует, не раскаляется и шумит не сильнее, чем стиральная машина. (*Хлопает по металлической обшивке.*) Блеск! Фирма денег не пожалела. (*Обращаясь к Джованни.*) Спасибо, можешь идти. Вот ключи, садись в мое авто и возвращайся на службу. Я пробуду здесь до обеда. Если комунибудь понадоблюсь, звони мне сюда. (*Поэту.*) Вы, конечно, хотите увидеть «Версификатор» в действии?

Поэт (*в некотором замешательстве*). Да. Очень хорошо, что вы захватили его, я просто не решался просить вас об этом. Собственно, я и сам мог приехать. Но... видите ли, я еще не принял решения о покупке. Понимаете, мне хотелось лишь ознакомиться с машиной, с ее работой, а также... с ценой и условиями...

Симпсон (*прерывая его*). О чем тут говорить?! Само собой разумеется. Никаких конкретных обязательств с вашей стороны. Просто я в порядке дружбы — а ведь мы с вами старые друзья, не так ли? — совершенно бесплатно продемонстрирую вам, как функционирует «Версификатор». Кстати, я не забыл услуги, которую вы оказали нашей фирме. Особенно рекламное объявление, сочиненное вами, когда НАТКА начала продавать первую электронно-счетную машину «Линтнинг». Помните?

Поэт (*польщен*). Как же, как же! «Где бесполезен даже разум, нам «Линтнинг» все решает разом».

Симпсон. Вот именно! Сколько лет прошло. Мы тогда не зря раскошились на рекламу. Фирма получила огромную прибыль. Что правда, то правда; за идеи полагается платить. (*Пауза. «Версификатор», постепенно начинаясь, гудит громче.*)... Ну вот, он уже почти нагрелся. Через несколько минут, когда зажжется контрольная лампочка, можно начинать. А пока, с вашего разрешения, я вкратце объясню, как им управлять. Прежде всего, не следует забывать, что это не поэт. Если вы хотите приобрести настоящего механического поэта, то вам придется подождать несколько месяцев. В центральном научно-исследовательском бюро фирмы в штате Оклахома заканчивается его разработка. Он будет называться «Трудадур»; речь идет о совершенно оригинальном устройстве, подлинном механическом поэте, способном сочинять стихи на всех живых и мертвых европейских языках, при температуре от минус сто до плюс двести градусов, в любом климате и даже под водой и в безвоздушном пространстве. (*Вполголоса.*) Его предполагается использовать при полете американских космонавтов на Луну. Он первый воспоет красоты безлюдного ландшафта ночного светила.

Поэт. Нет, думаю, он мне не подойдет. Это слишком

сложно. И потом, я редко бываю в отлучке, обычно я работаю здесь, в своем бюро.

Симпсон. Конечно, конечно. Я упомянул о нем исключительно в порядке информации. А это, как вы сами понимаете, всего лишь «Версификатор», и он обладает меньшей изобретательностью. Даже скажем, меньшей творческой фантазией. Но он очень удобен для обычной, каждодневной работы. Впрочем, стоит оператору немного потренироваться, и этот прибор будет творить чудеса. Вот лента. Обычно «Версификатор» произносит сочиненные им вирши и одновременно их записывает.

Поэт. Как видеозаписывающее устройство?

Симпсон. Совершенно верно. Но при необходимости звук можно отключить. Тогда скорость сочинения стихов резко возрастает. Вот клавиши, они ничем не отличаются от клавиши органа и линотипа. Тут, наверху (*щелчок*), вводится тема; достаточно трех-пяти слов. Черные клавиши регистровые, они определяют тон, стиль, словом, как говорилось прежде, жанр. А эти клавиши регулируют размер стиха, его метрику. (*Секретарша.*) Подойдите поближе, синьорина. Вам тоже стоит посмотреть. Ведь вы будете регулировать работу «Версификатора»?

Секретарша. Я никогда этому не научусь. Это так сложно.

Симпсон. Все новые машины производят вначале такое впечатление. Но оно обманчиво. Вот увидите. Через месяц вы будете управлять им, напевая песенку и думая о чем-либо другом. Ну, как опытные шоферы водят автомашину.

Секретарша. На работе я никогда не пою. (*Звонит телефон.*) Слушаю. (*Пауза.*) Да, он здесь. Передаю ему трубку. (*Симпсону.*) Вас просят к телефону.

Симпсон. Спасибо. (*В телефон.*) Да, это я. (*Пауза.*) А, это вы, инженер. Застопорилась. Перегрелась?

Какая неприятность! Ничего подобного с ней до сих пор не случалось. Вы проверили индикаторную панель? (Пауза.) Конечно, конечно, не надо ничего трогать. Вы совершенно правы, но, к несчастью, сейчас все монтажники в разъезде... А вы не можете ждать до завтра? (Пауза.) О да, безусловно! (Пауза.) Совершенно верно, на то и существует гарантия, но если бы даже ее срок истек... (Пауза.) Знаете, я сейчас в двух шагах от вас. Я возьму такси и через пять минут приеду. (Вешает трубку и нервно обращается к поэту.) Простите, но я должен вас покинуть.

Поэт. Надеюсь, не случилось ничего серьезного?

Симпсон. Нет, самая пустяковая поломка в электронно-счетной машине. Но ведь клиент всегда прав. (Вздыхает.) Даже когда заставляет вас из-за всякой ерунды мчаться к нему по десять раз на день. Знаете, давайте сделаем так: я оставлю «Версификатор» в полное ваше распоряжение. Почитайте инструкцию и затем можете приступить к проверке.

Поэт. А если я его испорчу?

Симпсон. Не беспокойтесь. Он очень прочный, надежный в работе и, как сказано в тексте на английском языке, foolproof — ну, с ним сладит любой дурак. (В замешательстве, сообразив, что допустил бес tactность.) Разумеется, к вам это не относится. Слева есть автоматическое блокирующее устройство на случай технической оплошности оператора. Но вы сами увидите, насколько все это просто. Через полтора — два часа я вернусь. А пока до свидания.

Уходит. Пауза. Слышно равномерное гудение «Версификатора».

Поэт (негромко читает инструкцию). Вольтаж, частота... все в порядке. Введение сюжета, блокирующее устройство... все ясно. Смазка... замена ленты... случай

длительной инактивации. Во всем этом мы разберемся позже... Регистры... а, это очень важно. Видите, синьорина. Их ровно сорок. А вот и ключ к условным сокращениям. Эп. Эл — надо думать, это означает элегический. Ну да, Элегический Сат, Миф, Выс... Что значит Выс? А, понятно, выспренний. Нра...

Секретарша. Нра?

Поэт. Нравоучительный... Так, порп... (*Секретарша подскакивает на стуле.*) «Включение». Как ни странно, но все крайне просто. Им смог бы управлять даже ребенок. (*С возрастающим энтузиазмом.*) Смотрите, достаточно ввести инструкцию. Тут четыре строки. Первая — «сюжет», вторая — «регистры», третья — «метрическая форма», четвертая факультативная, для выбора времени. Все остальное «Версификатор» делает сам. Это же совершеннейшее чудо!

Секретарша (*с вызовом*). Почему бы вам сразу же не попробовать?

Поэт (*поспешно*). Конечно, попробую. Так, лирич... первая строка рифмуется с третьей. Семнадцатый век. (*Резкий щелчок.*) Начали. (*Три коротких звонка и один долгий. Электрические разряды, глухой шум внутри устройства. Затем «Версификатор» приходит в действие. Вблизи он напоминает электронно-счетную машину, выполняющую какую-то операцию.*)

«Версификатор» (*металлическим искаженным голосом*)

Бру, бру, бру, бру...

— ”

Блу, блу, блу, блу...

” ”

(*Резкий щелчок. Машина умолкает.*)

Секретарша. Восхитительно! Одни голые рифмы и больше ничего. Сами стихи все равно вам придется сочинять. Ну, что я говорила?!

Поэт. Гм, это лишь первая попытка. Возможно, я где-то ошибся. Минуточку! (*Перелистывает инструкцию.*) Сейчас посмотрим. Ну конечно! Какой же я олух! Забыл самое главное — ввести сюжет. Так какой же ему сюжет предложить? Ага, «Предел человеческого разума». (*Реле, три коротких звонка и один длинный.*)

«Версификатор» (тем же металлическим голосом, звучащим, однако, вполне отчетливо).

Жалкий глупец стрелу разума точит,
Днем и ночью в раздумьях жестоком сидит,
И ум его бедный давно кровоточит,
Бесплодны и тщетны ума его игры,
Не медом, а ядом открытье безумцу грозит,
И душу безжалостно рвет когтями свирепейшей
тигры.

(Резкий щелчок. «Версификатор» умолкает.)

Поэт. Неплохо, не так ли? Ну-ка посмотрим. (*Читает.*) «Не медом, а ядом открытье безумцу грозит». Право же, хорошо. Я знаю немало поэтов, которые ничего похожего не придумали бы. Правда, немного туманно и слова вычурные, но так и полагается для среднего поэта семнадцатого века.

Секретарша. Не станете же вы утверждать, что это гениально?

Поэт. Нет, не гениально, но вполне читабельно. Целиком отвечает вкусу нашего обычного клиента.

Секретарша. Разрешите и мне посмотреть.
Бесплодны и тщетны ума его игры,

Не медом, а ядом открытье безумцу грозит,
И душу безжалостно рвет когтями свирепейшей
тигры.

Почему «тигры»? Это же не по-итальянски и вообще не соответствует грамматическим нормам.

Поэт. Вероятно, это поэтическая вольность. Любой поэт имеет право прибегнуть к ней. Впрочем, полистаем дальше инструкцию. Ага, вот тут, на последней странице, написано: «Поэтические вольности. «Версификатор» владеет всей запрограммированной языковой лексикой и применяет общезвестные слова. Но когда необходимо употребить в стихотворении сложную рифму либо налицо другие ограничения формы...»

Секретарь. Что значит «ограничения формы»?

Поэт. Ну, скажем, если требуется прибегнуть к ассоцансам, аллитерации и тому подобное... «...«Версификатор» автоматически отбирает слова, наиболее подходящие по смыслу и содержанию темы, и с помощью этого языкового ядра сочиняет стихи. Если же ни одно из этих слов не подходит, то «Версификатор» прибегает к поэтическим вольностям, то есть деформирует введенные в него слова или изобретает новые. Степень «вольности» может быть определена оператором с помощью красного рычажка, который находится слева, внутри кратера». Так, поглядим.

Секретарь. Вот он, сзади. Шкала отградуирована от одного до десяти.

Поэт (*продолжает читать*). «Она...» Что она? Я потерял нить. Ах да, степень вольности! (*По-итальянски это звучит довольно странно.*) «Она обычно ограничивается двумя-тремя делениями шкалы. При максимальной амплитуде достигается значительный поэтический эффект, но прибегать к этому следует лишь в особых случаях». Великолепно, не правда ли?

Секретарша. Гм... представляю себе, что это будут за стихи... сплошь из поэтических вольностей.

Поэт. Сплошь из поэтических вольностей... (*Охваченный поистине детским любопытством.*) Знаете, что бы вы там ни говорили, а я хочу попробовать. Для чего, собственно, мы его проверяем?! Чтобы понять, каковы предельные возможности «Версификатора» и как он выпутывается из сложных положений. Сочинить стихи на легкую тему любой может. Ну-ка, подберем ему задание похитнее. Так. Привычка, отмычка, перемычка... Але-бастр, пиястр. Нет, скучность, тупость... Тоже не подходит. Ага! Нашел! (*С щелчком.*) «Жаба» (*щелчок*), жанр «Нра». Пусть будет нравоучительный.

Секретарша. Но это, пожалуй, немного скучная тема.

Поэт. Я бы не сказал. Например. Виктор Гюго отлично с ней справился. Итак, нажимаем на красный рычажок. Начали.

Три коротких звонка и один длинный.

«Версификатор» (произнительным металлическим голосом, не так быстро, как обычно)

Живет она в грязном болоте,
ее безобразной считают...

(Пауза, помехи, невнятный голос... роде, народе, походе, иоде... Умолкает. Затем с явным напряжением продолжает декламировать.)

...и страшной, единственной в роде,
боятся, но не подражают.
Шершавый у жабы желудок,
Но сколько червей пожирает!

(Пауза. С заметным облегчением.)

С виду противный ублюдок,
Но в сердце доброту скрывает.

Секретарша. Ну вот, вы своего добились! Ужасные, отвратительные стихи. И потом, эта «доброта» вместо «доброты». Оскорбление для истинной поэзии. Теперь вы довольны?

Поэт. Возможно, но как ловко закручено. Вывернулся-таки! Вы заметили, как он приободрился, когда почувствовал, что главные трудности позади? Но вернемся к классическим образцам поэзии. «Умеренные поэтические вольности». Что ж, испытаем, каковы его познания в мифологии. Конструкторы утверждают, что он обладает высокой общей культурой. Кстати, Симпсон, похоже, задерживается. Так, «Семеро против Фив» (*щелчок*). Миф (*щелчок*). Свободный стих (*щелчок*). Девятнадцатый век. Начали.

«Версификатор» (*гнусавым голосом*)

Сердца их твердыми были,
Как камень могучий и древний.
Сраженья такого люди не знали...
и бросились смело.
Земля задрожала от грохота боя,
Вспенились волны, и небо померкло.

Поэт. Ну как, нравится?

Секретарша. Немного тяжеловато. И потом, эти два пропуска.

Поэт. Простите, но вы-то сами знаете имена всех семерых?! Наверняка нет. А ведь вы окончили филологическое отделение и пятнадцать лет работаете со мной, известным поэтом. Впрочем, даже я не знаю их имен. Вполне естественно, что «Версификатор» сделал два пропуска. Заметьте, он оставил ровно столько места, чтобы можно было вписать два имени по четыре слога в каждом или одно имя из пяти слогов и одно — из трех... Боль-

шинство греческих имен состоит именно из такого количества слогов. Дайте мне, пожалуйста, мифологический словарь. Ага, «Семеро против Фив». Смотрите, можно вставить «Иппомедонте и Капанео», или «Иппомедонте и Анфиарао» и так далее. Остается только выбрать наиболее удачные.

Секретарша (*не слишком уверенно*). Возможно. (*Пауза.*) Могу я попросить вас о небольшом одолжении?

Поэт. Конечно, конечно. В чем оно заключается?

Секретарша. Я тоже хотела бы предложить «Версификатору» тему.

Поэт. Отлично, замечательно! Садитесь на мое место; как его включать, вы уже знаете.

Секретарша. «Свободная тема» (*щелчок*).

Поэт. Свободная тема? И это все?

Секретарша. Все. Хочу посмотреть, что случится. Включаю. (*Три коротких звонка и один длинный.*)

«Версификатор» (*взволнованным голосом*)

Девушка, с которой спать хочу...

(*Секретарша вскрикивает, словно она увидела мышь, и нажимает на выключатель. Резкий щелчок, машина умолкает.*)

Поэт (*в ярости*). Что с вами? Немедленно включите! Вы его, видно, испортить вздумали?

Секретарша. Это же явное оскорблечение! Он намекает на меня.

Поэт. Ну что вы? С чего вы взяли?

Секретарша. Но ведь других девушек тут нет. Этот невежда и грубиян хочет меня оскорбить.

Поэт. Успокойтесь, не устраивайте истерики. Не забывайте, что это все-таки машина. А уж ее-то вам нечего бояться. Будьте же благоразумны. Ну, включайте.

«Версификатор» (тем же проникновенным голосом)

Девушка, с которой спать хочу,—
Вполне серьезно, я ведь не шучу.
О ней я грежу всюду и всегда,
О ней мечтаю долгие годы.
Она красавица, на ангела похожа,
Но как груба, бугристая «кожа».
Чугун и медь, железо, бокелит,
Угрюм и неприятен внешний вид.
Разжаты губы, жду в тоске вопроса.
И вдруг ее задела моя бросса?

(Щелчок. «Версификатор» умолкает.)

Секретарша (вздыхает). Бедняжка!

Поэт. Видите? Он и вас растрогал. Какая свежесть чувств и непосредственность... Я его непременно куплю.

Секретарша (перечитывает текст).

Разжаты губы, жду в тоске вопроса.
И вдруг ее задела моя бросса?

Да, это необыкновенно трогательно. Он так умело подражает человеческим переживаниям. Но что означает «бросса»?

Поэт. Бросса? Дайте я проверю. Да, верно, «бросса». Не знаю. Посмотрим в словаре. Броша — несвежий бульон... Броцца — нарыв, прыщ. Все не то. Право, не знаю, что он хотел этим сказать.

Звонок.

Секретарша (идет открывать дверь). Добрый вечер, синьор Симпсон.

Поэт. Добрый вечер!

Симпсон. Вот мы и вернулись; я очень быстро уп-

равился, не правда ли? Как прошло опробование? Вы удовлетворены? А вы, синьорина?

Поэт. Гм, работает он неплохо. Кстати, вот его стихи на свободную тему. Тут есть одно непонятное слово. Может быть, вы знаете, что оно означает?

Симпсон. Поглядим, поглядим. Это даже любопытно.

Поэт. Нет, пониже, последние две строки. «И вдруг ее задела моя бросса». Это какая-то бессмыслица. Я проверил в словаре, такого слова нет.

Симпсон (*перечитывает*).

Разжаты губы, жду в тоске вопроса.

И вдруг ее задела моя бросса?

(*Снисходительно*.) А, все ясно! Это жаргонное слово. На каждом заводе есть свой производственный жаргон. «Версификатор» смонтирован на заводах итальянского филиала НАТКА в Олдже. А там металлические щетки обычно называются «брасса». Возможно, «Версификатор» услышал это слово. Хотя нет, скорее в него это специально вложили.

Поэт. Вложили? Зачем?

Симпсон. Это техническое нововведение; видите ли, с любым нашим прибором, даже при самом тщательном отборе, может произойти авария. Поэтому наши техники пришли к выводу, что лучшим и самым простым решением будет запрограммировать устройства таким образом, чтобы в случае аварии они сами попросили о замене вышедшей из строя части. Действительно, у «Версификатора» есть две металлические щетки, на жаргоне именуемые «брасса».

Поэт. Отлично придумано. (*Смеется*.) Будем надеяться, что с «Версификатором» не случится никакой беды и не придется прибегать к его подсказке.

Симпсон. Вы сказали «будем надеяться»? Могу ли

я сделать отсюда вывод, что вы... словом, что вы вынесли благоприятное впечатление?

Поэт (*сразу став очень сдержанным*). Я еще не решил. Впечатления весьма противоречивы. Предварительно можно, конечно, поговорить... но я хотел бы вначале ознакомиться с условиями.

Симпсон. Не желаете ли вы устроить «Версификатору» еще одно испытание? На сложную тему, требующую от машины блестящего владения стихотворной формой и техникой? Ведь это наиболее убедительные тесты.

Поэт. Подождите, дайте подумать. (*Пауза.*) Ну, к примеру... Синьорина, помните тот ноябрьский заказ синьора Капурро?

Секретарша. Капурро? Одну минуточку, сейчас посмотрю в картотеке. Ага, кавалер Франческо Капурро из Генуи. Просьба сочинить сонет «Осень в Лигурии».

Поэт (*строго*). Заказ был выполнен?

Секретарша. Мы попросили о продлении срока.

Поэт. А затем?

Секретарша. Затем... Вы же сами знаете — на носу были праздники... Уйма заказов.

Поэт. Вот так теряют клиентов!

Симпсон. Видите, сколь полезен «Версификатор». Он сочиняет сонет за двадцать восемь секунд. Собственно, на само сочинение уходит лишь несколько микросекунд, но ведь его надо еще и произнести.

Поэт. Итак, «Осень в Лигурии». Ну что ж, не мешает попробовать.

Симпсон (*с едва заметной иронией*). Таким путем вам удается сочетать приятное с полезным, правда?

Поэт (*задетый за живое*). О нет! Это лишь проверка. Я хочу убедиться, как справится «Версификатор» с заказом: ведь мы их получаем триста — четыреста в год.

Симпсон. Разумеется, разумеется. Я пошутил. Вы сами введете тему?

Поэт. Да, я, пожалуй, вполне освоил, как с ним обращаться. «Осень в Лигурии» (щелчок). Сонет (щелчок). Эп (щелчок), год 1900-й, плюс минус двадцать лет. Начали.

Три коротких звонка и один длинный.

«Версификатор» (*тепло и проникновенно; затем голос его становится все более прерывистым и взволнованным*).

Приятно мне снова в местах побывать,
Где липы листвой шелестели
И, ветви устав прямо к небу вздымать,
Осенней порой облетели.
Дорожкой чудесно мне снова шагать,
Здесь птицы о счастье мне пели.
Я слышу, я слышу их трели...
Контакты, наверно, сгорели.
Застряли на рифме мы «ели»...
Синьор Синсоне, вы бы посмотрели...
Не нужно тут ни ворота, ни дрели...
Авария на задней на панели...
Скорей, скорей, коль вы не пустомели...

(Сильный треск, свист, разряды.)

Поэт (кричит). Что случилось?!

Секретарша (*в крайнем испуге, мечется по комнате*). Помогите, помогите! Он дымится... загорелся! Сейчас взорвется! Надо позвать электрика! Нет, пожарника! Скорую помощь! Где телефон?

Симпсон (*в сильном волнении*). Успокойтесь, прошу вас, успокойтесь, синьорина. Сядьте в кресло и помол-

чите минутку. У меня голова идет кругом. Скорее всего это пустяковая поломка. Но на всякий случай отключим ток. (*Шум мгновенно стихает.*) Так, посмотрим. (*Копает-ся пинцетом в «Версификаторе».*) Кое-какой опыт работы у меня есть, и в девяти случаях из десяти речь идет о сущей ерунде. Надеюсь, я сам во всем разберусь... (*С триумфом.*) Конечно, что я вам говорил! Просто сгорел предохранитель.

Поэт. Сгорел предохранитель? После какого-нибудь получаса работы. Не слишком обнадеживающее начало.

Симпсон (*задетый за живое*). Предохранители для того и ставятся, не правда ли? Вопрос совершенно в другом — нужен стабилизатор, а его пока нет. Но я не хотел лишать вас возможности проверить «Версификатор» в работе. Впрочем, стабилизаторы на днях прибудут. Как видите, механизм работает безотказно, но резкие изменения в напряжении, — а это неизбежно в вечерние часы — вызвали небольшую аварию. Кстати, мне кажется, что этот неприятный эпизод развеял все ваши сомнения насчет поэтических возможностей «Версификатора»?

Поэт. Не понимаю. На что вы намекаете?

Симпсон. По-видимому, вы не обратили внимания на то, что он назвал меня «сеньор Синсоне»?

Поэт. Ну и что тут такого? Очевидно, это поэтическая вольность. Разве в приборе не существует для этого специальной шкалы?

Симпсон. О нет! Тут все обстоит иначе. «Версификатор» исказил мое имя совсем по другой причине. Вернее даже, он его уточнил. (*С гордостью.*) Потому что «Симпсон» этимологически равнозначно «Самсону» в его гебраистской форме «Синсон». «Версификатор», понятно, не мог этого знать, но, почувствовав в миг тревоги, что напряжение стремительно возрастает, он ощущил потреб-

ность в помощи и сам установил взаимосвязь между моим именем и именем древнего воителя.

Поэт (*с глубоким восхищением*). Поэтическую взаимосвязь!

Симпсон. Конечно! Если это не поэзия, то что же это?

Поэт. Да, да, очень убедительно. Ничего не скажешь. (*Пауза*.) Вот только форма сонета не вполне соблюдена... Но... (*с деланным смущением*) пора, увы, перейти к более прозаическим вопросам. Я хотел бы еще раз посмотреть образец предварительного акта продажи.

Симпсон. Превосходно! Но, к сожалению, особенно смотреть там нечего. Вы же знаете этих американцев, с ними не поторгуешься.

Поэт. Две тысячи долларов, не так ли, синьорина?

Секретарша. М-м... Знаете, я не помню, право же, не помню.

Симпсон (*вежливо улыбается*). Вы изволите шутить. Две тысячи семьсот, включая запасные части. Упаковка за счет фирмы, двенадцать процентов таможенного сбора, доставка в течение четырех месяцев. Первый взнос в размере пятидесяти процентов, гарантия на год.

Поэт. А скидка старым клиентам?

Симпсон. Не могу, ей-богу, не могу. Иначе я лишился места. Так и быть, скидка два процента. Учтите, при этом я лишаюсь половины заработка!

Поэт. Вы не человек, а кремень. Ну ладно, сегодня у меня нет настроения спорить. Дайте мне бланк предварительного заказа — лучше подписать его сразу, пока я не передумал.

Звучит бравурная мелодия.

Поэт (*обращаясь к публике*). Вот уже два года, как я стал обладателем «Версификатора». Мои расходы еще не окупились, но польза от него огромная. Он не только безмерно облегчил мой поэтический труд, но и выполняет за меня все расчетные и денежные дела, предупреждает об истечении срока платежей и даже ведет переписку. У него обнаружились совершенно поразительные способности. Я научил его сочинять прозу, и он отлично справляется с любым заданием. Текст, с которым вы столь любезно ознакомились, тоже его детище.

АВТОМОБИЛЬНАЯ ЧУМА

Однажды сентябрьским утром в гараж «Ириде» на улице Мендоса, где я случайно оказался, въехала серая машина какой-то экзотической марки и необычного вида, с иностранным номером, никогда раньше мне не встречавшимся.

Хозяин, я, мой старый друг главный механик Челада и рабочие — все мы были в задней части гаража, в ремонтной мастерской. Но сквозь стекло, отделявшее мастерскую от центрального зала, мы хорошо разглядели эту машину.

Из автомобиля вышел высокий, сутуловатый, чрезвычайно элегантный блондин лет сорока и с беспокойством стал озираться вокруг. Мотор не был выключен и работал на минимальных оборотах. Но он как-то очень странно стучал — ничего подобного я еще не слыхивал: это был какой-то сухой скрежет, словно в цилиндрах двигателя мололи камни.

Тут я увидел, что Челада внезапно побледнел.

— О мадонна, — пробормотал он. — Это чума. Как в Мексике. Мне это хорошо знакомо.

И он побежал навстречу незнакомцу. Тот был иностранцем и ни слова не понимал по-итальянски. Но механик прекрасно обошелся при помощи жестов, так ему хотелось, чтобы тот поскорее убрался. И иностранец — хотя мотор его машины издавал все такой же скрежет — уехал.

— Ну и здоров же ты врать, — сказал хозяин гаража

механику, когда тот возвратился в мастерскую. Мы все его рассказы слышали уже сотни раз и знали наизусть — невероятные истории Челады, который в молодости бывал и в Южной, и в Северной Америке.

Механик не обиделся.

— Увидите, увидите сами, — ответил он. — Для всех нас дело примет очень серьезный оборот.

Этот случай, насколько мне известно, был первым предвестником катастрофы, первым робким ударом колокола, предшествующим началу погребального звона.

Однако прошло целых три недели, пока появился новый симптом. В газетах было напечатано сообщение муниципалитета, составленное в весьма расплывчатых выражениях. Чтобы избежать « злоупотреблений и нарушения существующих правил», говорилось в сообщении, дорожной полиции и службе регулировки уличного движения придаются специально создаваемые отряды, в задачу которых входит осуществление контроля — не только на улицах, но и в домах и гаражах — за исправностью всех видов автотранспорта, как общественного, так и индивидуального, и в случае необходимости — принятие мер для отправки, даже немедленной, на консервацию. Истинный смысл, скрытый под этими общими словами, угадать было невозможно, и читатели просто не обратили на него внимания. Разве мы могли подозревать, что эти так называемые контролеры на деле самые настоящие божедомы, подбирающие и хоронящие мертвых?

Прошло еще два дня, прежде чем распространилась паника. Потом с молниеносной быстротой из одного конца города в другой разнесся невероятный слух: началась автомобильная чума.

Насчет происхождения и симптомов загадочной болезни ходили самые нелепые слухи. Говорили, что это инфекционное заболевание начинается с глухого скрежета в моторе, напоминающего хрип при катаре. Потом все соединения, все швы вздуваются безобразными горбами, поверхность покрывается желтой зловонной коркой, и наконец весь мотор разваливается и превращается в бесформенную груду валов, сломанных поршней и шестерен.

Если говорить о том, как распространялась болезнь, то полагали, что заражение происходит через отработанные газы. Поэтому автомобилисты избегали оживленных улиц, и центр города почти обезлюдел; там воцарилась тишина, которой раньше так жаждали и которая теперь была гнетущей, словно кошмар. О радостные автомобильные гудки, о веселая трескотня выхлопов — звуки старых, добрых времен!

Из-за тесноты в центре были покинуты и почти все гаражи. Те, кому негде было приткнуть машину, предпочитали оставлять ее под открытым небом, в каком-нибудь тихом, спокойном месте, например на лужайках на окраине города. А по ночам небо за ипподромом расцвечивалось багровыми отсветами — это горели на кострах погибшие от чумы автомобили. Их сваливали в кучу и сжигали на большом пустыре, окруженном забором, — в народе этот пустырь называли «лазаретом».

Что тут началось... Кражи и «раздевание» оставленных без присмотра автомобилей; анонимные доносы о якобы заболевших машинах, которые в действительности были здоровы (на всякий случай, чтоб избежать сомнений, их изымали и сжигали); злоупотребления со стороны санитарных команд, осуществлявших контроль и конфискацию; преступная безответственность тех, кто, зная, что его машина поражена чумой, все же продол-

жал на ней ездить, разнося заразу; гибель машин, вну-
шавших подозрение,— этих сжигали еще живыми (их
отчаянные вопли разносились далеко по городу).

Вначале, сказать по правде, было больше паники, чем убытков. Считают, что в течение первого месяца из двухсот тысяч автомобилей, имевшихся в нашей про-
винции, чума унесла не более пяти тысяч. Затем, каза-
лось, наступила известная передышка, однако она при-
вела к еще более тяжелым последствиям: некоторые вод-
ители тешили себя надеждой, что мор кончился, и опять на улицах начало циркулировать множество авто-
мобилей, увеличивая возможность заражения.

Но вот эпидемия разразилась с новой силой. Авто-
мобили, внезапно пораженные на улице чумой, стали
самым обычным зрелищем. Мягкий рокот мотора вдруг
делался прерывистым, переходил в неровный стук и сме-
нялся неистовым железным скрипом и скрежетом. Мот-
тор еще несколько раз всхлипывал, и машина останови-
валась — бесполезная груда дымящегося лома. Но
еще страшнее была агония грузовиков, мощный орга-
низм которых отчаянно сопротивлялся болезни. Эти
чудовища, прежде чем умереть, испускали глухие сто-
ны, из их недр доносились какие-то зловещие удары и
душераздирающий лязг, пока пронзительный тонкий свист
не возвещал об ужасном конце.

В то время я служил у одной богатой вдовы — мар-
кизы Розанны Финаморе, которая вместе с племянни-
цей жила в старинном родовом палаццо. Мне там было
очень хорошо. Жалованье нельзя было назвать царским,
но зато место — сущая синекура: всего несколько выез-
дов днем, только в самых редких случаях — вечером и,
конечно, уход за автомобилем. Это был большой черный

«роллс-ройс», настоящий ветеран, но в высшей степени аристократического вида. Я им очень гордился. Даже супермощные спортивные модели теряли на улице свою обычную наглость при появлении этого давно устаревшего саркофага — за версту было видно, что в жилах его течет голубая кровь. Да и мотор у него, несмотря на возраст, был поистине великолепен. Одним словом, я любил его больше, чем если бы он даже принадлежал мне.

Поэтому разразившаяся эпидемия лишила покоя и меня. Правда, говорили, что автомобили с большим объемом цилиндров остаются невредимыми. Но разве можно было этому верить? Отчасти прислушавшись к моему совету, маркиза отказалась от дневных поездок, когда было легче заразиться, и ограничилась редкими выездами после ужина — на концерты, лекции или в гости.

Однажды ночью — дело было в конце октября, как раз в самый разгар эпидемии, — мы возвращались на своем «роллс-ройсе» домой с вечеринки, где собирались дамы, чтобы немного поболтать и развеять тоску тех тревожных дней. И вдруг, как раз в тот момент, когда я выезжал на площадь Бисмарка, я уловил в ритмичном рокоте мотора какую-то короткую заминку, какое-то тихое царапанье, продолжавшееся, может, долю секунды. Я спросил маркизу, слышала ли она что-нибудь.

— Да нет, ничего, — ответила маркиза. — Держи себя в руках, Джованни, и перестань об этом думать. Наша старая колымага не боится ничего на свете.

Однако, прежде чем мы доехали до дома, зловещее поскрипывание, или скрежет, или царапанье — просто не знаю, как его и назвать, — послышалось еще дважды,

наполнив мою душу ужасом. Возвратившись, я долго стоял неподвижно в нашем маленьком гараже, глядя на благородную машину, которая, казалось, мирно спала. Но, хотя мотор был выключен, из-под капота двигателя через определенные промежутки времени доносились какие-то еле различимые стоны, и я понял: произошло то, чего я больше всего боялся.

Что делать? Я решил немедленно обратиться за советом к старому механику Челаде: помимо того, что он уже был свидетелем подобного мора в Мексике, он уверял, что знает, как готовить специальную смесь минеральных масел, обладающую необыкновенными целительными свойствами. Хотя дело было за полночь, я позвонил по телефону в кафе, где Челада имел привычку проводить за картами почти каждый вечер. Действительно, он был там.

— Челада,— сказал ему я,— ты всегда был мне другом.

— Конечно, разве ты в этом сомневаешься?

— Мы всегда с тобой неплохо ладили.

— Слава богу, это так.

— Могу я тебе довериться?..

— Черт побери!

— Тогда приходи. Я хочу, чтобы ты осмотрел «роллс-ройс».

— Сейчас приду.

Когда он вешал трубку, мне послышался тихий смешок.

Сидя на скамье в гараже, я ждал его и слушал, как из глубин мотора моей машины все чаще вырывались какие-то звуки. Я мысленно отсчитывал шаги Челады, считал минуты — вот сейчас откроется дверь и он войдет в гараж. Напрягая слух в ожидании механика, я вдруг услышал на дворе топот ног, но то были шаги не

одного, а нескольких человек. Страшное подозрение сжало мне сердце.

И вот открывается дверь гаража и передо мной появляются два грязных коричневых комбинезона, две бандитские рожи — одним словом, два божедома, а за ними я различаю Челаду, который, спрятавшись за створкой, наблюдает, что будет дальше.

— Ах ты, гнусный негодяй... Вон отсюда, проклятые!

Я лихорадочно начинаю искать какое-нибудь оружие — гаечный ключ, палку. Но эти типы уже хватают меня, скручивают, и мне не вырваться из их железных лап.

— Эй, мерзавец, — кричат они мне злобно и в то же время с издевкой, — ты что, не подчиняешься городским контролерам, должностным лицам?! Тем, кто работает ради блага нашего города?

Они привязали меня к скамейке и — это было верхом издевательства — засунули мне в карман квитанцию в получении машины для «отправки на консервацию». Потом запустили мотор «роллс-ройса», машина тронулась с места и укатила с жалобным, но исполненным глубочайшего достоинства стоном. Казалось, она хотела со мной попрощаться.

Через полчаса ценой невероятных усилий мне все же удалось освободиться, и я, даже не поставив в известность о произошедшем хозяйку, пустился бежать как безумный сквозь ночную тьму к «лазарету», за ипподром, надеясь спастись вовремя.

Но, когда я уже подбегал к воротам, из них вышел Челада со своими двумя подручными. Он посмотрел на меня так, словно никогда в жизни не видел. Их сразу же поглотила темнота.

Мне не удалось его догнать, не удалось проникнуть за ограду, добиться того, чтобы не уничтожали «роллс-ройс». Долго стоял я, припав к щели в дощатом заборе, и смотрел, как пылали на костре распотрошенные автомобили, как их темные силуэты содрогались и корчились в языках пламени. Где была моя машина? Различить ее в этом аду было невозможно. Только на какое-то мгновение мне показалось, что в яростном треске костра я узнаю ее родной голос — душераздирающий отчаянный вопль, который, прозвучав, тотчас же смолк — теперь уже навсегда.

БУТЫЛЬ СЕРЕБРА

После занятий в школе я обычно работал в аптеке «Валгалла». Владельцем ее был мой дядя, мистер Эд Маршалл. Я называю его так, потому что все, даже собственная жена, звали его не иначе, как мистером Маршаллом. А вообще-то он был человек симпатичный.

Аптека была хоть и несколько старомодная, но зато просторная, темноватая и прохладная,— летом во всем городке не было места приятнее. Слева от входа, за табачным прилавком, как правило, восседал сам мистер Маршалл — приземистый, с закрученными седыми усами на скуластом румяном лице, придававшими ему весьма мужественный вид. В глубине помещения находилась красивая старинная стойка для газировки; ее по-желтевшая мраморная поверхность была отполирована тщательно, но без вульгарного блеска. Мистер Маршалл приобрел ее в 1910 году на аукционе в Новом Орлеане и очень ею гордился. Сидя у стойки на одном из высоких легких стульев, вы могли видеть в зеркалах старинной работы свое отражение — чуть смягченное, словно при свечах. Все главные товары были выставлены в застекленных антикварных шкафчиках, запиравшихся медными ключами. В аптеке всегда пахло сиропами, мускатным орехом и прочими деликатесами.

Жители нашего округа частенько наведывались в «Валгаллу», покуда в городе не объявился некий Руфус Макферсон: он тоже открыл аптеку, прямо напротив нашей, на другой стороне главной площади. Старый

Руфус Макферсон оказался сущим злодеем — он переманил у моего дядюшки почти всех клиентов. Завел у себя всякие новомодные штучки — электрические вентиляторы, разноцветные огоньки; подъезжавших к аптеке клиентов обслуживал прямо в машине; делал сандвичи на заказ. Понятно поэтому, что, хотя некоторые из наших завсегдатаев и сохранили верность мистеру Маршаллу, большинство не смогло устоять перед соблазнами, которые пустил в ход Руфус Макферсон.

Сперва мистер Маршалл решил его игнорировать: при упоминании его имени он только фыркал, покручивал усы и глядел в сторону. Но видно было, что он здорово распался и с каждым днем распается все сильнее.

Как-то раз, в середине октября, когда я зашел в аптеку, мистер Маршалл сидел у стойки с Хаммураби — они играли в домино и попивали винцо. Этот самый Хаммураби, уверяющий, что он египтянин, подвизался у нас в качестве зубного врача, но практики у него почти не было, так как у жителей нашего округа зубы на редкость крепкие благодаря свойствам здешней воды; поэтому большую часть времени Хаммураби торчал в аптеке и был главным приятелем моего дяди. Он был красавец мужчина, этот Хаммураби, — смуглый, высокий, футов семи росту, и мамаши у нас в городке старались прятать от него своих дочек, хотя сами строили ему глазки. Говорил он без всякого акцента, и мне всегда казалось, что он такой же египтянин, как выходец с Луны.

Словом, в тот день они потягивали красное итальянское вино, подливая себе из четырехлитровой бутыли. Зрелище грустное, потому что мистер Маршалл был известен как ярый противник спиртного; и я, понятное дело, подумал: ох ты, черт, значит, все-таки Руфус Мак-

ферсон допек его. Но оказалось, что дело вовсе не в этом.

— Эй, сынок,— обратился ко мне мистер Маршалл,— иди-ка сюда, выпей стаканчик красного.

— Правильно, помоги нам с ним разделаться,— подхватил Хаммураби,— вино покупное, жаль его выливать.

Много позже, уже под вечер, когда бутыль наконец опустела, мистер Маршалл взял ее в руки.

— Что ж, теперь посмотрим! — сказал он и вышел на улицу.

— Куда это он? — спросил я.

— О... о... о... — только и проурчал Хаммураби, любивший меня подразнить.

Прошло с полчаса, и мой дядя вернулся, сгибаясь под тяжестью своей ноши и сердито ворча. Он водрузил бутыль на стойку и отступил на шаг, с улыбкой потирая руки.

— Ну, как на ваш взгляд?

— О... о... о... — вновь заурчал Хаммураби.

— Ух ты! — сказал я.

Бог ты мой, это была та самая бутыль, но с ней произошло чудесное превращение: теперь она была доверху наполнена серебряными монетками по пять и десять центов, тускло поблескивавшими сквозь толстое стекло.

— Здорово, а? Это мне в Первом национальном банке насыпали. Монета покрупнее не пролезает в горлышко. Ну да все равно, там целая куча денег, доложу я вам.

— А для чего это, мистер Маршалл? — спросил я.— Ну то есть в чем тут идея?

Мистер Маршалл заулыбался еще шире.

— Бутыль с серебром, скажем так...

— Кубышка на конце радуги,— вставил Хаммураби.

— ...а идея, как ты выражаяешься, в том, чтобы люди

старались угадать, сколько тут денег. Скажем, купил клиент чего-нибудь на четвертак — и пожалуйста, пусть попытает счастья. Чем больше он будет покупать, тем больше у него шансов на выигрыш. Цифры, какие мне станут называть, я буду записывать в бухгалтерскую книгу, а в сочельник мы их зачитаем вслух, и чья окажется ближе к истине, тому и достанется вся эта музыка.

Хаммураби кивнул с торжественным видом.

— Санта-Клауса из себя разыгрывает, — сказал он. — Всемогущего, доброго Санта-Клауса. Пойду-ка я домой и напишу книгу «Искусное убийство Руфуса Макферсона».

Он иногда и вправду строчил рассказы, а потом рассыпал их по журналам. Но всякий раз они приходили обратно.

Удивительно, просто уму непостижимо, до чего бутыль с серебром завладела воображением жителей нашего округа. Давно уже дядюшкина аптека не знала такого притока покупателей, с тех самых пор, как Тьюли, начальник станции, совершенно спятил, бедняга, и стал уверять, что обнаружил за товарным складом нефть, после чего в наш городок валом повалил народ — рыть поисковые скважины. Даже бездельники, которые целыми днями толкались в бильярдной и сроду ни на что гроша не выложили, если только это не имело отношения к выпивке и женщинам, и те вдруг стали расходовать скучную денежную наличность на молочный коктейль.

Несколько пожилых дам публично осудили затею мистера Маршалла как разновидность азартной игры; впрочем, особого шума они поднимать не стали, а некоторые из них под тем или иным предлогом даже заходили в аптеку попытать счастья. Школьники прямо-таки

помешались на этой бутыли, и я вдруг стал среди них весьма популярен: они вообразили, что мне известно, сколько там серебра.

— Я вам скажу, в чем тут дело,— говорил Хаммурabi, закуривая египетскую сигарету (он заказывал их по почте в одной нью-йоркской фирме).— Вовсе не в том, в чем вы думаете,— не в жадности, словом. Нет. Тайна — вот что всех завораживает. Глядишь на эти монетки, так разве же говоришь себе: ага, тут их столько-то? Нет, нет. Ты спрашиваешь себя: а сколько их тут? Вот в этом вся суть, и для каждого она означает свое. Понятно?

Ну, а Руфус Макферсон, тот просто на стену лез. Ведь всякий торговец возлагает на рождество особые надежды — эти несколько дней приносят ему изрядную долю годовой выручки. А тут вдруг покупателей силком не заташишь. Руфус решил собезьянничать — завел у себя такую же бутыль, но так как он был скрягой, то наполнил ее медными центами. Мало того, он написал редактору «Знамени», нашей еженедельной газеты, письмо, где утверждал, что мистера Маршалла следует «вымазать дегтем, обвалять в перьях и вздернуть — за то, что он превращает невинных детей в заядлых игроков, тем самым уготовляя им прямой путь в ад». Сами понимаете, что после этого он сделался общим посмешищем. Заслужил презрение всего города и больше ничего. В общем, к середине ноября ему не оставалось ничего другого, как стоять на тротуаре у дверей своей аптеки и с горечью взирать на веселую кутерьму в стане противника.

Примерно в это время у нас в аптеке и появился Ноготок со своей сестрой.

Был он не из наших городских — во всяком случае,

раньше его никто здесь не видел. Он говорил, что живет на ферме в миle от Индейского Ручья, что мать его весит всего-навсего тридцать кило, а у старшего брата есть скрипка и, если кому нужно, он может за пятьдесят центов играть на свадьбе. А еще он сообщил, что его звать Ноготок, что другого имени у него нету и что ему двенадцать лет. Но Мидди, его сестра, говорила, что ему всего восемь. Волосы у него были прямые, темно-русые, худенькое обветренное лицо постоянно напряжено, зеленые глаза глядели понимающе, очень умно, настороженно. Был он маленький, щуплый, сплошной комок нервов; носил всегда одно и то же — красный свитер, синие холщовые штаны и огромные башмаки, хлопавшие при каждом шаге.

Первый раз он явился к нам в дождь; волосы его слиплись и покрывали голову сплошной шапкой, башмаки были облеплены рыжей глиной — видно, он шел проселками. Небрежным ковбойским развальцем он направился к мраморной стойке, где я перетирал стаканы; Мидди поплелась за ним следом.

— Я так слыхал, что вы заимели полную бутылку денег и хотите ее отдать, — сказал он, глядя мне прямо в глаза. — Раз уж вы ее все одно отадите, так сделали бы доброе дело, отдали бы ее нам, что ли. Меня звать Ноготок, а вон она — моя сестра, Мидди.

Мидди была грустная-грустная девочка, явно старше братишки и намного выше его — сущая жердь. Короткие, серые, словно пакля, волосы, жалостно-бледное лицо с кулачок. Выцветшее ситцевое платье не прикрывало костлявых коленок. У нее было что-то неладно с зубами, и, чтобы это скрыть, она сжимала губы в ниточку, как старушка.

— Прошу извинить меня, — сказал я, — но вам следует обратиться к мистеру Маршаллу.

И он без всяких тут же к нему обратился. Мне слышно было, как дядя объясняет ему, что нужно сделать, чтобы выиграть бутыль с серебром. Ноготок внимательно слушал и время от времени кивал. Потом снова подошел к стойке и осторожно погладил бутыль.

— Славная штучка, а, Мидди?

— А они ее нам отдадут?

— Не... перво-наперво вот что — нужно угадать, сколько там денег. Да прежде еще купить чего-нибудь на четвертак, чтобы разрешили отгадывать.

— Ишь ты, четвертак,— нет его у нас. Да где его взять-то, сам подумай.

Ноготок наступил, потер подбородок.

— Ну это что... Это уж я соображу. Заковыка не в том: мне никак нельзя, чтобы вышла промашка. Мне надо знать точно.

Через несколько дней они снова пришли в аптеку. Ноготок забрался на стул у стойки и решительным тоном спросил два стакана газировки — один для себя, другой для Мидди. На этот раз он сообщил нам кое-какие сведения о своих родственниках.

— ...а еще есть у нас дедушка, материн отец, он каджун* и по-английски говорит плохо. А братишко мой — тот, что на скрипке играет,— так его три раза сажали. Из-за него нам и пришлось сматываться из Луизианы — подрался с одним парнем, и он его бритвой здорово порезал. Из-за одной бабы, она на десять лет его старше. Белобрысая такая.

Мидди, робко стоявшая поодаль, забеспокоилась.

— Зря ты, Ноготок, про наши семейные дела болтаяешь.

* Небольшая этническая группа смешанного европейско-негритянско-индийского происхождения. — *Прим. перев.*

— А ну, помолчи, Мидди,— оборвал он ее, и Мидди сразу умолкла.— Хорошая девчушка,— добавил он и, повернувшись, погладил ее по голове.— Только вот приходится ее окорачивать. Иди-ка, голуба, посмотри книжки с картинками, а насчет зубов — не переживай. Ноготок кое-что для тебя сообразит, дай только мне проквернуть одно дельце.

Состояло же дельце в том, чтобы пялиться на бутыль. Подперев рукой подбородок, он глядел на нее долго-долго, не мигая, так и пожирал ее глазами.

— Мне одна женщина в Луизиане сказала, я могу видеть такое, чего другие не видят. Потому, что я в сорочке родился.

— Но тебе ни почем не углядеть, сколько там денег,— сказал я.— Лучше уж назови первую цифру, какая на ум взбредет, может, как раз и попадешь в точку.

— Ну да еще,— сказал он.— Эдак запросто маху дашь. А мне ошибиться никак нельзя. Не, я так рассудил — чтобы уж было наверняка, надо все монетки пересчитать, до единой.

— Давай, пересчитывай!

— Что пересчитывать? — неожиданно раздался голос Хаммураби — он как раз вошел в аптеку и теперь усаживался у стойки.

— Этот малец собирается пересчитать все деньги в бутыли,— объяснил я.

Хаммураби взглянул на Ноготка с интересом.

— А как же, сынок, ты собираешься это сделать?

— Сосчитаю и все,— как ни в чем не бывало ответил Ноготок.

Хаммураби рассмеялся.

— Ну, а для этого надо, сынок, чтобы глаза у тебя все насеквозд видели, как рентген. Вот ведь какое дело.

— Вовсе и нет. Для этого только надо в сорочке ро-

диться. Мне одна женщина в Луизиане сказала. Она была колдунья и обожала меня; как-то раз хотела взять меня на руки, а мама не дала, так она напустила на нее порчу, и теперь в маме весу всего тридцать кило.

— Оч-чень ин-те-ресно! — только и сказал Хаммураби, бросив на Ноготка подозрительный взгляд.

К нам подошла Мидди, крепко сжимая в руках «Секреты экрана», и показала Ноготку один из снимков.

— Ой, ну до чего ж хорошенъкая! Ты глянь-ка, глянь, Ноготок, какие у ней зубы красивые, один к одному.

— Да ладно тебе, не убивайся,— ответил он.

Когда они ушли, Хаммураби заказал бутылку вина и стал его попивать, куря сигарету.

— И вы считаете этого малыша вполне нормальным? — спросил он вдруг с удивлением в голосе.

По-моему, лучше всего проводить рождество в маленьком городке. Здесь раньше чувствуется наступление праздника — все как-то быстрее преображается и оживает под его чарами. Уже в начале декабря двери домов разукрашены гирляндами, в витринах пламенеют красные бумажные колокольчики, поблескивают слюянные снежинки. Ребятня совершают вылазки в лес и притаскивает оттуда пахучие свежие елки. Хозяйки пекут рождественские пироги, они открывают банки с заранее заготовленной сладкой начинкой, откупоривают бутылки с наливками. На площади перед судом высится огромная елка, увешанная серебряной канителью и разноцветными лампочками, которые вспыхивают с наступлением сумерек. В предвечерние часы из пресвитерианской церкви доносятся рождественские гимны — это хор готовится к ежегодному представлению. Во всем городке цветет японская айва.

Единственным, кого словно бы не затрагивала эта радостная, праздничная атмосфера, был Ноготок. Он взялся за свое дельце — подсчет денег в бутыли — с величайшей настойчивостью и дотошностью. В аптеку приходил изо дня в день — уставится на бутыль, насупит брови и что-то бормочет себе под нос. Сперва мы смотрели на него как завороженные, но потом это всем надоело и мы перестали обращать на него внимание. Больше он так ничего и не купил — должно быть, не мог раздобыть четвертака. Иной раз он перебрасывался словом с Хаммураби — тот относился к нему с участливым любопытством и время от времени покупал ему за-сахаренный орех или солодкового корня на цент.

— Вы по-прежнему считаете, что у него не все дома? — как-то спросил я Хаммураби.

— Полной уверенности у меня нет, — ответил он. — Но, когда разберусь, скажу тебе точно. По-моему, он подголадывает. Свожу-ка я его в «Радугу» и накормлю жареным мясом.

— Наверно, он предпочел бы получить от вас четвертак.

— Нет. Хорошая порция жаркого — вот что ему нужно. И вообще, лучше бы он не угадывал. Дико нервный мальчионка, и странный такой, — если у него все сорвется, каково будет мне сознавать, что втравил его в это я. Жаль его будет ужасно!

Но мне, откровенно говоря, Ноготок казался в ту пору просто забавным. Мистер Маршалл жалел его, а заходившие к нам ребятишки повадились было его дразнить, но он не обращал на них никакого внимания и понемногу они отстали. Когда ни придешь, он сидит у стойки, наморщив лоб и неотрывно глядя на бутыль. И так, бывало, поглощен своим делом, что временами у меня появлялось какое-то жуткое ощущение — может,

его здесь и нет вовсе? Но только в это поверишь, он вдруг очнется и скажет что-нибудь вроде:

— Слыши, а хорошо бы здесь оказалась монета тринацатого года. Мне один парень говорил, он где-то видел такую монету, ей пятьдесят долларов цена!

Или:

— Мидди будет важной леди в кино. Они загребают кучу деньжищ, эти леди из кино. Тогда уж нам до самой смерти не надо будет капустный лист жевать. Да только Мидди говорит — не может она сниматься в кино, покуда красивых зубов не вставит.

Мидди не всегда приходила вместе с братом. Когда она не являлась, Ноготок бывал сам не свой, на него нападала робость и вскоре он уходил.

Хаммураби выполнил свое обещание — он повел его в кафе и накормил жареным мясом.

— Что же, мистер Хаммураби симпатичный, — рассказывал после Ноготок. — Только выдумки у него такие чудацкие — воображает, что если бы жил в этом самом Египте, то был бы там королем или вроде того.

А Хаммураби потом говорил нам:

— Малыш полон веры — это просто за душу берет. Трогательно донельзя. Но мне лично наша затея — тут он показал на бутыль с серебром — начинает внушать омерзение. Жестоко это, давать человеку такую надежду; я страшно жалею, что впутался в это дело.

Завсегдатаи нашей аптеки больше всего любили потолковать о том, кто что купил бы на выигранные деньги. В разговорах этих обычно участвовали Соломон Кац, Фиби Джонс, Карл Кунхард, Пьюли Симмонз, Эдди Фокскрофт, Марвин Финкл, Труди Эдвардс и негр по имени Эрскин Вашингтон. Кто думал съездить в Бирмингем и сделать там перманент, кто мечтал о поддержанном пианино, кто — о шотландском пони, кто —

о золотом браслете, кто хотел купить серию приключенческих книг, а кто — застраховать свою жизнь.

Как-то раз мистер Маршалл спросил Ноготка, на что истратил бы деньги он.

— Это секрет,— объявил Ноготок, и, как мы ни бились, выведать у него ничего не смогли. Так что мы просто решили: о чем бы он там ни мечтал, это должно быть и впрямь нужно ему позарез.

Настоящая зима обычно наступает в наших краях только в конце января и бывает довольно короткой и мягкой. Но в этом году за неделю до рождества начались небывалые холода. Их у нас до сих пор вспоминают — до того страшная была стужа. В трубах замерзла вода; те, кто не удосужились запасти достаточно топлива для камина, по целым дням не вылезали из постели, дрожа под ватными одеялами; небо приобрело угрюмый и странный свинцовый оттенок, как перед бурей; солнце побледнело, словно луна на ущербе. Дул резкий ветер, он крутил сухие осенние листья, падавшие на обледенелую землю, и дважды срывал рождественское убранство с огромной елки на площади возле суда. При дыхании изо рта вырывались клубы пара.

В домишках у шелкоткацкой фабрики, где ютилась самая беднота, семьи сходились по вечерам вместе и рассказывали в темноте разные истории, чтобы хоть на время забыть о холода. Фермеры прикрывали зябкие растения джутовыми мешками и молились; впрочем, кое-кому из сельских жителей неожиданные морозы были на руку — люди закалывали свиней и везли на продажу в город свежую колбасу. У входа в магазин Булворт* стоял Санта-Клаус в красном марлевом ба-

* Сеть магазинов, где все товары стоят 5 или 10 центов.— *Прим. перев.*

лахоне — это был мистер Джадкинс, городской пьяница. У него была большая семья, и потому все в городе были довольны, что в эти дни он трезв хотя бы настолько, чтоб заработать доллар. В церкви несколько раз устраивались праздничные вечера, и на одном из них мистер Маршалл нос к носу столкнулся с Руфусом Макферсоном: они крупно поговорили, — впрочем, до драки дело не дошло...

Как я уже упоминал, Ноготок жил на ферме, примерно в миле от Индейского Ручья, значит, что-нибудь милях в трех от города — прогулка изрядная и довольно тоскливая. И все-таки, несмотря на холод, он ежедневно являлся в аптеку и просиживал до закрытия, а так как день становился все короче, то уходил он, когда было уже темно. Иной раз его подвозил на машине мастер с шелкоткацкой фабрики, но это случалось редко, да и то часть пути ему приходилось идти пешком. Вид у него был усталый и озабоченный, он всегда приходил к нам иззябший и трясясь от холода. Едва ли под красным свитером и синими штанами у него было теплое белье.

За три дня до рождества он неожиданно объявил:

— Ну вот, я кончил. Теперь я знаю, сколько в булыке денег.

В его словах была такая торжественная, глубокая вера, что в них нельзя было усомниться.

— Давай-давай, сынок, наворачивай! — подхватил Хаммураби, сидевший в аптеке. — Не можешь ты этого знать. И зря задуриваешь себе голову — ведь будешь потом убиваться.

— Да что вы меня все учите, мистер Хаммураби? Я и сам знаю, что к чему. Вот одна женщина в Луизиане — так она мне сказала...

— Слышал, слышал. Но пора об этом забыть.

На твоем месте я пошел бы домой, больше сюда не ходил и постарался бы забыть об этой проклятой бутыли.

— Мой брат нынче вечером играет на свадьбе в Чекроки-сити, он мне даст четвертак,— сказал Ноготок упрямо.— Завтра я попытаю счастья.

Назавтра я даже раз волновался, когда Ноготок и Мидди явились в аптеку. У него и в самом деле был четвертак— для пущей верности он завязал его в уголок красного носового платка. Держась за руки, они с Мидди ходили вдоль застекленных шкафчиков и шепотом советовались, что им купить. В конце концов они выбрали крошечный, с наперсток величиной, флакончик цветочного одеколона. Мидди тут же открыла его и полила себе голову.

— Ой, до чего ж дух приятный!.. Пречистая дева, я сроду такого не слышала. Ноготок, милый, дай-ка я тебе волосы сбрызну.

Но Ноготок не дался.

Пока мистер Маршалл доставал гроссбух, куда он записывал все ответы, Ноготок подошел к стойке и, обхватив бутыль с серебром, стал нежно ее поглаживать. От волнения у него блестели глаза, пылали щеки. Все, кто был в это время в аптеке, столпились вокруг. Мидди стояла поодаль, почесывая ногу, и нюхала одеколон. Хаммураби не было.

Мистер Маршалл послюнявил кончик карандаша и улыбнулся.

— Ну, давай, сынок. Так сколько там?

Ноготок набрал побольше воздуху.

— Семьдесят семь долларов тридцать пять центов,— выпалил он.

В том, что он не округлил цифру, уже было что-то необычное: другие непременно называли круглую сумму. Мистер Маршалл торжественным голосом повторил ответ и записал его в книгу.

— А когда мне скажут, выиграл я или нет?
— В сочельник.
— Стало быть, завтра, да?
— Стало быть, завтра,— как ни в чем не бывало ответил мистер Маршалл.— Приходи к четырем часам.

За ночь ртуть в градуснике опустилась еще ниже, а перед рассветом вдруг хлынул по-летнему быстрый ливень, и назавтра обледеневший город так и сверкал в солнечных лучах, напоминая северный пейзаж с открытками: на деревьях поблескивали белые сосульки, мороз разрисовал все окна цветами. Мистер Джадкинс поднялся спозаранку и неизвестно зачем топал по улицам и звонил в колокольчик, то и дело прикладываясь к бутылке виски, засунутой в задний карман брюк. День был безветренный, и дым из труб лениво полз наверх, прямо в тихое замерзшее небо. Часам к десяти хор в пресвитерианской церкви уже гремел вовсю и городские ребятишки, напялив страшные маски, совсем как в День всех святых *, с диким шумом гонялись друг за другом вокруг площади.

Около полудня в аптеку заскочил Хаммураби — помочь нам подготовиться к торжественному моменту. Он принес увесистый кулек с мандаринами, и мы умыли их

* В этот день — 31 октября — в США отмечается праздник урожая. По народному обычаю дети рядятся чертами и привидениями и ходят по домам, собирая деньги на благотворительные нужды.— *Прим. перев.*

все до одного, бросая кожуру в новенькую пузатую печурку, которую мистер Маршалл сам себе преподнес на рождество. Затем мой дядюшка снял со стойки бутыль, старательно обтер ее и водворил на стол, передвинутый на середину помещения. Этим его помочь и ограничилась; потом он развалился в кресле и, чтобы как-то убить время, стал завязывать липкую зеленую ленту на горлышке бутыли. Так что вся осталльная работа свалилась на нас с Хаммураби. Мы подмели пол и протерли зеркала, смахнули пыль со шкафов, развесили под потолком красные и зеленые ленты из гофрированной бумаги. Когда мы кончили, аптека приобрела очень нарядный вид. Но Хаммураби, с грустью оглядел плоды наших трудов, вдруг объявил:

— Ну, теперь я, пожалуй, пойду.

— А разве ты не останешься? — оторопело спросил мистер Маршалл.

— Нет, нет,— ответил Хаммураби, медленно покачав головой.— Не хотелось бы мне видеть, какое будет у мальчугана лицо. Как-никак праздник, и я намерен веселиться напропалую. А разве я смогу, имея такое на совести? Черт, да мне потом не заснуть.

— Ну, как угодно,— сказал мистер Маршалл и пожал плечами, но видно было, что он глубоко уязвлен.— Такова жизнь. И потом, кто знает? Может, он выиграет.

Хаммураби тяжко вздохнул.

— Какую цифру он назвал?

— Семьдесят семь долларов тридцать пять центов,— ответил я.

— Нет, это просто фантастика, а? — выкрикнул Хаммураби. Плюхнувшись в кресло рядом с мистером Маршаллом, он закинул ногу на ногу и закурил сигарету.— Если у вас найдется пастилка, я бы пососал, а то вкус какой-то противный во рту.

Приближался назначенный час, а мы все трое сидели вокруг стола и на душе у нас кошки скребли. За все время мы даже словом не перебросились. Игравшие на площади ребятишки разбежались, и теперь с улицы доносился лишь бой часов на башне. Аптека еще была закрыта, но народ уже прохаживался взад и вперед по тротуару, заглядывая в витрину.

В три часа мистер Маршалл велел мне отпереть дверь. Минут через двадцать в аптеке яблоку негде было упасть. Все нарядились в самое лучшее, в воздухе стоял сладкий запах ванили — это благоухали девчонки с шелкоткацкой фабрики. Они проталкивались вдоль стен, карабкались на стойку, пролезали куда только могли; вскоре толпа выплеснулась на тротуар и запрудила мостовую. На площади выстроились запряженные лошадьми фургоны и старые фордики, в которых прикатили фермеры со своими семьями. Кругом шумели, смеялись, перебрасывались шутками. Две-три пожилые дамы возмущенно отчитывали мужчин помоложе — чего они толкаются и сквернословят, но уйти никто не ушел. У бокового входа собралась кучка негров — те веселились больше всех. Раз уж представилась возможность по-развлечься, все старались не упустить ее — ведь обычно у нас здесь такая тишина, редко что случается. Можно смело сказать: в тот день у аптеки собрались все жители нашего округа, за исключением калек и Руфуса Макферсона. Я огляделся — нет ли где Ноготка, но его что-то не было видно.

Мистер Маршалл прочистил горло и захлопал в ладони, требуя внимания. Когда шум утих и нетерпение публики стало достаточно ощутимым, он выкрикнул, словно на аукционе:

— А теперь слушайте меня все. Вот в этом конверте, — тут он поднял над головой конверт из плотной

бумаги,— так вот, здесь листок с ответом, и известен он пока что лишь господу богу да Первому национальному банку — ха, ха. А в эту книгу,— и он поднял другой рукой толстый гроссбух,— я записывал цифры, которые вы мне называли. Вопросы есть?

Полнейшее молчание.

— Прекрасно. Теперь, если кто-нибудь вызовется мне помочь...

Никто не шевельнулся; казалось, толпу сковала неодолимая робость; даже рьяные любители покрасоваться перед публикой и те смущенно переминались с ноги на ногу. Вдруг раздался громкий голос:

— А ну, дайте-ка мне. Посторонитесь маленько, мэм, будьте добры.

Это был Ноготок, он проталкивался сквозь толпу, а следом за ним пробирались Мидди и долговязый парень с сонными глазами — должно быть, тот самый брат, который играл на скрипке. Ноготок был одет, как всегда, только лицо оттер докрасна, надраил до блеска ботинки и до того прилизал волосы, что они прилипли к коже.

— Мы поспели? — спросил он, часто дыша.

Но вместо ответа мистер Маршалл спросил:

— Стало быть, ты готов нам помочь?

Сперва Ноготок смутился, потом решительно кивнул.

— Есть у кого-нибудь возражения против этого молодого человека?

Тишина по-прежнему была мертвая. Мистер Маршалл передал конверт Ноготку, тот спокойно взял его, но, прежде чем вскрыть, внимательно оглядел, покусывая нижнюю губу. Все это время толпа безмолвствовала — лишь изредка то тут, то там слышалось покашливание да тихонько позвякивал колокольчик мистера Джадкинса. Хаммураби, привалясь к стойке, усердно разгля-

дывал потолок; Мидди смотрела брату через плечо, и взгляд ее ничего не выражал, но, когда Ноготок стал вскрывать конверт, она охнула.

Ноготок извлек из конверта розовую бумажку и, держа ее осторожно, словно что-то очень хрупкое, еле слышно пробормотал какую-то цифру. Вдруг он победел, в глазах у него блеснули слезы.

— Эй, малец, да говори, что ли! — заорал кто-то.

Тут к Ноготку подскочил Хаммураби и прямо-таки выхватил у него из рук бумажку. Прочистив горло, он начал было читать, как вдруг лицо его самым комичным образом исказилось.

— Ох, матерь божья... — только и выдохнул он.

— Громче! Громче! — потребовали хором сердитые голоса.

— Жулье! — выкрикнул Джадкинс, успевший к этому времени основательно закачаться. — Гнусное мошенничество! Это ж слепому видно!

Поднялась буря — от улюлюканья и свиста колыхался воздух.

Брат Ноготка порывисто обернулся, погрозил толпе кулаком.

— А ну, заткнитесь, заткнитесь, вы, дурачье, слышали? А то как столкну вас сейчас черепушками, так набьете себе шишек с дынью каждая.

— Граждане! — выкрикнул мэр Моуэс. — Граждане, ведь нынче того, рождество на дворе... Вы, значит, того...

Тут мистер Маршалл вскочил на стул. Он топал ногами и хлопал в ладоши, пока не установился относительный порядок. Здесь стоит, пожалуй, упомянуть, что, как мы впоследствии выяснили, Руфус Макферсон специально нанял Джадкинса, чтобы тот затянул всю эту катафасию.

Когда страсти наконец улеглись, розовый листок неожданно-негаданно очутился у меня в руках — как, я и сам не знаю.

Я с ходу выкрикнул:

— Семьдесят семь долларов тридцать пять центов!

От волнения поначалу, я, конечно, не сообразил, что это та самая цифра, которую назвал Ноготок. Это дошло до меня, только когда я услышал ликующий вопль его брата. Имя победителя мигом облетело всю аптеку, и благоговейный шепот пронесся над толпой, словно первый вздох бури.

А на самого Ноготка жалко было смотреть. Он захлебывался от рыданий, будто ему нанесли смертельный удар, но, когда Хаммураби посадил его себе на плечи, чтобы показать толпе, он торопливо вытер глаза рукавом и расплылся в улыбке.

— Надувательство! Подлое надувательство! — вновь рявкнул Джадкинс, но рев его потонул в оглушительном грохоте аплодисментов.

Мидди схватила меня за руку.

— Зубы! — взвизнула она. — Теперь у меня будут зубы!

— Зубы? — переспросил я ошелепо.

— Ну да, вставные зубы — вот на что мы истратим эти деньги. Теперь у меня будут красивые белые зубы.

Но в ту минуту меня интересовало только одно: каким образом Ноготок угадал?

— Эй, Мидди, скажи мне, — взмолился я, — скажи ты мне, бога ради, откуда он знал, что там ровно семьдесят семь долларов тридцать пять центов?

Мидди бросила на меня недоумевающий взгляд.

— А я думала, Ноготок говорил тебе, — ответила она совершенно серьезно. — Он сосчитал.

— Да, но как? Как?

— О господи, да ты что, не знаешь, как считают, что ли?

— Он только считал, и все?

— Н-ну, еще он помолился немножко,— сказала она после некоторого раздумья и стала было проталкиваться к братьям, но вдруг обернулась и крикнула мне: — И потом, ведь он родился в сорочке!

И более вразумительного объяснения этой загадки я так ни от кого и не слышал. Когда Ноготка впоследствии спрашивали: «Как это ты, а?», он только странно улыбался и переводил разговор на другое. Потом, через много лет, он вместе с семьей переехал куда-то во Флориду, и больше мы о них не слыхали.

Но легенда о Ноготке жива в нашем городе и поныне. А мистера Маршалла до самой его смерти, последовавшей в апреле прошлого года, неизменно приглашали на рождество в баптистскую церковь — рассказывать эту историю ученикам воскресной школы. Как-то Хаммураби отстукал об этом рассказ и разослал его во многие журналы. Но он так и не был напечатан. Ему ответил только один редактор, да и тот написал: «Если бы эта девчушка и вправду стала кинозвездой, в Вашей истории еще был бы какой-то смысл».

Но на самом-то деле этого не случилось, так зачем же выдумывать?

ПИСЬМА В КОСМОС

2 января

Братья! Счастлив и горд доложить: я прибыл на Землю! Мой путь на ракетном корабле длился около трех месяцев, и вот вчера, на закате солнца, я приземлился вблизи большого холма, у подножия которого раскинулся незнакомый город. Сейчас я дам себе небольшой отдых, а потом — за работу, за необыкновенную, прекрасную, благородную работу! Свое краткое сообщение я пишу с места посадки, завтра я — первый человек из космоса — войду в город, где живут люди Земли. Какая это будет великая минута в истории Вселенной! Я раскрою перед жителями Земли тайну своего существования, я расскажу им о том, что прибыл с планеты Марс, для того чтобы две человеческие цивилизации все узнали друг о друге. Что это будет за зрелище! Дух захватывает при одной мысли об этой минуте! Я вижу огромную, ликующую толпу, которая жадно ловит каждое мое слово; я расскажу им о великих открытиях, об истории Марса, о наших идеях, которые обогатят детское сознание обитателей Земли, более молодой по сравнению с нашей планетой. Заверяю вас, дорогие братья марсиане, что ваш посланец окажется достойным великой миссии, выпавшей на его долю.

3 января

Город, где я приземлился, называется Капиталистбург. Своей миссии я пока что не выполнил. Просто не было

возможности. Появление мое не вызвало того энтузиазма, на который мы рассчитывали. Правда, несколько человек на улице обернулись мне вслед, но тут же торопливо продолжали свой путь. Я остановился на довольно просторной площади и произнес речь. Меня действительно окружила небольшая толпа, но вскоре подошел какой-то человек в синей форме и блестящей металлической каске и пригласил следовать за ним. Вся беда, наверное, в том, что я еще не овладел их языком; я пытался объяснить жестами и мимикой, что отлично знаю людей Земли, ибо мы на Марсе вот уже более двух тысяч лет наблюдаем через специальные телескопы за жизнью людей и нам они хорошо известны. Однако, меня, как видно, не поняли. Позднее, когда я снова вышел на улицу, то в ближайшем книжном магазине купил грамматику. До тех пор пока не выучу их языка, писать вам больше не буду.

5 февраля

Уже довольно прилично изъясняюсь на капиталистбургском языке. Многое для меня прояснилось. Например, нельзя говорить вслух, что думаешь, иначе, как здесь выражаются, «посадят». Но зато не возбраняется развешивать по городу глупые афиши, объявляющие о публичной лекции «Есть ли жизнь на Марсе?», которую прочтет марсианин. Вот только маленькая загвоздка: афиши печатают здесь в обмен на какие-то кругляшки из металла, которые называются «день-ги». Нельзя ли как-нибудь прислать мне такие кругляшки?

20 марта

Ура! С превеликими трудностями, но все же прочел публичную лекцию в малом зале «Ройял». Жаль, слушателей почти не было и успех оставлял желать много луч-

шего. Это неприятно, ибо не могу расплатиться за рекламу. Задумываюсь, не съездить ли домой, чтобы раздобыть немногого этих самых... денег, но, как ни прискорбно, ракетный корабль я вынужден был заложить в ломбард. Мой доклад, говорит некто Шварц, не удался, так как я объявил аудитории, что прибыл прямо с Марса. Он считает, что умнее было бы представиться просто ученым, приватдоцентом, имеющим некоторые оригинальные мысли о жизни на Марсе. Кто знает, может быть, он и прав?

15 июня

Нашел способ добить кругляшки — взялся за литературный труд. Отправился к книгоиздателю, как посоветовали в редакциях газет, где сочли мою рукопись о Марсе слишком серьезной. Этот Шварц говорит, чтобы я запасся терпением, так как дело быстро не пойдет. Нельзя ли прислать этих кругляшечек? Накопилось слишком много долгов...

4 июля

Этот Шварц поделился идеей: мне следует выступить в варьете в костюме марсианина. Текст и музыку он берет на себя. Мотивчик довольно игривый: каждый куплет кончается припевом «Я марсианин, я марсианин!». Идея, пожалуй, недурна. Неужели это выход? Немного еще подожду... Авось...

18 июля

Вчера была минута, когда я подумал: наконец-то поняли, кто я такой! Поняли, какое поистине вселенски-историческое значение имеет мое прибытие на Землю! Я сидел в кафе, как вдруг под окнами увидел большую толпу: возбужденные люди показывали на меня пальцами. Сердце мое радостно заколотилось, я встал, чтобы начать речь,

ибо толпа все росла и росла... В эту минуту подошел Шварц и сказал, чтобы я не валял дурака и воспользовался случаем: по городу распространили слух, что прибыл сам Макс Линдер *. Оказывается, меня приняли за него. Прошу немедленно сообщить, кто такой Макс Линдер. Не обитатель ли он Меркурия? Срочно выясните!

4 августа

Принял ваше сообщение о том, что Макс Линдер не с Меркурия. Это меня сейчас мало волнует: мне нужны деньги, иначе я пропал!

5 сентября

Срочно пришлите денег!

10 сентября

Устроился в варьете, так как мой ракетный корабль уже не вернешь. Надежды больше нет. (Между прочим, куплеты имеют успех!)

18 ноября

Что?! И думать не смейте! Сидите себе на Марсе и радуйтесь! Обо мне не беспокойтесь: тяну. Исполняю новые куплеты — о Максе Линдере. Вечером добираюсь до дома пешком. Прихварываю. Будьте счастливы!

Не поминайте лихом! Чao!

* Макс Линдер — известный французский киноактер.— *Прим. ред.*

ДРУГОЕ МЕСТО

Неподалеку от Бакдена, в Верхнем Уорфдейле, расположен Хабберхолм — одно из самых маленьких и чудесных местечек на свете. Он лежит в долине среди высоких торфяных холмов и состоит из старой церкви, трактира и моста через реку. Летом, когда время таяния снегов давно позади, река редко бывает полноводной, и после двухчасовой ходьбы путник в ожидании, пока откроют трактир, может побездельничать на мосту, глядя, как блестит и мерцают вода. Когда я подошел, он уже стоял там — кренастый черноволосый человек лет сорока, — угрюмо уставившись вниз и нимало не беспокоясь о том, что сигара, которую он жевал, потухла. Он был чем-то раздосадован, но трудно было поверить, что Хабберхолм не оправдал его ожиданий; поэтому я заговорил с ним.

Мы оба признали, что день сегодня чудесный и что места здесь неплохие, после чего я попытался удовлетворить свое любопытство. Я сказал, что мне нравится Хабберхолм и я стараюсь бывать здесь хотя бы раз в два года. Он ответил, что я совершенно прав и он меня вполне понимает.

— Между тем, — заметил я, — у вас такой вид, словно это место вас разочаровало.

— А знаете, так оно и есть, — сказал он медленно. У него был низкий голос и акцент, не то американский, не то канадский. — Хотя не в том смысле, какой вы имеете в виду, сэр. Хабберхолм в полнейшем порядке. Лучше не-

куда. Но мне так его описали, что я решил: это именно то место, которое я ищу. А оказалось не то, я ошибся.

Затем, не желая, по-видимому, ничего добавить к сказанному, он принял раскуривать свою сигару. Но, чтобы я не расценил это как проявление недружелюбия, он спросил меня, где я остановился.

Тут выяснилось, что мы оба будем ночевать в премиальной деревушке под названием Кеттлуэлл, ниже по долине, но в разных постоянных дворах. Поболтав еще немного, мы договорились не только вместе возвратиться в Кеттлуэлл, но и вместе пообедать; и, подчеркнув, что из нас двоих я старший, а кроме того, могу считать здешние места своими, я добился от него согласия быть моим гостем. На обратном пути я узнал, что его зовут Харви Линфилд, что он инженер из Торонто, был женат, но развелся и у него есть маленькая дочка, которая живет с его сестрой. Говорил он довольно охотно и явно был рад собеседнику, но где-то, за всеми его словами, чувствовалось разочарование или растерянность.

После обеда, когда мы, закурив сигары, уселись в маленькой гостиной, находившейся в нашем полном расположении, и выпили немного превосходного виски — которое Линфилд пожелал добавить к нашей трапезе,— я осмелился намекнуть, что, по-моему, он чем-то расстроен. Я не скрывал своего любопытства.

— Помните, — сказал я ему, — вы говорили, что Хаберхолм мог оказаться тем местом, которое вы искали. — Я умолк и выжидающе посмотрел на него.

— Тут наверняка чертовщина, — признался он, разглядывая гофрированный бумажный веер на каминной решетке. — Я сам едва могу поверить, так уж вы и подавно не сможете. Я попробовал однажды рассказать об этом и застрял на полдороге. Не будь вы писатель, я бы не взялся рассказывать во второй раз. Но вы ездите по све-

ту, разговариваете с людьми и, должно быть, много слыхали о всяких штуках, которым нет объяснения. Вот это одна из таких. Просто чертовщина. Только не думайте, что это моя фантазия,— продолжал он, серьезно глядя на меня.— Я даже не знаю, с чего начать. Если бы вы рассказали мне об этом, все было бы по-другому. Я бы просто не поверил. Но я ведь не писатель, а простой инженер, и вы должны мне поверить. Подождите, я только налью еще виски и сейчас постараюсь рассказать все как можно лучше.

И вот что я услышал.

Компания, в которой я работаю, начал Линфилд, заказала машину одной фирме в Блэкли, и меня послали туда проверить, делается ли там именно то, что нужно. Оказалось, совсем не то. Хотите поподробнее узнать об этой машине? Я думаю, нет. В общем, они напороли не так уж много, но вполне достаточно, чтобы мне пришлось сидеть в Блэкли, наблюдая за тем, как они это исправляют. Так что в дополнение к блэклейской электротехнической компании мне пришлось терпеть и Блэкли. Забыл сказать, что это было в ноябре прошлого года.

Вы знаете Блэкли? Да? Ну так вот, человеку, попавшему в этот городишко, хочется как можно скорее выбраться оттуда. Особенно в ноябре прошлого года, когда лило как из ведра, а если солнце и выглядело, я его не заметил. Такой город можно было построить только в наказание самим себе. Блэкли всегда был рад самому темному и дождливому ноябрьскому дню. Утром, когда я вставал, было еще темно, а часам к четырем пополудни темнело снова, и все это время шел дождь. Даже если вы куда-нибудь заходили, опускали шторы и включали свет, вы не замечали, чтобы стало светлее. Вначале я думал, что у меня неладно со зрением.

Я остановился в гостинице рядом со станцией; из ее окон открывался прекрасный вид на железнодорожные подъездные пути. В ней тоже было темно и сырьо. Я трижды менял номер, думая найти что-нибудь получше, но безуспешно. Ели мы в кафе, где стояли буфеты, горячие блюда подавались под колпаками, а на столах были графины с уксусом и маслом, ножи и вилки, рассчитанные по крайней мере на жареного быка, но нам никогда не предлагали жареного быка, а только несколько жалких кусочков мяса и щедрые порции вываренных овощей. Обслуживал нас старый официант с синим от болезни сердца лицом и две кислые официантки: одна была длинная и тощая, другая — маленькая и толстая, и обе относились к нам крайне враждебно. Довольны они бывали только тогда, когда могли ответить, что того-то «нету» или что вы пришли слишком поздно и все уже кончилось. Население гостиницы составляли коммивояжеры, все пожилые, невезучие и недостаточно смышленые, чтобы разъезжать в автомобилях и не ночевать в блэклейской железнодорожной гостинице. После ужина они обычно сидели в мрачной дыре, которая называлась гостиной, и писали отчеты с объяснениями, почему им не удалось получить никаких заказов. Внизу в баре было не лучше. Все посетители или перешептывались с серьезным видом, или просто сидели, уставившись в пустоту. Глядя на них, вы начинали думать, что только что умер какой-то очень важный человек.

Я не говорю, что таким был весь город, но мне так казалось. Темный, сырой и унылый. Делать нечего, пойти некуда. Я вовсе не ожидал найти здесь две мили неоновых огней и атмосферу большого города. Мне и раньше приходилось жить в маленьких городках,— а Блэкли, кстати говоря, был не такой уж маленький, тысяч семьдесят пять, я думаю. Но для меня в нем не было ничего,

кроме этой машины, которой я любовался каждый день на заводе блэклейской электротехнической компании. Тем, кто жил здесь давно, Блэкли, наверно, казался вполне приличным городом, но для человека со стороны, вроде меня, это был живой труп. Если здесь кто и веселился, то лишь за закрытыми дверьми. Конечно, были кое-какие развлечения — плохонький водевильный театртик, три-четыре кинозала, кафе, где сидело много молодых ребят в одежде, распространявшей испарения, и большой аляповатый бар, где целая толпа бледных пожилых проституток в ожидании клиентов слушала слепого пианиста. Как-то раз я пошел с одной из них, но, даже приняв портучную порцию джина и виски, не смог этого выдержать и сказал ей, что мне надо идти встречать ночной поезд. В действительности меня встретил — и это было не так-то приятно — лишь номер в железнодорожной гостинице, холодный, как организованная благотворительность. Я пошел бы встречать кого угодно с какого угодно поезда — просто ради разнообразия. В будни бывало скверно, но по воскресеньям — еще хуже. Если меня когда-нибудь отправят в ад, там не будет пламени, серы и рычащих дьяволов, а лишь железнодорожная гостиница в Блэкли и мокрое ноябрьское воскресенье, которому нет конца.

Знаю, что вы думаете — что я относился к городку с предубеждением, никогда не пробовал найти в нем что-нибудь привлекательное. Но это не так. Очевидно, мне не повезло. Ребята на заводе со мной ладили — в конце концов, я представлял крупного заказчика, в котором они были очень заинтересованы — но, когда мы старались найти общий язык, у нас это не получалось. Двое из них, с которыми я чаще всего сталкивался по работе, Баттеруорт и Доусон, славные ребята моего возраста, водили меня к себе домой, кормили обедом или ужином, знакомили с какими-то соседями, заставляли рассказывать о Канаде,

включали телевизор, устраивали бридж. Они старались, как могли, и их жены тоже, но все без толку, потому, может быть, что к этому времени я чувствовал себя таким чертовски одиноким и чужим, что хотел уже большего, чем имел право ожидать. Между ними и мною все еще была стена, и я не мог ее разрушить. Если я пытался сойтись с ними поближе, они отступали. Это было похоже на визит в дом, где все чём-то обеспокоены — то ли болезнью, которую хотят от вас скрыть, то ли обручением дочери, которая влюбилась в неподходящего человека; они очень любезны и делают, что могут, но по-настоящему им не до вас. И я уходил, чувствуя себя еще более чужим, чем когда переступал порог их дома. И все-таки даже тогда — скоро вы поймете, почему я говорю *даже тогда*, — мне казалось, что такие люди, как Баттеруорт и Доусон, могли бы стать мне настоящими друзьями, если бы только удалось убрать эту стеклянную стену.

Я не волокита — я вам уже говорил, что один раз женился и рад был выбраться из этой истории, — но ведь вполне естественно, в особенности когда человеку так одиноко и тоскливо, искать женщину, которая могла бы тут помочь. И дело здесь не в одном сексе вопреки ходячему мнению. В близости с женщиной есть нечто большее, хотя и секс, конечно, должен занимать свое место. Итак, я познакомился с одной молодой женщиной: она работала на каком-то другом заводе, но случайно проходила по заводу блэклейской электротехнической компании, когда я был там. Ее звали Мэвис Гилберт, это была высокая темноволосая женщина лет тридцати, с красивым профилем, и вообще было в ней что-то такое приятное и спокойное. Я раза два сводил ее в кино, потом мы встретились и немного выпили, а однажды она пригласила меня к себе поужинать. Но и это не решило дела. Все стало еще хуже. Был какой-то парень, которого она не могла по-

забыть, и стоило ей выпить рюмочку-другую или расчувствоваться после сентиментального фильма, как она уже и не старалась забыть его. Ровно в десять тридцать глаза у нее делались как у потерявшегося щенка. Наверное, она пошла бы на связь со мной, если бы я настаивал, но я знал, что это было бы не слишком весело,— только неловкость, и извинения, и тихие всхлипывания потом, после того как я уйду; поэтому я не неволил ее, что должно было принести облегчение ей, но не принесло его мне. В общем, оттого, что она была славной девушкой, которая заслуживала счастья, но не была счастлива, чувствовала, что начинает увядать, но ничего не могла с этим поделать, мне стало еще хуже; на третью неделю я прекратил эти встречи и убивал вечера, мешая крепкие напитки с легким чтением. А дождь все лил, и солнце, насколько можно было судить, совсем потухло. Иногда я даже не знал, жив я или умер.

И вот, когда я уже решил, что никогда ничего больше не произойдет, случилось одно происшествие. Как-то часов в пять, возвращаясь с завода в свою гостиницу, я шел через вокзальную площадь и вдруг увидел, что какой-то старикашка поскользнулся и упал прямо под колеса грузовика. Будь он на пятьдесят фунтов тяжелее, я бы ничем не смог ему помочь; но он весил не больше ста двадцати, и я оттащил его как раз вовремя. Я привел его в гостиницу, заказал брэнди и помог счистить грязь с одежды. Он назывался сэром Алариком Фоденом; он был баронет, хотя я представлял себе баронетов совсем иначе. Большую часть своей жизни, до получения титула и семейных владений, он провел в Индии и на Дальнем Востоке, и, по-моему, то ли его мать, то ли одна из бабушек была родом из тех краев, потому что в его глазах, похожих на черные бусины, плавающие в желтом масле, было столько же английского, сколько в Тадж-Махале. Его тон-

кие волосы и небольшая бородка были совсем белые, а лицо напоминало увядший лист. Он говорил очень медленно, с усилием, словно его разговорный механизм заржавел, и, пока вы ждали следующего слова, он не мигая смотрел на вас маленькими черными глазками, так что вам начинало казаться, что вы уже в Индии, или в Китае. Он был явно благодарен и распинался по поводу того, что я сделал, но за этим не ощущалось настоящего дружелюбия, хотя возможно, что под влиянием Блэкли я стал болезненно чувствительным к таким вещам. Когда он узнал, что на завтрашний вечер у меня нет никаких планов,— это выяснилось довольно быстро — он пригласил меня к себе обедать. Он жил в десяти милях от моей гостиницы, но рядом была автобусная остановка. Чтобы успеть на последний автобус, я должен был уйти от него без четверти десять, но он полагал, что времени у нас будет вполне достаточно. Я тоже так считал.

Теперь моя история становится странной, и мне нужно продолжать не торопясь и взвешивая каждое слово. Я вам говорил — вы первый, кому я рассказываю ее от начала до конца. Теперь я даже не знаю, выложить ли мне сразу все, что я помню, или как-то разобраться в этом и выбрать самое главное. Но вы же писатель, вы знаете, как это трудно, так что не будете возражать, если я разок-другой остановлюсь, чтобы посмотреть, куда меня занесло и не слишком ли много я говорю или, наоборот, не слишком ли много пропускаю. Выпейте еще! Да, я тоже выпью. Спасибо.

Итак, сэр, на следующий вечер я сел в автобус и отправился в загородный особняк сэра Аларика Фодена, баронета. Если бы я все это выдумал, я бы теперь рассказал о том, какой это был дворец и какой меня там ждал прекрасный прием с лакеями, икрой и шампанским в ведерках со льдом. Но там не было ничего похожего.

Это действительно был особняк, хотя большей части его я не видел и не думаю, чтобы там часто бывал и сам сэр Аларик. Те комнаты, что я видел, были сырье, холодные и запущенные, так что я не стал бы там жить, даже если бы мне приплатили. Ни лакеев, ни дворецкого, только старуха с астматическим дыханием, которая прислуживала нам. Обед же вполне мог быть прислан из железнодорожной гостиницы, за исключением вина,— по словам сэра Аларика, это был один из его лучших klarетов. Он выпил полбокала и заставил меня докончить бутылку, что я и сделал, но не в столовой, холодной и мрачной, а наверху, в библиотеке, где топился камин. Это была большая комната с тысячами книг и таким количеством разных восточных безделушек, что хватило бы на целый антикварный магазин. Во время обеда и после, наверху, он очень мало говорил о себе, но заставлял меня рассказывать, спрашивал, нравится ли мне Блэкли и как идут здесь мои дела. Я не буду пересказывать своих ответов, потому что большую часть их вы уже знаете.

— Итак, мистер Линфилд,— сказал он, когда я выговорился,— в Блэкли... вы... несчастливы. Или... по крайней мере... скучаете... подавлены... одиноки. Вы хотели бы... отправиться... в какое-нибудь другое место... гм?

Я сказал, что хотел бы, но заметил, что у меня нет ни времени, ни возможности, потому что я должен присматривать за машиной.

— Время — ничто,— сказал он и махнул своей костявой лапой в сторону старинных лакированных часов, словно отменяя и часы и время.— А возможность — вот она. Да... в этой комнате. То есть... если вы готовы... рискнуть... отправиться... не в *какое-нибудь* другое место... а в Другое Место.

— Я вас не понимаю, сэр Аларик.— И я подумал, не пора ли мне выметаться, хотя было только девять часов

с минутами. Но я должен был что-то сказать.— Какая разница между *каким-нибудь* другим местом и *Другим Местом*?

Он хихикнул. Я знаю, что это странно звучит в применении к стариашке, которому было самое меньшее лет семьдесят пять, но этот звук нельзя назвать ни смехом, ни кудахтаньем, так что более подходящего слова, чем «хихикнул», у меня нет. Потом он поднялся и, продолжая говорить, начал рыться в комоде, стоявшем прямо за его стулом.

— Другое Место... находится рядом с нами... мистер Линфилд... можно сказать, за углом... только особого рода. Вы поворачиваете за угол... сами того не замечая. Немного рискованно. Но если вы решились... отправиться туда... я буду рад сделать вам одолжение.— Очевидно, он нашел то, что искал, потому что теперь повернулся ко мне довольно резко. Над спинкой кресла заблестели устремленные на меня черные глаза, в которых я ничего не мог прочесть.— Я... облегчу вам... эту задачу... мистер Линфилд. Да... дверь. Вы войдете... в Другое Место... просто через дверь. Вон там... видите, между книжных полок... дверь... вы ее откроете. Да... вот эта дверь. Вы все еще хотите... посетить... Другое Место?

— Почему же нет? — сказал я, чтобы ублажить его. Я знал одного человека, у которого в библиотеке была дверь в уборную, замаскированная фальшивыми книжными корешками, и он устраивал с этой дверью различные розыгрыши.— Что я должен делать?

Тут он показал мне то, что достал из комода. Это был блестящий черный камень, напоминавший крупную гальку. Сэр Аларик сел, положив локти на колени, наклонился вперед и протянул мне камень.

— Это просто. Смотрите на камень... всматривайтесь в него... и считайте... до ста... считайте медленно...

Я стал смотреть на камень, всматриваться в него и считать. Перед глазами у меня все поплыло. Когда я до-считал примерно до двадцати, поверхность камня превратилась в пустую тьму, которая все ширилась и ширилась, пока я считал дальше. Я услышал, как старинные часы прозвенели четверть десятого, но казалось, что звук доносится откуда-то издалека. Когда я дошел до восьми-десети, у меня заболели глаза, а чуть позже стала кружиться голова.

— Сто,— услышал я свой голос.

— Теперь, мистер Линфилд,— сказал сэр Аларик так, словно он говорил со мной по телефону из Новой Зеландии,— встаньте... идите прямо к этой двери... откройте ее... и входите.

Как пьяный, я шагнул к книжным полкам, но сразу же наткнулся на дверь и еще был в состоянии понять, что она в точности такая же, как та, закрытая фальшивыми книжными корешками, которую я когда-то видел. Открывая ее, я, кажется, слышал, как сэр Аларик желает мне получить удовольствие от визита. Потом я вошел и закрыл дверь за собой. Я оказался в узком темном помещении, вроде коридора, в конце его светились несколько брусков золота. Подойдя ближе, я увидел, что это яркие полоски солнечного света, проникавшего справа через грубую сломанную дверь. Я открыл дверь — даже сейчас слышу, как она заскрипела,— и, изумленный, ослепленный после долгого мрака Блэкли, увидел перед собой залитый солнцем сад в разгаре лета, которое, казалось, длится здесь вечно.

Теперь важно сразу прояснить одно обстоятельство. Это не походило на сон. Все сны, которые я видел, были обрывочными, картины, не закончившись, сменяли друг друга, словно там не хватало материала хотя бы на один завершенный эпизод. И, кроме того, во сне замечаешь

только то, что хочешь заметить, так сказать, и, если какой-то предмет не находится в центре твоего внимания, значит, его и нет вообще; нет множества вещей, которые существуют в реальной жизни, за краем сознания, и только ждут, чтобы их заметили. Этот сад был совсем не таким. Он был самый настоящий, без какой бы то ни было незавершенности или обрывочности. Я знал, что он не начнет таять, не превратится в комнату, или в корабль, или в мастерскую. Короче говоря, была в нем какая-то особая реальность, словно он существовал дольше, чем любой обычный сад.

Вымощенная камнем тропинка вела через туннель из старомодных вьющихся роз. Он выходил на небольшую лужайку, ярко освещенную солнцем, а сбоку, возле грубої каменной стены, были разбиты клумбы, переливавшиеся всеми цветами радуги. Оказавшись на лужайке, я увидел дальний берег реки — она была как река в Хабберхолме, только пошире и поглубже. За ней тянулись поля, круто поднимавшиеся кверху, над ними нависали леса, каменистые осыпи и скалы, а еще выше — затянутые дымкой вершины холмов. Место было красивое, и вы сразу понимали, что оно далеко от всяких тревог и волнений. И еще кое-что, это даже трудно определить. Случалось ли вам жить в комнате, где суетливые маленькие часики отсчитывают время вашей жизни? И случалось ли вам входить в эту комнату, когда часов там нет или они стоят и никто не отсчитывает время вашей жизни? Ну так вот, в этом месте вы ощущали нечто похожее, только сильнее. Суетливые маленькие часики внутри вас останавливались или исчезали. Исчезало это вечное тик-так, тик-так, торопись, спеши. Ничто здесь не пропадало, не истощалось, не гибло. Я почувствовал это сразу, и оттого все вокруг стало более острым, отчетливым, более явным

и ожидающим вашего внимания, будь то пламя цветов или синева неба.

Теперь я немного осмотрелся. Грубая сломанная дверь, которую я открыл, входя в этот сад, оказалась дверью какого-то дровяного сарая позади деревенской гостиницы или постоялого двора. Идя вдоль газона, я пришел к дверям этой гостиницы — длинного низкого здания с гладкими стенами, выкрашенными в бледно-розовый цвет. Здесь газон закруглялся, теряя свой нарядный вид, и становился чем-то вроде пивной под открытым небом. Там стояли крепкие деревянные столы и лавки. Дорожка вела к открытой двери гостиницы. Но я повернул в другую сторону и пошел взглянуть на реку через стену. Стена была почти на самом берегу и отделялась от него только узкой полоской луга, густо усыпанной лютиками и маргаритками. Какой-то молодой человек удил там внизу рыбу, а рядом, прислонясь к нему головой, лежала молодая темноволосая женщина в зеленом платье. Она увидела меня и просто так, как делают люди, когда они счастливы, улыбнулась и помахала рукой. И тут я увидел, что это Мэвис Гилберт.

Это было довольно странно, но все же я отнесся к этому совершенно спокойно; я рад был увидеть ее там, счастливую, умиротворенную — это сразу бросалось в глаза, — с тем парнем, о котором она всегда думала, когда я бывал с нею. Пусть им будет хорошо! Я помахал ей в ответ, а она сказала своему парню, чтобы тот обернулся, и он тоже помахал рукой, а потом сделал движение, словно опрокидывает рюмку, и снова уставился на свою удочку.

— Мы уж заждались тебя, Линфилд, — сказал кто-то, дружески хватив меня по спине. Это оказался Баттеруорт. Доусон как раз выходил из дверей гостиницы, держа в руках поднос с кружками пива. Увидев меня, он завопил от радости; можно было подумать, что эти двое — мои луч-

шие друзья и что они меня заждались. Они были в старых рубашках и брюках, оба загорелые и веселые, как моряки, вернувшиеся из плаванья. Мы выпили пива, закурили и пошли побродить по берегу, рассказывая друг другу разные истории и глядя на бегущую мимо реку. Стеклянная стена между нами исчезла, как будто ее и не было.

Где-то неподалеку находились и их жены, и позже я их встретил; они держались приветливо и непринужденно и вовсе не имели такого вида, словно разговаривают с вами, а сами думают о чем-то другом. Были там, само собой, и другие люди, кое-кого я встречал в Блэкли, только теперь они казались совсем иными, а некоторых я вроде не встречал, хотя кто его знает... Каждый говорил все, что придет в голову, потому что это наверняка было хорошо и никого не могло обидеть; и другие вели себя так же. Это был длинный день, и не потому, что он был скучным, а потому, что на все хватало времени, как в летние дни в детстве. И каждый там казался значительнее, чем в жизни, а не мельче, как это бывает в местечках вроде Блэкли. Но я не могу дать вам правильного представления об этом. Не думайте, что я попал в рай, или в страну фей, или куда-нибудь в этом роде, совсем нет. Но не делайте обратного вывода, не подумайте, что я просто провел чудный день в загородном кемпинге. Это было вне нашего мира, но не должно было находиться вне его — понимаете?

Еще не наступил вечер, когда я встретил ее. Она была дочерью добродушного старого толстяка, который держал эту гостиницу, и ее весь день не было дома. Ее звали Пола, и она показала мне комнату, где я должен был ночевать, — в задней части дома, в конце лестничной площадки. Мой чемодан уже стоял там, хотя одному Богу известно, как он туда попал. Я об этом не думал, я думал только о Поле. На вид ей было лет тридцать, она была

довольно высокого роста для женщины, но не худая, а дородная и крепкая, с широким и спокойным лицом, темно-каштановыми волосами и серыми глазами; едва увидев, я понял, что искал ее всю жизнь. В комнате было темновато, потому что солнце только что зашло, на гостиницу упала тень от холмов, все погрузилось в зеленые сумерки, и мы словно опустились на дно морское. Но света было достаточно, чтобы я мог увидеть ее взгляд, когда, показав мне комнату, она секунду помедлила. И я понял: она догадалась, что я искал ее всю жизнь. Знаете этот взгляд, нежный и веселый, который бывает у женщины, когда вы ей нравитесь и в вас она тоже уверена...

— Целый день мне не хватало вас,— сказал я; спросите меня, почему я так сказал, и я не смогу вам объяснить.— Все было великолепно, замечательно, лучше некуда, только вот вас мне не хватало. Теперь вы здесь, Пола.

— Да, Харви,— сказала она так, словно называла меня по имени уже лет десять.— Я здесь.

Не знаю, она ли подалась вперед, или я, или мы оба, но я обнял ее — так крепко и спокойно, будто делал это тысячи раз,— и мы поцеловались. И не таким поцелуем, когда женщина вроде бы сопротивляется или, наоборот, словно говорит: «Еще, еще»; это был поцелуй, который бывает только тогда, когда все остальное совсем хорошо.

— Теперь я не могу тебя отпустить,— сказал я ей.

Но она мягко высвободилась и улыбнулась мне.

— Тебе придется. Я буду занята до половины одиннадцатого. А потом приходи ко мне в маленькую гостиную за зеленой дверью в дальнем конце кухни, помнишь? Но не раньше половины одиннадцатого. Ты не забудешь, Харви?

Она с волнением посмотрела на меня — только один раз у нее был такой взгляд.

Я пообещал, и она вышла из комнаты с деловым видом. Следующие два часа, во время ужина и после, когда мы с ней то и дело обменивались взглядами, подобными касаниям рук, все было замечательно. Было хорошо и так — ужин с друзьями, веселый, радостный, а после ужина — болтовня, шутки, песни, танцы; но при мысли о том, что скоро мы будем вместе, я летал как на крыльях. Вы знаете, как чувствуешь себя в такие минуты, а тут тысяча таких минут слилась в одну.

Не знаю, сколько бы я там пробыл, может быть до бесконечности, если бы вдруг не почувствовал нетерпения и злобы; что-то словно надломилось во мне, от чего я до сих пор не могу отделаться. Но только, когда люди начали расходиться, почти все парами, и в доме я ее не видел, а снаружи, в безлунной, хоть и звездной ночи мне было слишком пусто и одиноко, — я вдруг потерял терпение и не хотел никого видеть и ни с кем разговаривать, кроме нее, разумеется пока оставшиеся минуты проползали мимо, как больные слоны. Я даже начал накачивать себя и злиться — так бывает, когда предчувствуешь беду. К черту! Почему она назначила такое время, будто все должно быть, как она пожелает! Если я достаточно хорош для нее в половину одиннадцатого, то почему не годится четверть одиннадцатого, какая разница, в самом деле? Я поторчал там еще несколько минут, разжигая свое нетерпение, точно огонь в топке, а потом бросился в кухню, к зеленой двери в дальнем ее конце, и попробовал бы кто меня остановить.

Никто, конечно, и не пробовал; этого не делают, когда человек ищет беды. А вот и кухня, пустая, вымытая и подметенная, но еще теплая, с густым запахом пищи; ее освещала только маленькая лампочка, но света было довольно, чтобы я мог разглядеть зеленую дверь в противоположном конце. А что касается Полы, то если ей это не

по нраву, так как до половины одиннадцатого оставалось еще десять минут, ей все равно придется смириться: ведь, в конце концов, она принадлежит мне и знает это и знает, что я это знаю. Зеленая дверь отворилась легко — они всегда отворяются легко, эти двери,— и я вошел.

Но, конечно, не в маленькую гостиную, где была Пола. Я очутился снова в библиотеке сэра Аларика, чувствуя в груди свинцовый холод. Я даже не попытался повернуть обратно, так как знал, что это совершенно безнадежно. Я ненавидел сэра Аларика и его библиотеку, похожую на захудалую лавку старьевщика, и ненавидел самого себя.

Мне не хотелось даже смотреть на сэра Аларика, поэтому я посмотрел на часы. Было двадцать минут десятого; это означало, что мой день там продолжался около трех минут здесь.

— Я могу вернуться туда? — спросил я его.

— Не сегодня, мистер Линфилд. — Его это, видно, забавляло, отчего он не стал казаться мне симпатичнее.

— Почему? Меня не было здесь всего три минуты. И я не собирался так скоро возвращаться. Это была ошибка.

— Это всегда ошибка. Может быть... мне следовало... предостеречь вас. Но я... говорил вам.. что это связано... с некоторым риском...

Скорее от отчаяния, чем надеясь на что-нибудь, я подошел к двери и распахнул ее. Там был умывальный шкаф и полки со всяким хламом. Сэр Аларик тихонько хихикнул, и мне очень захотелось швырнуть в него большой банкой с клеем.

— Насколько я понимаю... мистер Линфилд... наш маленький эксперимент... оказался успешным. Вы побывали... в Другом Месте... гм?

— Я побывал там, где хотел бы быть и сейчас,— ответил я раздраженно.

— Значит... это... действительно... было Другое Место.— Он сделал паузу.— Вы встретили... там... друзей... гм?

Я кивнул. Хоть он и отправил меня туда, мне не хотелось с ним об этом разговаривать. Но надо было еще кое-что узнать.

— Скажите, сэр Аларик, что это за черный камень, на который вы велели мне смотреть? И как он все это проделывает?

— С таким же успехом... вы могли бы... спросить меня... как это... проделывает... дверь,— сказал он укоризненно.

— Ладно, в таком случае — как вы это делаете?

Не знаю, захотел ли он спать или просто я ему надоел, только он покачал головой в знак того, что ответа не будет, и принялся зевать.

Однако мне нужно было кое-что узнать.

— Вы говорили, это все равно что повернуть за угол, хотя, конечно, за угол особого рода. Другое измерение или не знаю уж что... Послушайте, сэр Аларик, я не хочу вам надоедать, поэтому скажите, могу я сделать это сам: сидеть в своем номере в гостинице и каким-нибудь образом повернуть за угол?

— Вы... можете попытаться, мистер Линфилд.— Ответ был явно уклончивый.

Я не мог этого так оставить.

— Я полагаю, подойдет любая дверь, сэр Аларик?

— Разумеется. Любая дверь.

— А тот черный полированный камень — это просто предмет, на который надо глядеть, чтобы сосредоточиться?

— Вы... должны... конечно... на что-то смотреть... ми-

стер Линфилд.— По-прежнему уклончиво. Затем он встал, и я понял, что вечер окончен, хотя было только полдесятого. Каким-то образом мое путешествие в Другое Место — я решил называть его так — оборвало наши отношения. Может быть, он считал, что теперь ничем мне не обязан за спасение; теперь мы были в расчете. А может, я ему просто не нравился, но и мне он тоже, так что мы были квиты.

— Мне показалось, что я пробыл там по крайней мере часов десять,— сказал я, просто чтобы поддержать разговор.— А на самом деле я провел в этом шкафу всего три минуты. Так, конечно, бывает во сне. Но все-таки это не было похоже на сон.

— Это и не было сном.

— Так что же это было?

Он снова зевнул.

— Простите меня... мистер Линфилд... иногда я никак не могу... заснуть... но как раз сегодня... вы видите...

Иными словами: выметайтесь, Линфилд.

В тот вечер было больше тумана, чем дождя, и мое возвращение в Блэкли на автобусе было очень долгим и на редкость тоскливым. В конце пути меня ждала железнодорожная гостиница, готовая сделать все возможное, чтобы доказать, что она сильно отличается от гостиницы Другого Места. Без четверти одиннадцать я уже лежал в постели и следующие четыре часа провел, слушая, как лязгают и грохочут на подъездных путях железнодорожные вагоны. Наутро Блэкли был еще более темным, мокрым и мрачным, чем всегда.

А днем на заводе блэклейской электротехнической компании я вышел из себя, потому что там все еще не сделали нового подшипника, который был мне обещан, и в конце концов они прислали Баттеруорта объяснить задержку.

— Так вот какое дело, старики,— сказал он в конце длинного объяснения, изобиловавшего упоминаниями о министерствах и санкциях.— Мы просим их поторопиться, но, если они не шевелятся, разве мы виноваты? А в чем дело? Может, ты мне не веришь?

— Верю,— сказал я и, решившись, продолжал:— Но я все хотел узнать, что произошло позавчера вечером — или это было вчера? — после того как я расстался с тобой и Доусоном и пошел к Поле.

— Позавчера вечером? К Поле? — Он явно меня не понимал.

Продолжать не имело смысла, но я сделал все же еще одну попытку:

— В тот день мы с тобой и Доусоном пили пиво перед гостиницей, а потом спустились к реке.

Баттеруорт был парень с головой, но он принадлежал к числу тех англичан, о которых по виду никогда не скажешь, что у них есть хоть капля мозга. Лицо у Баттеруорта было большое, круглое как луна, и похожее на недожаренное филе, а в центре его теснились какие-то неопределенные черты. И в тот миг оно настолько ничего не выражало, что мне захотелось дать Баттеруорту оплеуху.

— Прости, старики,— сказал он,— здесь какая-то ошибка.

— Да, да,— сказал я ему.— Так что, пожалуйста, забудь об этом. Я спутал вас с другими ребятами. А подшипник все-таки сделайте поскорее.

— Сделаем, сделаем,— сказал он, с облегчением убеждаясь, что я пришел в себя.— Только неприятно, что тебе приходится вот так зря слоняться. Слушай, старики, давай завтра пообедаем вместе. Нас будет восемь человек — как раз две партии для бриджа.

Я пошел; там были Доусоны и Мэвис Гилберт; еще

двоих — супружескую пару по фамилии Дженнингс — я тоже помнил по Другому Месту. Итак, нас было восемь человек, и все мы побывали в Другом Месте, некоторые даже провели вместе много часов, и это было чудесное время! Не питая особенной надежды, я все же должен был проверить их. Начал я с миссис Баттеруорт, которая посадила меня рядом с собой. Я спросил, не знает ли она восхитительного маленького местечка, где у реки среди холмов стоит гостиница; и я подробно описал Другое Место. Но не уверен, что она как следует слушала, потому что она из тех беспокойных хозяек, которые мысленно всегда в кухне; но, когда я закончил, чувствуя себя надоедливым болтуном, она, к моему удивлению, сказала:

— Нет, я такого места не знаю. Где это? А, и вы не знаете.

Глаза ее расширились и из бесцветных стали синими, молодыми и живыми.

— Мистер Линфилд, давайте поищем его, — прошептала она; одну секунду она была почти той женщиной, которую я видел в Другом Месте.

Во время перерыва в бридже я занялся Доусонами и миссис Дженнингс, но в этот раз говорил только о гостинице и рассказал, что останавливался в ней много лет назад и теперь забыл, где она находится. Доусон сказал, что в Северном Девоне, жена его была уверена, что в Глостершире и что ее уже снесли, а миссис Дженнингс сказала, что знает гораздо более симпатичный маленький бар в Дорсете; я понял, что эти трое — пустой номер. Ясно было, что они и в глаза не видели Другого Места. И самое плохое, что я ведь пымнил их там, и оттого наша вечеринка выглядела так, словно мы играли в шары, изображая ходячих мертвецов зомби.

Разошлись довольно рано, и Мэвис Гилберт, которая подвезла меня в город на своем маленьком автомобиле,

предложила заехать к ней и выпить; когда мы выпили и почувствовали себя более непринужденно, она сказала:

— С тобой что-то стряслось. Я это заметила, и миссис Баттеруорт тоже. В чем дело — или ты не можешь сказать?

— Кое-что могу, — ответил я, — но ты не поймешь, о чем я говорю. Я видел тебя на реке ясным теплым утром, и ты была в зеленом платье.

— Я хорошо выглядела? — спросила она и улыбнулась, давая мне понять, что ей все ясно: я рассказываю свой сон, и для нее это не секрет.

— Ты прекрасно выглядела. И была очень счастлива. С тобой был молодой человек — думаю, что смогу описать его...

— Продолжай. Конечно, сможешь.

— Нескладный, рыжеватый, с зелеными глазами, как всегда бывает у рыжих, а на левой щеке у него шрам...

— Родни! — Она посмотрела на меня, бледная и разгневанная. — Это вовсе не смешно. Кто-то тебе насплетничал, а теперь ты думаешь, что это очень веселый способ сообщить мне, что ты знаешь обо мне и Родни. А мне вовсе не смешно.

— Послушай, Мэвис, ты все не так поняла. — Я взял ее руку и не позволил отнять ее. — Я ни с кем о тебе не говорил. И в первый раз слышу о Родни. Я просто описал человека, с которым я видел тебя, когда ты была в зеленом платье у реки.

— У какой реки?

— Если бы я знал! — ответил я. — Там было много народа, и Баттеруорты и Доусоны, и ты была вместе с этим парнем. Еще там была девушка, по имени Пола, — ее отец держал гостиницу, в которой мы все остановились. — И я

описал Полу, стараясь вспомнить мельчайшие подробности.—Она тебе никого не напоминает?

— Похожа на одну мою знакомую, Норму Блэйк,—сказала Мэвис.—Но Норма не имеет никакого отношения к гостиницам. Она занимается трудотерапией. Это не может быть та самая девушка. Я вижу, что у тебя к этой Поле особое отношение. Но где все это было?

Мне пришлось описать тогда гостиницу, и реку, и холмы, и сказать в двух словах обо всем, что там произошло. Но я не стал говорить о сэре Аларике, черном камне и двери.

— Я не знаю места, похожего на это,—медленно проговорила она, и глаза ее затуманились.—И ни в каком таком месте я с Родни не была — к несчастью! Неужели тебе это приснилось? — Женщины воспринимают такого рода вещи серьезно, без всяких там «брось трепаться, старик».

Но тем не менее я не хотел рассказывать ей всего.

— Не могу объяснить почему,—сказал я,—но не думаю, что мне это приснилось. Каким-то образом я попал туда, встретил там всех вас, счастливых, как короли, нашел Полу и потерял ее из-за того, что поспешил. И все вы хоть и были там, но теперь не понимаете, о чем я говорю, а это означает одно из двух: либо вас там не было и я все это выдумал, либо вы отправляетесь туда и потом ничего не помните.

— О, это невыносимо! — воскликнула она.—Зачем ты мне сказал! Ведь об этом я и мечтала: быть вместе с Родни где-нибудь в таком вот месте — да, каждую ночь я представляла себе это. И теперь ты говоришь, что видел меня там. Какая я несчастная! Это ты виноват!

— Я сам чувствую себя несчастным. Поговорим о чем-нибудь другом.

— Нет,— сказала она,— теперь я должна рассказать тебе о Родни.

И она, разумеется, рассказала, прерывая свой рассказ смехом и слезами, и для нее это была удивительная, душераздирающая история, которую невозможно слушать спокойно, но для меня, хоть Мэвис мне нравилась и против Родни я тоже ничего не имел,— для меня это были только два часа борьбы с дремотой. И, вернувшись в железнодорожную гостиницу, где меня не хотели впустить, я чувствовал себя гораздо хуже, чем когда покидал ее, чтобы приятно провести время в гостях.

Следующие несколько дней напоминали хождение по мокрому вспаханному полю в свинцовых сапогах. Я очень старался не поддаваться жалости к самому себе; давно пора, скажете вы,— согласен, но, когда вы так далеко от дома, это не очень-то легко, и я пошел в справочную библиотеку посмотреть, нет ли там чего-нибудь о магии сэра Аларика; оказалось, что нет, и тогда я начал наводить справки о самом сэре Аларике. Но те, кого я спрашивал, либо никогда о нем не слышали, либо слышали, но не интересовались. Если вдуматься, то этой зимой обитатели Блэкли вообще ничем не интересовались. Они просто продолжали жить, но зачем именно — сами не знали. Иногда мне приходило в голову, что в конечном счете им было бы куда лучше, если бы они подожгли свой городишко и начали все сначала.

Однажды вечером — это случилось в понедельник и, пожалуй, было связано с тем, что я пережил еще одно блэклейское воскресенье — я выпил несколько рюмок джина, потому что виски уже не оставалось, и сказал себе, что пора действовать. В конце концов, сэр Аларик однажды запустил меня в Другое Место, значит, он может запустить меня туда снова, хотя бы для того, чтобы я перестал болтаться как неприкаянный в этой дыре. К тел-

фону он не подходил, так что я решил поймать его дома и поехал туда на автобусе. Должно быть, это был один из последних, потому что в Блэкли он пришел с опозданием, а было уже около десяти. Как я буду возвращаться обратно, меня в моем тогдашнем состоянии нисколько не заботило. И если сэр Аларик уже лег, я готов был устроить такой шум, что ему пришлось бы встать и впустить меня. Нельзя сказать, что я был пьян в стельку, но и трезвым наверняка не был.

Но он еще не спал и пригласил меня войти достаточно любезно, хотя я не почувствовал, что он рад моему приходу. Он повел меня наверх в библиотеку, где до этого дремал у камина, и спросил без всяких околичностей, что мне нужно. Делать вид, что я пришел справиться о его здоровье, явно не имело смысла: он сразу заметил, в каком я настроении, так что незачем было пытаться водить его за нос.

— Я хочу вернуться в Другое Место,— сказал я.— И не говорите мне, чтобы я убирался и попробовал сделать это сам, потому что я уже пробовал и ничего не вышло. И потом, мне сейчас очень плохо. Я говорил с людьми, которых встретил там,— со всеми, кроме одного самого важного для меня человека,— и они не понимают, о чем я говорю. Я даже пытался выбросить Другое Место из головы, но мне это удается самое большое на несколько минут. И теперь, сэр Аларик, с вашей помощью я возвращаюсь обратно.

— Мистер Линфилд... вы слишком много... на себя... берете.

— Потому что я доведен до отчаяния, сэр Аларик.

— Отчаявшиеся люди... мистер Линфилд... не должны... никуда... ходить. Они должны... сидеть дома... и стараться избавиться... от своего отчаяния.

— Вероятно, вы правы, не будем об этом спорить. Мы

вообще ни о чем не будем спорить. Я возвращаюсь туда, сэр Аларик, и не пытайтесь меня остановить. Где ваш черный камень? — Я встал и вплотную подошел к его креслу. Хвастать тут нечем, но раз уж я начал, то могу рассказать вам все.

Я думал, что он испугается, но ошибался. Он только покачал головой, словно мне было десять лет.

— Вы ведете себя... очень глупо... мистер Линфилд. Вы явились сюда... без приглашения... кажется, в нетрезвом виде...

— Да, что-то в этом роде,— сказал я.— И вы совершенно правы, я плохо веду себя. У меня есть тысячи оправданий, но я не хотел бы надоедать вам ими. Просто достаньте тот черный камень, а уж остальное — мое дело. Да скорее! — прикрикнул я, видя, что он не двигается с места.

Мы довольно долго пристально смотрели друг на друга — мне казалось, что в его черных глазах-бусинках сверкнул огонь,— затем он подошел к комоду и достал камень. На этот раз он не стал держать его сам, а протянул мне.

— Делайте так же, как вы делали раньше,— сказал он холодно.— Но не забудьте... положите камень... прежде чем пойдете к двери. Мой вам совет... не надо... этого делать.

— Я не принимаю вашего совета.— Я уставился на камень и сосчитал до ста. Все было так же, как и в первый раз: перед глазами поплыло, потом появилась пустая тьма, которая все ширилась и ширилась, началось головокружение. Я положил камень на ковер и медленно пошел к двери в книжных полках. Я открыл дверь очень осторожно, словно что-то могло сломаться,— вероятно, боялся, что магия не сработает и за дверью я увижу только полки со всяkim хламом да умывальник. Но нет,

я снова очутился там. Я был в том же самом узком темном проходе с полосками солнечного света в конце, проникавшими через грубую поломанную дверь. Я с шумом распахнул ее и поспешил в сад, где с минуту стоял на краю вымощенной камнем тропинки среди роз, просто чтобы перевести дух.

Пожалуй, я не обману вас, если скажу, что уже тогда, в самом начале, почувствовал: тут что-то не так. Правда, честно говоря, я и сам не знаю, отчего у меня создалось такое впечатление. Попробую разобраться в этом, а вы выпейте еще виски. Спасибо, я тоже выпью. Хватит, спасибо. Так вот, начать с того, что все кругом — а видел я не так много, запомните — стало словно ужে, как-то изменило форму. И солнечный свет был каким-то едким, щиплющим, а не мягким, как тот, который мне помнился. И что-то произошло со временем. Я чувствовал, что время остановилось, как и в прошлый раз, но остановилось *иначе*. Не спрашивайте, что это значит, потому что черт меня побери, если я знаю. Но остановилось оно как-то зловеще. Точнее не могу определить то, что я почувствовал.

Я прошел через туннель из вьющихся роз и вышел на лужайку; теперь, конечно, я знал, чего ожидать — реки, холмов, открытой пивной перед гостиницей. На первый взгляд ничего не изменилось, только мне показалось, что краски стали резче, а предметы — плосче и грубее. Вроде копии с картины, которая не может передать дух оригинала, понимаете? И я не чувствовал себя счастливым, нисколько не чувствовал.

А потом началось. Река, например. Когда я увидел ее краешком глаза, еще не обращая на нее особого внимания, она выглядела так же, как и прежде, — это был плавный, полноводный поток. Но, когда я посмотрел как следует, чтобы насладиться ее видом, она обмелела и

превратилась в простой ручеек, который тек между потрескавшимися плитами бурой грязи. И только я отвернулся, как сразу же почувствовал, что это снова спокойная, широкая водная гладь. Посмотрел снова — она опять высохла.

Но с людьми было еще хуже. Пока я стоял на лужайке, играя в прятки с рекой, я знал, что там, перед гостиницей, слева от меня, где стояли столы и скамейки, люди пили, разговаривали, смеялись, как и раньше. Но стоило мне повернуться в ту сторону, чтобы крикнуть «хэлло» и дать им знать, что я здесь, они все застыли, как восковые куклы. И последнее — от этого я прямо-таки содрогнулся: все они смотрели на меня не с каким-нибудь особым выражением лиц, а просто смотрели, как манекены. Я подошел к ним, разозленный и напуганный одновременно. Ни звука. Ни жеста. Восковые куклы под пылающим солнцем. Я остановился, взглянул на реку — она снова была жалким ручейком — и краем глаза снова видел людей: они возвращались к жизни, я слышал, как они говорят и смеются. Я резко повернулся к ним, теперь уже в ярости, — и они опять застыли и смотрели на меня, молчаливые как смерть.

— Какого черта вы прикидываетесь? — заорал я.

Ни слова, ни движения. И все вокруг, будь оно проклято, было не то и не так — синева неба, свет солнца, цветы, которые вяли на глазах. Я чувствовал, что я снова вне времени, но на этот раз не там, где надо. Я должен был сделать так, чтобы что-то произошло, — пусть гром небесный поразит меня.

Сквозь пролом в каменной стене я пошел напрямик к манекенам, которые, вытаращив глаза, стояли и сидели в этой открытой пивной. Первый, к кому я приблизился, оказался Дженнингсом, с которым я обедал у Баттеруортов.

— Слушайте, Дженнингс,— закричал я, хлопая его рукой по плечу,— вы же знаете меня — я Линфилд.— И тут, когда я сосредоточился на нем, все остальные снова ожили, и, не считая меня, Дженнингс был единственной лупоглазой куклой.— В чем дело? Что с вами со всеми случилось?

Он ничего не ответил, даже не пошевельнулся, и я почувствовал, что если я не сниму руку с его плеча, то он упадет. Я убрал руку, но в следующую минуту, охваченный слепой яростью оттого, что я не смог добиться никакого ответа, с силой ударил его по щеке. В ту же секунду — не знаю, как это произошло, — я уже лежал на траве, нокаутированный сильнейшим из всех ударов, которые я получил, с тех пор как выступал в полуследнем весе за Торонтский университет. И, пока я лежал, ожидая счета и гонга, я слышал, будто издалека, как эти люди болтали и смеялись за выпивкой. Харви Линфилд не мог на них сосредоточиться, и они снова веселились где-то в недосягаемости...

Через несколько минут, разбитый, ошеломленный, я поднялся на ноги и огляделся. Сейчас они не были застывшими. Они слегка двигались, наподобие водорослей под водой, и издавали какие-то звуки, но не те, которые я был бы рад слышать, потому что они смеялись медленно, тускло, как сквозь вату, и смеялись надо мной. И я подумал: зачем тратить время на этих людей, если их еще можно назвать людьми, когда они мне довольно безразличны? И я вернулся сюда, чтобы найти единственного человека — Полу. А среди них ее нет — это я знал. Она могла быть только в гостинице.

Она стояла там, одна, в длинной комнате, сейчас тихой, как склеп, и почти такой же темной. Она не была манекеном с вытаращенными глазами, но, пожалуй, лучше бы ей быть таким манекеном, потому что от од-

ного ее вида у меня окоченело сердце. Идя к ней, я увидел, что она тихо качает головой, а щеки у нее мокры от слез. Все, что когда-либо разъединяло мужчину и женщину, все, что надрывало сердце, оказалось там, между нами.

— Пола,— сказал я,— прошлый раз это я был виноват, но теперь я здесь, я вернулся, пробился сюда только ради тебя.— Я мог бы продолжать, но знал, что она не будет со мной разговаривать, а будет только качать головой и плакать, как они делают, когда чувствуют, что все ушло безвозвратно.

Наконец она пошла прочь; я двинулся следом, хотел сказать что-нибудь, но не знал что. Вокруг никого не было; пусто, тихо и бесконечно уныло. Она вошла в кухню, холодную, лишенную вкусных ароматов, и приблизилась к зеленой двери. Там она остановилась и стояла довольно долго, глядя на меня, и по лицу ее промелькнула какая-то тень улыбки. Дверь медленно закрывалась за ней, и тут подошел я — большой, сильный, о господи! Я рванул дверь и шагнул туда, как Александр Македонский.

Но, разумеется, это не произвело на сэра Аларика никакого впечатления, и я не порицаю его. В этот раз я отсутствовал всего полторы минуты, и ему было безразлично, выйду ли я из его шкафа победным маршем Александра Македонского или выползу, как горбун Собора парижской богоматери. Он хотел только одного — поскорее выпроводить меня из своего дома, пока я не разбушевался и не начал ломать мебель. Поэтому он торопливо сказал мне, что в четверти мили отсюда живет человек, который за один фунт довезет меня в Блэкли. Собственно говоря, ему нечего было беспокоиться, потому что последний визит в Другое Место — если это было Другое Место — выбил из меня всю воинственность.

Проводив меня до дверей, сэр Аларик почувствовал облегчение.

— На этот раз... было... не так приятно, мистер Линфилд... гм?

— Было очень неприятно,— сказал я сердито.— Но мне, видно, поделом, раз я сам настаивал на том, чтобы пойти еще раз. И вел я себя не больно-то хорошо. Но признайтесь — и вы тоже.

— Нет, мистер Линфилд,— сказал он серьезно (я как сейчас вижу этого бело-коричневого старичка, очень английского, но с Индией и Китаем в глазах),— вы несправедливы ко мне... и к себе тоже. Вы побывали... в Другом Месте. Забудьте... этот последний визит... помните первый. Теперь... конечно... вы недовольны. Но у вас... есть... мне кажется... причина... быть недовольным... сейчас...

— И раньше была,— проворчал я.— У нас у всех есть. В Блэкли от этого просто умирают. И в благодарность за то, что я вытащил вас из-под грузовика, вы только усилили мое недовольство.

— Нет,— сказал он мягко,— не усилил. В конечном..., счете... Напротив... уменьшил. Вы увидите.

Не могу сказать, чтобы я увидел, хотя время от времени я вроде понимаю, что он имел в виду. Нет, больше мы никогда не встречались. Я снова поехал к нему через несколько дней, но дом стоял закрытый и темный, а потом мне сказали, что он уехал — может быть, стоять на голове в Бомбее, а может, крутить молитвенное колесо в Тибете. Я пошел завтракать с Дженнингсом, чтобы посмотреть, как он станет реагировать, когда я скажу ему, что несколько дней назад в одном месте, где, если всмотреться попристальнее, люди превращаются в манекенов с вытаращенными глазами, он дал мне такой хук справа, какого я в жизни не получал. И, конечно, он никак на

это не отреагировал, только сказал, что перестал видеть сны, с тех пор как не ест сыра по вечерам, и что британский бокс и вообще спорт теперь совсем не то, что был раньше.

Перед отъездом из Блэкли я провел вечер с Мэвис Гилберт; она рассказала мне еще кое-что о Родни и заставила меня описать ей Полу, что я и сделал, не упоминая о Другом Месте; потом мы здорово захмелели, начали сентиментальничать и пытались утешить друг друга любовью; было это пошло и вяло и не более умело, чем у пары подслеповатых медведей. В общем, вечер закончился именно так, как я и предполагал, недаром я все время старался избежать этого.

Блэклейская электротехническая компания к тому времени привела машину в соответствие с нашими требованиями, и после двухдневного испытания она под моим наблюдением была разобрана, упакована и отправлена в Ливерпуль, откуда должна была отплыть ближайшим пароходом. Фирма давно уже требовала моего возвращения, так что я заказал билет на самолет и в один из туманных и печальных зимних дней оказался в Лондонском аэропорту. Я потому об этом говорю, что там я увидел Полу.

Вы знаете, как пасутся пассажиры в аэропортах — как будто школу для дефективных вывели на прогулку. Наше стадо погнали на самолет, а другое стадо — с самолета, так что мы двумя вереницами шли навстречу друг другу. И тут я увидел Полу — это была она, никакого сомнения, скорее я готов сомневаться, что меня зовут Харви.

— Пола! — закричал я и бросился к ней.

Она остановилась, но вид у нее был удивленный и нельзя сказать, чтобы приятно удивленный. — Это какая-

то ошибка,— ответила она.— Я миссис Эндерсли, меня зовут не Пола, и я вас не знаю.

— Ну, в чем дело? — И здоровый детина за ее спиной, нахмурившись, посмотрел на меня. Она принадлежала ему. Ему принадлежало почти все. Один из таких типов.

— Просто ошибка, дорогой,— сказала она и улыбнулась мне, словно извиняясь, может быть потому, что у меня был вид потерявшейся собачонки.

Не знаю, что я проблеял им в ответ, потому что в ее глазах, в их серых глубинах, я вдруг увидел нечто, какой-то сигнал, пришедший издалека, который перевернул меня вверх ногами и вывернул наизнанку. И вот что я прочел в этих глазах: *да, я была Полой там, и я помню тебя тоже, Харви Линфилд, но один бог знает, где мы были и что нам теперь делать!* В следующую минуту я вместе с остальным стадом уже тащился к самолету.

И вот я здесь, вернулся при первой же возможности, но сейчас я, разумеется, в отпуске — без всякого Блэкли, с его дождем, и без железнодорожной гостиницы. Я продолжаю рассказывать людям о Другом Месте, и, когда они говорят, что знают что-то похожее, я иду туда и смотрю, и это приводит меня в ваши красивейшие места — такие, как Хабберхолм, где мы сегодня встретились. Корнуэлл, Девон, Дорсет, Котсуолдс, Озерный Округ — я всюду побывал. Да, я пытался найти сэра Аларика, но он умер в феврале где-то за границей. Да, я спрашивал об этом черном камне, но все имущество продано или раздано и никто о камне ничего не знает. Конечно, я могу попытаться проследить путь камня, я уже думал об этом.

Но время от времени меня тревожит еще одно — вы это и сами замечали. То и дело встречаешь людей, которые вглядываются в вас и потом кричат: «Где мы с вами

могли встречаться?» И, когда отвечаешь, что нигде не встречался с ними, видишь, как свет, озарявший их лица, меркнет. И вот что не дает мне покоя: может быть, эти люди были в каком-то своем Другом Месте и встретили там меня, как я встретил обитателей Блэкли и, конечно, Полу. Вы понимаете, как это ужасно, если все мы встречаемся в каком-то Другом Месте и потом не можем никому этого напомнить. Боже мой! Который час? Мне ведь утром надо ехать в Нортумберленд — я слыхал, там есть какое-то место, может быть, это Оно, кто знает?

Фрэнсис Скотт Фицджеральд

ЗАБАВНЫЙ СЛУЧАЙ О БЕНДЖАМИНОМ БАТТОНОМ

1

В 1860 году еще полагали, что появляться на свет надлежит дома. Ныне же, гласит молва, верховные жрецы медицины повелевают, дабы первый крик новорожденного прозвучал в стерильной атмосфере клиники, предпочтительно фещенебельной. Поэтому, когда молодые супруги мистер и миссис Роджер Баттон решили в один прекрасный летний день 1860 года, что их первенец должен появиться на свет божий в клинике, они опередили моду на целых пятьдесят лет. Связан ли этот анахронизм с той поразительной историей, которую я собираюсь здесь поведать, навсегда останется тайной.

Я расскажу, как все было, а там уж судите сами.

Перед войной супруги Баттоны занимали в Балтийском море завидное положение и процветали. Они были в родстве с Этим Семейством и с Тем Семейством, что, как известно каждому южанину, приобщало их к многочисленной аристократии, которой изобиловала Конфедерация. Они впервые решились отдать дань очаровательной старой традиции — обзавестись ребенком, и мистер Баттон, вполне естественно, нервничал. Он надеялся, что родится мальчик и он сможет определить его в Йельский колледж, штат Коннектикут, где сам мистер Баттон целых четыре года был известен под недвусмысленным прозвищем «Петух».

В то сентябрьское утро, когда ожидалось величайшее событие, он встал в шесть часов, оделся, безупречно завязал галстук и, выйдя на улицу, устремился к клинике, торопясь узнать, зародилась ли в лоне ночи новая жизнь.

В сотне шагов от Частной мэрилендской клиники для леди и джентльменов он увидел доктора Кина, пользовавшего все его семейство, который выходил из главного подъезда, потирая руки привычным движением, как будто мыл их под краном, к чему обязывает всех врачей неписаный закон их профессии.

Мистер Роджер Баттон, глава фирмы «Роджер Баттон и К°, оптовая торговля скобяными товарами», бросился навстречу доктору, вмиг позабыв о достоинстве, которое было неотъемлемым качеством южанина в те незабываемые времена.

— Доктор Кин! — вскричал он. — Ах, доктор Кин!

Доктор услышал это и остановился, ожидая мистера Баттона, причем на строгом докторском лице появилось весьма странное выражение.

— Ну как? — спросил мистер Баттон, запыхавшись от быстрого бега. — Уже? Что с ней? Мальчик? Или нет? И какой...

— Говорите вразумительно! — резко оборвал его доктор Кин. Вид у него был раздраженный.

— Родился ребенок? — пробормотал мистер Баттон с мольбой.

Доктор Кин нахмурил брови.

— М-да, пожалуй... я бы сказал... в некотором роде. — Он опять посмотрел на мистера Баттона странным взглядом.

— Как жена? Благополучно?

— Да.

— А кто у нас — девочка или мальчик?

— Оставьте меня! — закричал доктор Кин, окончательно

тельно потеряв самообладание.— Сделайте милость, разбирайтесь сами. Безобразие!

Последнее слово он будто выплюнул Баттону в лицо и пробормотал, отворачиваясь: — Уж не думаете ли вы, что это поднимет мой врачебный престиж? Да случись еще хоть раз нечто подобное — и я разорен, такое кого угодно разорит!

— Но в чем же дело? — вскричал мистер Баттон в ужасе.— Тройня?

— Если бы тройня! — ответил доктор убийственным тоном.— Нет уж, ступайте полюбуйтесь собственными глазами. И найдите себе другого доктора. Я принимал вас, когда вы родились на свет, молодой человек, и сорок лет лечил ваше семейство, но теперь между нами все кончено. Не хочу больше видеть ни вас, ни вашу родню! Прощайте!

Он резко повернулся, не сказав более ни слова, уселся в пролетку, которая ждала его у тротуара, и отбыл в суровом молчании.

Ошеломленный мистер Баттон остался стоять на улице, весь дрожа. Что за непоправимое несчастье его постигло? У него вдруг пропало всякое желание идти в Частную мэрилендскую клинику для леди и джентльменов, он помедлил немного, но все же пересилил себя, поднялся по ступеням и вошел.

В сумраке приемной сидела за столом медицинская сестра. Сгорая со стыда, мистер Баттон подошел к ней.

— Доброе утро,— любезно приветствовала она его.

— Доброе утро. Я... я мистер Баттон.

Ее лицо вдруг исказил ужас. Она вскочила, готовая, казалось, выбежать вон, и лишь с видимым трудом осталась на месте.

— Я хочу видеть своего ребенка,— сказал мистер Баттон.

Сестра тихонько пискнула.

— О-о... пожалуйста! — воскликнула она, и в голосе ее послышались истерические нотки. — Идите наверх. Наверх. Вон туда.

Она указала в сторону лестницы, и мистер Баттон, спотыкаясь на каждом шагу и обливаясь холодным потом, побрел на второй этаж. Там он обратился к другой сестре, которая встретила его с тазом в руках.

— Я мистер Баттон, — едва вымолвил он. — Я хочу видеть своего...

Дзины! Таз со звоном упал на пол и покатился к лестнице. Дзинь! Дзинь! Таз мурлыко позывал о ступеньки, как бы разделяя всеобщий ужас, внушаемый Баттоном.

— Я хочу видеть своего ребенка! — Голос мистера Баттона срывался. В глазах у него мутлилось.

Дзины! Таз благополучно достиг первого этажа. Сестра овладела собой и взглянула на мистера Баттона с нескрываемым презрением.

— Что ж, мистер Баттон, — произнесла она, понизив голос. — Как вам будет угодно. Но если бы вы только знали, в каком мы теперь положении! Ведь это сущее безобразие! Репутация нашей клиники погибла навсегда...

— Довольно! — прохрипел он. — Я больше не могу!

— В таком случае, мистер Баттон, пожалуйте сюда.

Он поплелся за ней. Они остановились в конце длинного коридора, у двери палаты, за которой на все лады раздавался писк младенцев, — недаром впоследствии ее стали называть «пискливой палатой». Они вошли. У стен стояло с полдюжины белых колыбелек, и к каждой был привязан ярлычок.

— Ну? — задыхаясь, спросил мистер Баттон. — Который же мой?

— Вон тот! — сказала сестра.

Мистер Баттон поглядел туда, куда она указывала пальцем, и увидел вот что. Перед ним, запеленутый в огромное белое одеяло и кое-как втиснутый нижней частью туловища в колыбель, сидел старик, которому, вне сомнения, было под семьдесят. Его редкие волосы были убелены сединой, длинная грязно-серая борода нелепо колыхалась под легким ветерком, тянувшим из окна. Он посмотрел на мистера Баттона тусклыми, бесцветными глазами, в которых мелькнуло недоумение.

— В уме ли я? — рявкнул мистер Баттон, чей ужас внезапно сменился яростью. — Или у вас в клинике принято так подло шутить над людьми?

— Нам не до шуток, — сухово отвела сестра. — Не знаю, в уме вы или нет, но это ваш сын, можете не сомневаться.

Холодный пот снова выступил на лбу Баттона. Он захмурился, помедлил и открыл глаза. Сомнений не оставалось: перед ним был семидесятилетний старик, семидесятилетний младенец, чьи длинные ноги свисали из колыбели.

Он безмятежно взирал на них, а потом вдруг заговорил надтреснутым старческим голосом:

— Ты мой пapa?

Баттон и сестра содрогнулись.

— Если ты мой пapa, — продолжал старик ворчливо, — забери меня поскорей отсюда или хотя бы вели им поставить здесь удобное кресло.

— Ради всего святого, скажи, откуда ты взялся? Кто ты? — закричал мистер Баттон в отчаянии.

— Не могу сказать доподлинно, кто я, — отозвался плаксивый голос, — потому что я родился всего несколько часов назад, знаю только, что моя фамилия Баттон.

— Лжешь! Ты самозванец!

Старик устало повернулся к сестре.

— Миленькая встреча для новорожденного,— жалобно проскулил он.— Да скажите же ему, что он ошибается.

— Вы ошибаетесь, мистер Баттон,— сурово сказала сестра.— Это ваш сын, тут уж ничего не поделаешь. И будьте столь любезны забрать его домой как можно скорее, сегодня же.

— Домой? — переспросил Баттон, все еще не веря своим ушам.

— Да, мы не можем его здесь держать. Никак не можем, понимаете?

— Что ж, тем лучше,— проворчал старик.— Нечего сказать, хорошенное тут у вас место для малыша, который любит тишину и покой. Все время писк, крики, даже вздремнуть невозможно. А когда я попросил поесть,— тут он взвизгнул от возмущения,— мне сунули бутылочку с молоком!

Мистер Баттон рухнул на стул подле своего сына и закрыл лицо руками.

— Боже мой,— прошептал он в ужасе.— Что скажут люди? Как мне теперь быть?

— Вам придется забрать его домой,— настойчиво потребовала сестра.— Немедленно!

Перед глазами несчастного Баттона с ужасающей отчетливостью возникла нелепая картина: он идет по людным улицам бок о бок с этим немыслимым чудищем.

— Я не могу. Не могу! — простонал он.

Люди будут останавливаться, расспрашивать, а что ответить? Придется представлять им семидесятилетнего старца:

— Это мой сын, он родился сегодня утром.

А старик будет кутаться в свое одеяло, и они пройдут мимо оживленных магазинов, мимо невольничьего рынка (на миг мистеру Баттону страстно захотелось, чтобы его

сын был чернокожим), мимо роскошных особняков, мимо
богадельни...

— Ну! Возьмите же себя в руки! — скомандовала
сестра.

— Послушайте,— сказал вдруг старик решительно,—
уж не думаете ли вы, что я пойду домой в этом одеяле?
Как бы не так.

— Новорожденных всегда пеленают в одеяла.

Со злобным смехом старик показал крошечную белую
распашонку.

— Полюбуйтесь! — произнес он надтреснутым голо-
сом.— Вот что они для меня приготовили.

— Новорожденным всегда надевают такие распашон-
ки,— строго сказала сестра.

— Ну а на сей раз,— возразил старик,— не пройдет
и двух минут, как новорожденный предстанет перед вами
нагишом. Это одеяло кусается. На худой конец дали
бы хоть прокладку.

— Нет, нет, подожди! — поспешил сказать мистер Бат-
тон и повернулся к сестре.— Что же мне делать?

— Идите в магазин и купите ему одежду.

Голос сына настиг мистера Баттона уже у выхода:

— И трость, папаша. Мне нужна трость.

Мистер Баттон в ярости захлопнул за собой дверь.

II

— Доброе утро,— обратился взволнованный мистер
Баттон к приказчику универсального магазина Чизпи-
ка.— Мне нужна детская одежда.

— А сколько вашему ребенку, сэр?

— Без малого шесть часов,— опрометчиво ответил
мистер Баттон.

— Приданое для новорожденных продается напротив.

— Нет, мне кажется... боюсь, что это мне не подойдет. Видите ли... ребенок очень крупный. Чрезвычайно... э-э... крупный.

— Там имеются самые большие детские размеры.

— А где можно купить одежду для подростков? — спросил мистер Баттон, в отчаянии меняя тактику.

Он был уверен, что приказчик догадывается о его постыдной тайне.

— Здесь.

— Тогда... — Он поколебался. Мысль, что сына придется одеть, как взрослого, была для него невыносима. Если бы, скажем, найти костюм для очень крупного подростка, можно остричь эту ужасную бороду, перекрасить седые волосы в каштановый цвет, и скрыть таким образом самое ужасное, сохранив остатки самоуважения... о своей репутации в обществе он уже и не вспоминал.

Но, лихорадочно осмотрев все витрины, он убедился, что подходящего костюма для новорожденного Баттона нет. Он проклинал магазин, — что ж, в подобных случаях только и остается проклинять магазин.

— Сколько, вы говорите, вашему мальчику? — с любопытством спросил приказчик.

— Ему... шестнадцать лет.

— Ах, простите, а мне послышалось — шесть часов. Одежду для юноши продают в соседнем зале.

Мистер Баттон поплелся было прочь. Но вдруг он остановился и радостно указал на манекен в витрине.

— Вот! — воскликнул он. — Я беру тот костюм, что на манекене.

Приказчик посмотрел на него в изумлении.

— Но это же не детский костюм, — сказал он. — А ес-

ли и детский, то сшит для манекена. Да он вам самому пришелся бы впору.

— Заверните,— потребовал покупатель.— Именно это мне и нужно.

Ошеломленный приказчик повиновался.

Вернувшись в клинику, Баттон вошел в палату и едва не запустил в сына свертком.

— Вот тебе, одевайся,— сказал он со злостью.

Старик развернул бумагу и насмешливо поглядел на содержимое пакета.

— Да ведь это просто смешно,— пожаловался он.— Я не хочу, чтобы из меня сделали обезьяну...

— Это ты из меня обезьяну сделал! — огрызнулся Баттон.— Не тебе судить, как ты выглядишь. Живо одевайся или... или я тебя отшлепаю.

На последнем слове он всхлипнул, хотя чувствовал, что именно это и следовало сказать.

— Ладно, папа,— сказал сын с притворным почтением.— Ты старше, значит, тебе видней. Я повинуюсь.

При слове «папа» мистер Баттон вновь содрогнулся.

— И поторопливайся.

— Я поторопливаюсь, папа.

Когда сын оделся, мистер Баттон осмотрел его и окончательно упал духом. На нем были крапчатые чулки, розовые панталоны и кофточка с белым воротником. Поверх нее почти до пояса змеилась грязно-серая борода. Впечатление было не из лучших.

— Подожди-ка!

Мистер Баттон схватил хирургические ножницы и тремя быстрыми движениями одхватил бороду. Но и это не помогло — вид новорожденного по-прежнему был далек от совершенства. Жесткая щетина на подбородке, тусклые глаза, желтые старикивские зубы выглядели нелепо в сочетании с нарядным, сшитым для витрины кос-

тюмом. Но мистер Баттон, ожесточившись, протянул сыну руку.

— Пошли! — сказал он строго.

Сын доверчиво уцепился за эту руку.

— А как ты будешь меня звать, папочка? — спросил он дребезжащим голосом, когда они выходили из палаты. — Просто «малыш», покуда не придумаешь что-нибудь получше?

Мистер Баттон хмыкнул.

— Не знаю, — ответил он сурово. — Пожалуй, назовем тебя Мафусаилом.

III

Даже когда отпрыска Баттонов коротко остригли, покрасили волосы в неестественный черноватый цвет, щеки и подбородок выбрали до блеска, а потом нарядили в детский костюмчик, сшитый по заказу портным, который долго не мог прийти в себя от удивления, мистеру Баттону все же пришлось признать, что такой первенец отнюдь не делает чести его семейству.

Бенджамин Баттон — так его называли, отказавшись от весьма подходящего, но слишком уж вызывающего имени Мафусаил, — хоть и сутулился по-стариковски, имел пять футов восемь дюймов росту. Этого не скрывала одежда, равно как короткая стрижка и крашеные брови не скрывали тусклых, выцветших глаз. Нянька, заранее взятая к ребенку, едва увидев его, в негодовании покинула дом.

Но мистер Баттон твердо решил: Бенджамин — младенец и таковым должен быть. Прежде всего он объявил, что если Бенджамин не будет пить теплое молоко, то вообще ничего не получит, но потом его уговорили поми-

риться на хлебе с маслом и даже овсяной каше. Однажды он принес домой погремушку и, отдавая ее Бенджамину, в недвусмысленных выражениях потребовал, чтобы он играл ею, после чего старик с усталым видом взял ее и время от времени покорно встряхивал.

Однако погремушка, без сомнения, его раздражала, он, оставаясь в одиночестве, находил другие, более приятные для себя развлечения. К примеру, однажды мистер Баттон обнаружил, что за минувшую неделю выкурил сигар намного больше обычного; все объяснилось несколько дней спустя, когда, неожиданно войдя в детскую, он увидел, что комната наполнена легким голубым туманом, а Бенджамин с виноватым видом пытается спрятать окурок гаванской сигары. Конечно, следовало бы его хорошенъко отшлепать, но мистер Баттон почувствовал, что не способен на это. Он только предупредил сына, что курение задержит его рост.

Несмотря на этот случай, мистер Баттон продолжал гнуть свою линию. Он купил оловянных солдатиков, игрушечный поезд, принес больших, забавных зверей, набитых ватой, и для полноты иллюзии — по крайней мере собственной — настойчиво допытывался у продавца, «не слиняет ли розовая окраска утки, если ребенок засунет игрушку в рот». Но вопреки всем стараниям своего отца Бенджамин оставался равнодушен к игрушкам. Он тайком, по черной лестнице, спускался вниз и приносил в детскую том Британской энциклопедии, над которым и проводил целый день, а коровы, набитые ватой, и Ноев ковчег валялись в небрежении на полу. Такого упорства мистер Баттон не в силах был сломить.

Рождение Бенджамина поначалу произвело в Балтиморе сенсацию. И трудно сказать, как это несчастье отразилось бы на общественном положении Баттона и его родственников, если бы не началась Гражданская война,

которая отвлекла от них внимание. Некоторые особенно вежливые люди ломали себе головы над тем, что бы такое сказать родителям Бенджамина, дабы это было им приятно, и наконец нашли простой выход: объявили, что новорожденный похож на своего деда — ввиду свойственной семидесятилетним старикам умственной слабости отрицать это было трудно. Мистер и миссис Роджер Баттон нисколько не обрадовались, а дед Бенджамина оскорбился до глубины души.

Покинув клинику, Бенджамин безропотно принимал окружающий мир. Однажды к нему привели поиграть нескольких малышей, и он кое-как дотянул до вечера, стараясь проявлять интерес к волчку и шарикам, причем ему удалось даже, правда по чистейшей случайности, разбить окно на кухне выстрелом из рогатки — подвиг, которому его отец втайне радовался.

С тех пор Бенджамин ухитрялся каждый день что-нибудь разбивать, но делал это лишь для того, чтобы угодить взрослым, поскольку характер у него был покладистый.

Когда дед перестал испытывать враждебность к нему, они с Бенджамином начали находить большое удовольствие в общении друг с другом. Часами сидели они, старый и малый, словно закадычные друзья, и беседовали о всяких пустяках.

С дедом Бенджамин чувствовал себя свободнее, чем с родителями, которые всегда словно побаивались его и, забывая о своем родительском авторитете, нередко называли «мистером».

Он сам не менее других был удивлен тем, что родился таким старым и умудренным опытом. Он попытался найти объяснение этому в медицинском журнале, но выяснил лишь, что науке подобные случаи не известны. По настоящему отца он честно пробовал играть с другими

мальчиками, но предпочитал спокойные игры,— футбол приводил его в трепет: он боялся, что, если ему переломают старческие кости, они уже никогда не срастутся.

Пяти лет от роду его отдали в детский сад, где он приобщился к великому искусству наклеивать зеленые бумажки на оранжевые, плести цветные узоры и изготавливать бесконечные картонные украшения. Случалось, он засыпал, не выполнив урока,— эта привычка сердила и ужасала его юную наставницу. К счастью, она пожаловалась родителям, и его забрали оттуда. Баттоны объяснили своим друзьям, что мальчик, как им кажется, еще не дорос до детского сада.

На двенадцатый год после его рождения родители наконец к нему привыкли. Воистину столь велика сила привычки, что они уже не видели разницы между ним и другими детьми — разве только иногда какая-нибудь его странность напоминала им об этом. Но однажды, вскоре после того, как ему исполнилось двенадцать, Бенджамин взглянул в зеркало и сделал поразительное открытие. Он не поверил своим глазам: неужели пробивавшаяся из-под краски седина на тринадцатом году его жизни приобрела серовато-стальной оттенок? Неужели сеть морщин на его лице словно бы сгладилась? Неужели кожа стала свежей и упругой, а на щеках, словно тронутых зимним морозом, даже заиграл легкий румянец? Его одолевали сомнения. Он замечал, что больше не сутулился и здоровье его заметно окрепло со временем младенчества.

— Возможно ли?.. — подумал или, вернее, едва осмелился подумать Бенджамин.

Он пошел к отцу.

— Я вырос, — решительно объявил он. — Купи мне длинные брюки.

Отец задумался.

— Право, не знаю, — сказал он наконец. — Длинные

брюки обычно носят с четырнадцати лет, а тебе только двенадцать.

— Но ты должен признать,— возразил Бенджамин,— что я довольно крупный ребенок для своих лет.

Отец бросил на него неуверенный взгляд.

— Ну, я этого не нахожу,— сказал он.— В двенадцать лет я не уступал тебе.

Это была ложь: Роджер Баттон давно вошел в сделку с совестью, молчаливо притворяясь, будто его сын вполне нормальный ребенок.

Наконец был найден компромисс. Бенджамину по-прежнему придется красить волосы. Он будет стараться играть со своими ровесниками. Он обещает не носить очки и не гулять с тростью по улице. В награду за все это ему обещали купить длинные брюки.

IV

Я не намерен много распространяться о жизни Бенджамина Баттона от двенадцати до двадцати одного года. Достаточно заметить, что за эти годы он неуклонно молодел. К восемнадцати годам он перестал сутулиться и выглядел пятидесятилетним мужчиной; волосы его стали гуще и слегка потемнели; он ходил твердым шагом, дребезжащий голос превратился в мужественный баритон. И тогда отец послал его в Йельский колледж держать экзамены, которые Бенджамин успешно сдал и был зачислен на первый курс.

Через три дня он получил уведомление от мистера Харта, из канцелярии колледжа; ему предлагали явиться для составления учебного плана. Бенджамин, поглядевшись в зеркало, решил, что волосы надо подкрасить, но, лихорадочно обыскав ящик письменного стола, не обнаружил там склянки с краской. Тут он вспомнил, что

еще вчера израсходовал остаток краски и выбросил склянку. Выбора не было. Через пять минут ему предстояло явиться в канцелярию. Ничего не попишешь — придется идти как есть. И он пошел.

— Доброе утро,— любезно встретил его мистер Харт.— Вы, должно быть, пришли справиться о своем сыне.

— К вашему сведению, моя фамилия Баттон...— начал Бенджамин, но мистер Харт прервал его:

— Очень рад с вами познакомиться, мистер Баттон. Я ожидаю вашего сына с минуты на минуту.

— Да это же я! — рявкнул Бенджамин.— Меня зачислили на первый курс.

— Что-о?

— Меня зачислили на первый курс.

— Да вы шутите!

— Нисколько.

Клерк нахмурился и заглянул в карточку, лежавшую перед ним.

— Но у меня здесь значится, что Бенджамишу Баттону восемнадцать лет.

— Вот именно, восемнадцать,— подтвердил Бенджамин и слегка покраснел.

Клерк устало взглянул на него.

— Право, мистер Баттон, не думаете же вы, что я вам поверю.

Бенджамин улыбнулся не менее устало,

— Мне восемнадцать,— повторил он.

Клерк решительно указал ему на дверь.

— Уходите,— сказал он.— Уходите из колледжа и покиньте наш город. Вы опасный маньяк.

— Мне восемнадцать!

Мистер Харт распахнул дверь.

— Подумать только! — вскричал он.— В ваши годы

пытаться поступить на первый курс! Восемнадцать лет, говорите? Даю вам восемнадцать минут, и чтобы духу вашего в городе не было.

Бенджамин Баттон с достоинством покинул канцелярию, причем с полдюжины старшекурсников, ожидавших в приемной, таращили на него глаза. Отойдя немногого, он оглянулся на взбешенного клерка, который все еще стоял в дверях, и твердо повторил:

— Мне восемнадцать лет от роду.

Под дружный хохот старшекурсников Бенджамин удалился.

Но ему не суждено было так легко отделаться. Он печально брел к вокзалу и вдруг обнаружил, что его сопровождает сперва стайка, потом рой, и, наконец, плотная толпа студентов. Весь о том, что какой-то маньяк выдержал вступительные экзамены и пытался выдать себя за восемнадцатилетнего юношу, облетела город. Весь колледж лихорадило. Студенты выбегали на улицу, позабыв в аудитории свои шляпы, футбольная команда прервала тренировку и присоединилась к толпе, профессорши, со съехавшими на одно ухо шляпками, со сбившимися на бок турнюрами, громкими воплями преследовали процессию, а вокруг так и сыпались насмешки, попадавшие в самое уязвимое место Бенджамина Баттона:

— Наверное, это Вечный Жид!

— В его возрасте ему бы быть приготовицкой!

— Только поглядите на этого вундеркинда!

— Он решил, что у нас здесь богадельня!

— Эй, ты, поезжай в Гарвард!

Бенджамин прибавил шагу, потом перешел на рысь. Он им покажет! Да, он поедет в Гарвард, и они еще пожалеют о своих опрометчивых насмешках!

Благополучно укрывшись в вагоне балтиморского поезда, он высунулся из окна.

— Вы еще пожалеете! — заорал он.

— Ха-ха! — хохотали студенты.— Ха-ха-ха!

В тот день Йельский колледж совершил роковую ошибку...

V

В 1880 году Бенджамина Баттону исполнилось двадцать, и свой день рождения он озnamеновал тем, что стал компаньоном отца в фирме «Роджер Баттон и К°, оптовая торговля скобяными товарами». В том же году он начал «выезжать в свет», вернее, отец чуть ли не насильно стал вывозить его на светские балы. Роджеру Баттону было уже пятьдесят, и отец с сыном теперь куда больше подходили друг другу — право, с тех пор как Бенджамина перестал красить волосы (в которых все еще пробивалась седина), они казались ровесниками и их вполне можно было принять за братьев.

В один из августовских вечеров они облачились во фраки и отправились в карете к Шевлинам, в их загородную усадьбу неподалеку от Балтимора.

Вечер был чудесный. Полная луна заливала дорогу мягким серебристым светом, увядающие осенние цветы наполняли недвижный воздух благоуханием, словно пронизывая его тихим, едва слышным смехом. Широкие поля, покрытые далеко окрест ковром пшеницы, были освещены, как днем.

Казалось бы, никто не мог оставаться равнодушным к этой чистой красоте неба... казалось бы...

— Да, у торговли скобяными товарами великое будущее,— говорил Роджер Баттон. Он не был возвышенным человеком — его эстетические чувства пребывали в зачаточном состоянии.

— В мои годы уже поздно учиться всем этим нынеш-

ним новшествам,— заметил он глубокомысленно.— А вот у вас, подрастающего поколения, полного сил и энергии, великое будущее.

Далеко впереди показались мерцающие огни усадьбы, и вскоре послышался тихий неумолчный ропот— быть может, то вздыхали скрипки или шелестела пшеница в лунном серебре.

Они остановились подле роскошного экипажа, из которого уже высаживались гости. Сначала вышла дама, за ней пожилой господин и еще одна молодая дама, блеставшая ослепительной красотой. Бенджамин вздрогнул, в нем словно началась химическая реакция, все его существо как бы преобразилось. Его охватил озноб, щеки и лоб зарделись, в ушах зашумело. Это пришла первая любовь.

Девушка была стройна и нежна. Под луной ее волосы казались пепельными, а у подъезда, при свете шипящих газовых фонарей, они отливали медовой желтизной. Плечи ее окутывала золотистая испанская мантилья, подбитая черным шелком, очаровательные ножки выглядывали из-под края платья.

Роджер Баттон шепнул сыну:

— Это юная Хильдегарда Монкриф, дочь генерала Монкрифа.

Бенджамин сдержанно кивнул.

— Недурна,— заметил он равнодушно. А когда негр-слуга отвел лошадей в сторону, добавил: — Папа, ты не мог бы представить ей меня?

Они подошли к гостям, окружившим мисс Монкриф. По старой добной традиции она сделала Бенджамина глубокий реверанс. Да, разумеется, он может рассчитывать на танец. Он поблагодарил ее и отошел, ноги у него подкашивались. Время ползло мучительно медленно, он едва дождался своей очереди. Он стоял у стены, безмолв-

ный, непроницаемый, взирая убийственным взглядом на восторженно-влюбленные физиономии аристократических отпрысков Балтимора, уивавшихся вокруг Хильдегарды Монкриф. Как они были отвратительны Бенджамина, как невыносимо юны! Их вьющиеся каштановые бакенбарды вызывали в нем ощущение, подобное желудочной колике.

Но, когда подошла его очередь и он закружился с ней по сверкающему паркету под звуки модного парижского вальса, его ревность и тревоги растаяли, как весенний снег. Ослепленный и очарованный, он чувствовал, что жизнь только начинается.

— Вы с вашим братом подъехали следом за нами, не правда ли? — спросила Хильдегарда, подняв на него сияющие лазурные глаза.

Бенджамин был в нерешительности. Если она приняла его за брата отца, стоит ли говорить ей правду? Он вспомнил, что приключилось с ним в Йеле, и решил промолчать. Ведь спорить с дамой неприлично; и к тому же было бы просто преступлением портить такие дивные минуты нелепым рассказом о его появлении на свет. Лучше уж как-нибудь потом. Он кивал, улыбался, внимал ей и был на верху блаженства.

— Мне нравятся мужчины в вашем возрасте, — сказала Хильдегарда. — Эти мальчишки так глупы. Хвастают тем, сколько выпивают шампанского в колледже и какую кучу денег проигрывают в карты. А вот мужчины в вашем возрасте умеют ценить женщин.

Бенджамин почувствовал, что готов не сходя с места сделать ей предложение, — усилием воли он подавил этот порыв.

— Вы в самом романтическом возрасте, — продолжала она, — Вам пятьдесят. В двадцать пять мужчины полагают, будто знают все на свете; в тридцать они быва-

ют изнурены работой; в сорок — рассказывают бесконечные истории, слушая которые можно выкурить целый ящик сигар; в шестьдесят... ах, в шестьдесят... там уж и до семидесяти недалеко; а пятьдесят — это пора возмужания. Вот что мне по душе.

И Бенджамин подумал, что нет возраста чудеснее, чем пятьдесят лет. Как жаждал он быть пятидесятилетним мужчиной!

— Я всегда говорила, — продолжала между тем Хильдегарда, — что предпочла бы выйти замуж за пятидесятилетнего, который стал бы меня лелеять, чем за тридцатилетнего и самой лелеять его.

Весь вечер Бенджамин купался в медовой желтизне. Хильдегарда осчастливила его еще двумя танцами, и они выяснили, что их взгляды на все существенные проблемы поразительно совпадают. Она согласилась совершить с ним воскресную прогулку, дабы продолжить этот важный разговор.

Возвращаясь домой уже перед рассветом, когда журчали ранние пчелы и меркнувшая луна отсвечивала в холодных капельках росы, Бенджамин, словно сквозь сон, слышал, как отец толковал про оптовую скобяную торговлю:

— ...а как ты думаешь, кроме молотков и гвоздей, что заслуживает особого внимания?

— Любовь, — рассеянно отозвался Бенджамин.

— Любое?! — восхликал Роджер Баттон. — Да ведь не можем же мы торговать чем попало!

Бенджамин смотрел на отца невидящим взглядом, а небо на востоке вдруг озарилось светом, и в пробуждающейся листве тоненько засвистела иволга...

Полгода спустя, когда стало известно о помолвке мисс Хильдегарды Монкриф и мистера Бенджамина Баттона (я говорю «стало известно», ибо генерал Монкриф заявил, что скорее проткнет себя собственной шпагой, чем официально объявит об этой помолвке), балтиморское общество пришло в лихорадочное волнение. История рождения Бенджамина, почти забытая, снова выплыла наружу и, раздуваемая сплетней, приобрела чудовищный и невероятный вид. Говорили, что в действительности Бенджамин — отец Роджера Баттона; что он — его брат, просидевший сорок лет в тюрьме; что это переодетый Джон Уилкс Бут* и, наконец, что на голове у него есть пара маленьких острых рожек.

Воскресные приложения к нью-йоркским газетам подняли шумиху и поместили прелестные карикатуры, изображавшие Бенджамина Баттона то в виде рыбы, то в виде змеи и даже в виде медной болванки. Он фигурировал в газетах, как Таинственный Незнакомец из Мэриленда. Истинной же его истории, как это обычно бывает, не знал почти никто.

Однако все соглашались с генералом Монкрифом, что это попросту преступно со стороны очаровательной девушки, которая могла бы выйти за любого из блестящих балтиморских юношей,— броситься в объятия человека, которому никак не меньше пятидесяти. Напрасно мистер Роджер Баттон крупным шрифтом напечатал в балтиморской газете «Пламя» свидетельство о рождении сына. Никто ему не поверил. Стоило только взглянуть на Бенджамина, и все становилось ясным.

Однако те двое, которых эта история касалась более

* Убийца президента Авраама Линкольна.— Прим. перев.

Всего, оставались непоколебимы. О женихе Хильдегарды ходило столько лживых сплетен, что она упрямо не хотела поверить даже истине. Напрасно генерал Монкриф указывал ей на высокую смертность среди пятидесятилетних, или, во всяком случае, среди людей, которым на вид можно дать пятьдесят; напрасно пытался убедить ее, что скобяная торговля — дело ненадежное. Хильдегарда решила выйти замуж за зелого мужчину — и поставила на своем.

VII

В одном по крайней мере дружьи Хильдегарды Монкриф ошибались. Скобяная торговля процветала. За пятнадцать лет, с 1880 года, когда Бенджамин женился, и до 1895-го, когда его отец удалился от дел, их состояние выросло вдвое, главным образом благодаря усилиям Баттона младшего.

Незачем и говорить, что со временем балтиморское общество приняло супругов в свое лоно. Даже старый генерал Монкриф примирился со своим зятем, после того как Бенджамин дал ему денег на печатание его двенадцатитомной «Истории Гражданской войны», отвергнутой девятью виднейшими издателями.

Да и в самом Бенджамине за пятнадцать лет произошло немало перемен. Ему казалось, что кровь быстрее струится в его жилах. Он теперь с удовольствием вставал ранним утром, бодро шагал по оживленным, залитым солнцем улицам, без устали принимал и отгружал партии молотков и гвоздей. В 1890 году он нанес решительный удар конкурентам, войдя в сенат с нижеследующим предложением: *все гвозди, которыми заколочены ящики, содержащие гвозди, являются собственностью грузоотправителя*, — впоследствии это предложение ста-

ло законом, одобренным верховным судьей Фоссайллом, благодаря чему фирма «Роджер Баттон и К°» стала экономить *более шестисот гвоздей ежегодно*.

Кроме того, Бенджамин обнаружил, что его все больше привлекают простые радости жизни. Эта растущая тяга к удовольствиям выразилась в том, что он первым в Балтиморе приобрел автомобиль. Встречая Бенджамина на улице, его сверстники обычно с завистью глязели на это воплощение здоровья и энергии.

— Он словно молодеет с каждым годом,— говорили они.

И если старый Роджер Баттон, которому теперь было шестьдесят пять, поначалу не оценил сына должным образом, то в конце концов он загладил свою вину, так как теперь едва ли не заискивал перед ним.

А теперь мы вынуждены коснуться предмета не слишком приятного, о котором следует сказать как можно короче. Одно лишь тревожило Бенджамина Баттона: он больше уже не испытывал влечения к своей жене.

К этому времени Хильдегарде исполнилось тридцать пять и у нее был четырнадцатилетний сын Роско.

В первое время после женитьбы Бенджамин ее боготворил. Но годы шли, ее волосы, некогда отливавшие медовой желтизной, теперь имели тоскливыи грязноватый оттенок. Лазурные голубые глаза потускнели и обрели цвет залежавшейся глины; но мало того — и это было главное,— она стала слишком равнодушной, слишком спокойной, слишком самодовольной и вялой в проявлении своих чувств, слишком ограниченной в своих интересах.

До свадьбы именно она «вытаскивала» Бенджамина на балы и торжественные обеды — а теперь все было наоборот. Она выезжала с ним в свет, но без всякой охоты, будучи во власти той непреодолимой инерции,

которая в один прекрасный день завладевает человеком и не покидает его до конца жизни.

Неудовольствие Бенджамина росло. В 1898 году, когда разразилась Испано-американская война, он был уже до такой степени равнодушен к своему домашнему очагу, что решился пойти в армию добровольцем. Использовав свои деловые связи, он получил звание капитана и проявил столь блестящие способности, что был повышен в чине и стал сначала майором, а потом подполковником, в каковом чине и участвовал в знаменитой битве при Сан-Хуан Хилле. Он был легко ранен и награжден медалью.

Бенджамин так привык к бурной и беспокойной армейской жизни, что ему жаль было с ней расстаться, но дела требовали его присутствия, и он, выйдя в отставку, вернулся в Балтимор. На вокзале ему устроили встречу с оркестром и с почетным эскортом проводили до дома.

VIII

Хильдегарда приветствовала его с балкона, размахивая большим шелковым флагом, но, едва поцеловав ее, Бенджамин с болью в сердце понял, что эти три года сделали свое дело. Перед ним была сорокалетняя женщина, в волосах у которой уже пробивалась седина. Это привело его в отчаяние.

Поднявшись к себе, он увидел свое отражение в стекле зеркала, подошел ближе и стал с беспокойством рассматривать собственное лицо, то и дело поглядывая на фотографию, сделанную перед войной.

— О господи! — вырвалось у него.

Поразительный процесс продолжался. Сомнений не было — теперь он выглядел лет на тридцать. Он ничуть

не обрадовался, напротив, ему стало не по себе: он неотвратимо молодел. Прежде у него еще была надежда, что, когда тело его придет в соответствие с его подлинным возрастом, природа исправит ошибку, которую она совершила при его появлении на свет. Он содрогнулся. Будущее представилось ему ужасным, чудовищным.

Внизу его уже ждала Хильдегарда. Вид у нее был злобный, и он подумал, что она, должно быть, заподозрила неладное. Стремясь сгладить натянутость, он за обедом завел разговор на волновавшую его тему в весьма, как ему казалось, деликатной форме.

— Знаешь,— обронил он как будто вскользь,— все находят, что я помолодел.

Хильдегарда бросила на него презрительный взгляд и фыркнула.

— Нашел чем хвастать.

— Я не хвастаю,— заверил он ее, испытывая мучительную неловкость.

Она снова фыркнула.

— Хорошенькое дело,— сказала она и, помолчав, добавила: — Надеюсь, ты найдешь в себе силы положить этому конец.

— Но как? — спросил он с удивлением.

— Я не намерена с тобой спорить,— заявила она.— Всякий поступок может быть приличен или неприличен, в зависимости от обстоятельств. Если ты решил быть таким оригиналом, что ж, помешать тебе я не могу, однако мне кажется, все это не слишком деликатно с твоей стороны.

— Но, Хильдегарда, поверь, я тут ничего не могу поделать.

— И я тоже. Ты попросту упрямишься. Ты решил быть оригиналом, был им всю жизнь и таким останешься. Но вообрази, на что это было бы похоже, если бы

каждый смотрел на вещи так, как ты,— во что превратился бы мир?

На этот нелепый довод нечего было ответить, и Бенджамин промолчал, но с этой минуты пропасть, их разделявшая, стала еще шире. Он мог только удивляться, как это она некогда сумела его очаровать.

А тут еще он обнаружил, что с приходом нового века жажда удовольствий в нем, как на грех, стала возрасти. Он бывал на всех приемах в Балтиморе, танцевал с молодыми замужними дамами, болтал с красавицами, впервые блиставшими на балах, пленялся ими, а его супруга, словно старая вдова, чье лицо не сулило ничего доброго, сидела среди пожилых матрон, то напуская на себя надменный и презрительный вид, то следя за ним пристальным, удивленным, полным упрека взглядом.

— Подумать только! — говорили вокруг.— Какая жалость! Такой молодой человек, а женат на сорокапятилетней старухе! Да ведь он лет на двадцать ее моложе.

Они забыли — ведь людская память так коротка,— что в 1880 году их мамаши и папаши тоже судачили об этом неравном браке.

Неприятности, которые Бенджамина приходилось терпеть в своем семействе, окупались новыми интересами, которые у него появились. Он начал играть в гольф и делал необычайные успехи. Он увлекся танцами: в девятьсот шестом году он неподражаемо исполнял бостон, в девятьсот восьмом — максиксе, а в девятьсот девятом все юноши в городе завидовали его умению танцевать касул-уок.

Разумеется, дела несколько мешали его светским успехам, но ведь он занимался скобяной торговлей вот уже двадцать пять лет и теперь полагал, что вскоре смо-

жет передать ее в руки своего сына Роско, который недавно окончил Гарвардский университет.

Люди часто принимали его за Роско и наоборот. Бенджамина это было приятно — он вскоре забыл зловещий страх, который охватил его, когда он вернулся с Испано-американской войны, и стал наивно радоваться своей внешности. В этой бочке меда была лишь одна ложка дегтя: он терпеть не мог появляться на людях с женой. Хильдегарде было уже под пятьдесят, и, глядя на нее, он чувствовал себя нелепо...

IX

Однажды, в сентябре 1910 года, через несколько лет после того, как фирма «Роджер Баттон и Ко» перешла в руки Роско Баттона, некий молодой человек, которому на вид можно было дать лет двадцать, поступил на первый курс Гарвардского университета в Кембридже. Он не сделал роковой оплошности и умолчал о том, что ему уже далеко за пятьдесят и что его сын окончил это же самое учебное заведение десять лет назад.

Его зачислили в университет, и в самом скором времени он оказался среди первых в своей группе, отчасти, вероятно, потому, что выглядел чуть постарше своих однокурсников, большинству из которых было восемнадцать лет.

Но настоящий успех пришел к нему, лишь когда он сыграл в футбольном матче против команды Йельского колледжа с таким блеском и холодной, беспощадной яростью, что забил семь штрафных и четырнадцать обычных мячей в ворота соперников, после чего все одиннадцать игроков один за другим были в беспамятстве унесены с поля.

Однако, как ни странно, на третьем курсе он уже едва мог играть в футбол. Тренеры замечали, что он

сбавил в весе, и от самых наблюдательных не укрылось, что он стал несколько ниже ростом.

Он больше не забивал мячей,— его терпели в команде главным образом потому, что надеялись на его громкую славу, приводившую йельцев в трепет и замешательство.

На последнем курсе он уже совсем не в состоянии был играть. Он стал таким щуплым и хилым, что один второкурсник даже принял его за новичка, и это было для него горьким унижением. О нем заговорили как о вундеркинде—старшекурснике, которому не больше шестнадцати лет!—и искушенность сверстников часто заставляла его краснеть. Ему все труднее становилось учиться, материал казался слишком сложным. Он слышал некогда от сокурсников о школе святого Мидаса, приготовительном заведении, где многие из них учились перед колледжем, и решил после окончания университета поступить туда, чтобы беспечально жить среди мальчиков своего роста.

В 1914 году, окончив колледж, он вернулся в Балтимор с гарвардским дипломом в кармане. Хильдегарда к тому времени переехала в Италию, и Бенджамин поселился со своим сыном Роско. Роско встретил отца приветливо, но все же в его чувствах явно не было сердечности—сын, очевидно, склонен был даже считать, что Бенджамин, который слонялся по дому, предаваясь юношеским мечтаниям, мешает ему. Роско уже был женат, занимал в Балтиморе видное положение и не хотел, чтобы его семейства коснулась сплетня.

Бенджамин, которого больше не жаловали ни юные красавицы, ни студенты, остался в одиночестве, если не считать трех или четырех пятнадцатилетних мальчишек, живших по соседству. Вскоре он вернулся к мысли о поступлении в школу святого Мидаса.

— Послушай,— сказал он однажды Роско,— я ведь тебе давно говорю, что хочу ездить в приготовительную школу.

— Что ж, поезжай,— коротко отозвался Роско. Он старался уклониться от неприятного разговора.

— Но не могу же я ездить туда один,— сказал Бенджамин жалобно.— Придется тебе отвозить и привозить меня.

— Мне некогда,— резко оборвал его Роско. Глаза его сузились, он смотрел на отца с неприязнью.— И должен тебе сказать,— добавил он,— брось-ка ты это дело. Лучше остановись... Лучше... лучше...— Он запнулся.— Лучше ты повернись налево кругом и дай задний ход. Шутка зашла слишком далеко. Это уже не смешно. Веди себя... прилично!

Бенджамин смотрел на него, глотая слезы.

— И вот еще что,— продолжал Роско.— Я хочу, чтобы при гостях ты звал меня «дядя» — не Роско, а «дядя», понял? Просто нелепо, когда пятнадцатилетний мальчишка зовет меня по имени. Лучше даже, если ты всегда станешь звать меня «дядей», тогда быстрее привыкнешь.

Роско бросил на отца суровый взгляд и отвернулся.

Х

После этого разговора Бенджамин уныло поплелся наверх и поглядел на себя в зеркало. Он не брился вот уже три месяца, но не увидел на своем лице ничего, кроме светлого пушка, который попросту не стоил внимания. Когда он вернулся из Гарварда, Роско предложил ему надеть очки и наклеить на щеки бакенбарды, и тогда ему вдруг показалось, что повторяется комедия первых лет его жизни. Но щеки под бакенбардами чеса-

лись, и, кроме того, ему было стыдно их носить. Он заплакал, и Роско над ним сжалился.

Бенджамин принял было читать детскую книжку «Бойскауты Бимини Бей». Но вдруг он поймал себя на том, что неотвязно думает о войне. За месяц перед тем Америка примкнула к союзникам, и Бенджамин решил пойти добровольцем, но, увы, для этого нужно было иметь хотя бы шестнадцать лет от роду, а он выглядел заметно моложе. Однако, если б он сказал правду — что ему пятьдесят семь лет, — его не взяли бы по старости.

Раздался стук в дверь, и дворецкий подал конверт, на котором стоял большой официальный штамп; письмо было адресовано Бенджамину Баттону. Бенджамин торопливо вскрыл конверт и с чувством восторга прочитал письмо. Его уведомляли, что многие офицеры запаса, служившие в рядах армии во время Испано-американской войны, вновь призываются с повышением в чине; к письму были приложены приказ о производстве его в бригадные генералы армии Соединенных Штатов и предписание явиться немедленно.

Бенджамин вскочил, дрожа от нетерпения. Именно об этом он и мечтал! Он схватил шапку и уже через десять минут, войдя в большую швейную мастерскую на Чарльз-стрит, срывающимся дискантом заказал себе военную форму.

— Хочешь поиграть в войну, сынок? — небрежно спросил приемщик.

Бенджамин рассвирепел.

— Послушайте! Не ваше дело, чего я хочу! — ответил он зло. — Моя фамилия Баттон, я живу на Маунт-Вернон Плейс, так что можете не сомневаться, что я вправе носить форму.

— Ну что ж, — сказал приемщик с сомнением. — Не ты, так твой отец, стало быть, это все едино.

С Бенджамина сняли мерку, и через неделю форма была готова. Труднее было приобрести генеральские знаки различия, потому что торговец настойчиво уверял Бенджамина в том, что красивый значок ХАМЛ* ничуть не хуже и с ним даже интереснее играть.

И вот ночью, не сказав Роско ни слова, он покинул дом и поездом доехал до военного лагеря в Мосби, штат Южная Каролина, где должен был принять под свое командование пехотную бригаду. В знойный апрельский день он подъехал к воротам лагеря, расплатился с шофером такси, привезшим его с вокзала, и обратился к часовому у ворот.

— Кликни кого-нибудь, чтобы отнесли мои вещи, — скомандовал он.

Часовой укоризненно взглянул на него.

— Вот так штука! — заметил он. — И далеко ты собрался в генеральской одёжке, сынок?

Бенджамин, почетный ветеран Испано-американской войны, напустился на него, сверкая глазами, но, увы, при этом дал петуха:

— Смирно! — Он хотел крикнуть это громовым голосом, набрал воздуху... и вдруг увидел, что часовой щелкнул каблуками и сделал на караул. Бенджамин попытался скрыть довольную улыбку, но, когда он обернулся, улыбка исчезла с его лица. Часовой приветствовал вовсе не его, а внушительного артиллерийского полковника, который подъехал к воротам верхом.

— Полковник! — пронзительно окликнул его Бенджамин.

Полковник подъехал вплётную, натянул поводья, взглянул на Бенджамина, и его глаза насмешливо блеснули.

* Христианская ассоциация молодых людей.— Прим. перев.

— Ты чей, малыш? — спросил он ласково.

— Вот я тебе сейчас покажу малыша, чертова кукла! — угрожающе заявил Бенджамин. — Ну-ка, слезай с коня!

Полковник захочтал во все горло.

— Тебе нужен конь, а, генерал?

— Вот! — крикнул Бенджамин в изнеможении. — Читайте!

И он швырнул полковнику приказ о своем производстве в генеральский чин.

У полковника глаза полезли на лоб.

— Кто тебе это дал? — спросил он и сунул приказ в карман.

— Правительство, в чем вы очень скоро сможете убедиться!

— Ступай за мной, — сказал полковник; лицо у него было растерянное. — Я отведу тебя в главный штаб, там разберемся. Идем.

И полковник пошел к штабу, ведя коня под уздцы. Бенджамику ничего не оставалось, как последовать за ним, стараясь соблюсти достоинство, причем в душе он клялся жестоко отомстить полковнику.

Но ему не суждено было осуществить эту месть. Вместо этого ему было суждено улицезреть своего сына Роско, который на второй день примчался из Балтимора, злой и раздосадованный тем, что пришлось ехать, бросив все дела, и препроводил плачущего генерала, теперь уже без мундира, обратно домой.

XI

В 1920 году у Роско Баттона родился первенец. Однако во время торжества по этому случаю никто не счел нужным упомянуть о том, что грязный мальчишка,

лет десяти на вид, который играл возле дома в оловянных солдатиков и детский цирк, доводится новорожденному дедом.

Этот маленький мальчик, чье свежее, улыбающееся лицо носило на себе едва уловимый след печали, ни у кого не вызывал неприязни, но для Роско Баттона его присутствие было хуже всякой пытки. Выражаясь языком поколения Роско, это был «неделовой подход».

Он полагал, что отец, не желая выглядеть шестидесятилетним стариком, вел себя отнюдь не так, как пристало «уважающему себя деляге» — это было любимое выражение Роско,— а дико и отвратительно. Право, стоило ему задуматься над этим, и через каких-нибудь полчаса он чувствовал, что сходит с ума. Роско считал, что энергичные люди должны сохранять молодость, но надо же знать меру, ведь это... это... просто неделовой подход! И на том Роско стоял.

Через пять лет его маленький сын мог уже играть с маленьким Бенджамином под присмотром одной няни. Роско одновременно отдал обоих в детский сад, и Бенджамин обнаружил, что нет в мире чудеснее игры, чем возиться с разноцветными полосками бумаги, плести корзиночки, делать цепочки и рисовать забавные, красивые узоры. Однажды он нашалил, его поставили в угол и он заплакал, но обычно ему бывало весело в светлой, залитой солнцем комнате, где ласковая рука мисс Бейли касалась иногда его взъерошенных волос.

Сын Роско через год пошел в первый класс, а Бенджамин остался в детском саду. Он был счастлив. Правда, порой, когда другие малыши говорили о том, кем они станут, когда вырастут, по его лицу пробегала тень, как будто своим слабым детским умом он понимал, что ему все это навеки недоступно.

Дни текли однообразно. Уже третий год он ходил в

детский сад, но теперь он был слишком мал, чтобы играть с яркими бумажными полосками. Он плакал, потому что другие мальчики были больше его и он их боялся. Воспитательница что-то говорила ему, но он ничего не понимал.

Его забрали из детского сада. Центром его крошечного мирка стала няня Нана в накрахмаленном полосатом платье. В хорошую погоду они ходили гулять в парк; Нана указывала на огромное серое чудовище и говорила: «Слон», а Бенджамин повторял за ней это слово, и когда его укладывали вечером спать, он без конца твердил:

— Слён, слён, слён.

Иногда Нана позволяла ему попрыгать на кроватке, и это было очень весело, потому что, если сесть на нее с размаху, упругий матрасик подбросит вверху, а если при этом протяжно говорить: «А-а-а», голос так смешно вибрирует.

Он любил брать трость, стоявшую у вешалки, и сражаться со стульями и столами, приговаривая:

— Трах-тарарах!

Когда приходили гости, пожилые дамы сюсюкали над ним, и это было ему приятно, а молодые норовили чмокнуть его, и он покорялся без всякой охоты. В пять часов долгий день кончался, Нана уводила его наверх кормить овсянкой или другой кашкой с ложечки.

Его детские сны были свободны от бурных воспоминаний; он не помнил ни о славных временах в колледже, ни о той блестательной поре, когда он волновал сердца многих красавиц. Для него существовала лишь белая, уютная колыбель, Нана, какой-то человек, который приходил иногда взглянуть на него, и огромный оранжевый шар; по вечерам, перед сном, Нана указывала на этот шар и говорила: «Солнце». Когда солнце

скрывалось, он уже безмятежно спал и кошмары не мучили его.

Прошлое — как он вел своих солдат на штурм Сан-Хуан Хилла; как прожил первые годы после женитьбы, работая до летних сумерек, вертаясь в людском водовороте ради юной Хильдегарды, которую любил без памяти; как еще прежде сидел до поздней ночи, покуривая сигару, в старинном, мрачном доме Баттонов на Монро-стрит вместе со своим дедом — исчезло из его памяти, подобно мимолетному сну, словно этого и не бывало вовсе.

Он ничего не помнил. Не помнил даже, теплым или холодным молоком его только что поили, не замечал, как проходили дни, — для него существовала лишь колыбель и Нана, к которой он давно привык. А потом он совсем утратил память. Когда он хотел есть, он пла-
кал — только и всего. Дни и ночи сменяли друг друга, он еще дышал, и над ним слышалось какое-то бормота-
ние, шепоты, едва достигавшие его слуха, и был свет, и темнота.

А потом наступил полный мрак: белая колыбелька, и смутные лица, склонившиеся над ним, и чудесный запах теплого, сладкого молока — все исчезло для него навек.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Ю. Кагарлицкий. Предисловие</i>	5
Эдвард Морган Форстер. Машина останавливается. <i>Перевод с английского Е. Пригожиной</i>	19
Джером К. Джером. Партнер по танцам. <i>Перевод с английского Б. Клюевой</i>	67
Джек Лондон. Тысяча смертей. <i>Перевод с английского И. Гуровой</i>	76
О. Генри. История пробковой ноги. <i>Перевод с английского В. Жебеля</i>	89
Карел Михал. Сильная личность. <i>Перевод с чешского С. Пархомовской</i>	92
Андре Моруа. Машина для чтения мыслей. <i>Перевод с французского Н. Галь</i>	113

Ивен Хантер. Не рискнуть ли за·миллион? <i>Перевод с английского Э. Кабалевской</i>	134
Дино Буццати. Король в Хорн эль-Хагаро. <i>Перевод с итальянского Г. Богемского</i>	159
Хосе Мария Санчес-Сильва. Дурак. <i>Перевод с испанского Р. Рыбкина</i>	173
Трумэн Капоте. Злой Рок. <i>Перевод с английского Р. Облонской</i>	180
Карел Михал. Баллада о чердачнике. <i>Перевод с чешского Н. Аросевой</i>	208
Артур Лундквист. Путешествие в космос. <i>Перевод с шведского С. Белокриницкой</i>	229
Фридьеш Каринти. Сын своего века. <i>Перевод с венгерского А. Гершковича</i>	235
Пимо Леви. «Версификатор». <i>Перевод с итальянского Л. Вершинина</i>	240
Дино Буццати. Автомобильная чума. <i>Перевод с итальянского Г. Богемского</i>	262
Трумэн Капоте. Бутыль серебра. <i>Перевод с английского С. Митиной</i>	270

Фридьеш Каринти. *Письма в космос.*

Перевод с венгерского А. Гершковича

291

Джон Бойnton Пристли. *Другое место.*

Перевод с английского В. Ашкенази

295

Фрэнсис Скотт Фицджеральд. *Забавный случай
с Бенджамином Баттоном.*

Перевод с английского Т. Луковниковой

329

Сборник
ГОСТИ СТРАНЫ ФАНТАЗИИ

Редактор *Е. Ванслова*

Художник *Л. Ламм*

Художественный редактор *Ю. Максимов*

Технический редактор *Е. Потапенкова*

Корректор *Т. Пашковская*

Сдано в производство 2/IV 1968 г.

Подписано к печати 20/VI 1968 г.

Бумага 70×108^{1/32} тип. № 2

5,75 бум. л. 16,10 печ. л.,

Уч.-изд. л. 15,12. Изд. № 12/4778

Цена 76 коп. Зак. № 2547

Темплан изд-ва «Мир» 1968 г. пор. № 226

ИЗДАТЕЛЬСТВО «МИР»

Москва, 1-й Рижский пер., 2

Ордена Трудового Красного Знамени

Первая Образцовая типография

имени А. А. Жданова

Главполиграфпрома Комитета по печати

при Совете Министров СССР

Москва, Ж-54, Валовая, 28.

76 коп.

